



T. Melburn

OMY

Тоорупуу-2009



Annotation

В романе «Ому» известного американского писателя Германа Мелвилла (1819–1891 гг.), впервые опубликованном в 1847 г., рассказывается о дальнейших похождениях героя первой книги Мелвилла — «Тайпи». Очутившись на борту английской шхуны, он вместе с остальными матросами за отказ продолжать плавание был высажен на Таити. Описанию жизни на Таити и соседних островах, хозяйничанья на них английских миссионеров, поведения французов, только что завладевших островами Общества, посвящена значительная часть книги. Ярко обрисованы типы английского консула, капитана шхуны и его старшего помощника, судового врача, матросов и ряда полинезийцев, уже испытавших пагубное влияние самых отрицательных сторон европейской цивилизации, но отчасти сохранивших свои прежние достоинства — честность, добродушие, гостеприимство. Симпатии автора, романтика-бунтаря и противника современной ему буржуазной культуры, целиком на стороне простодушных островитян.

Мелвилл в молодости сам плавал на китобойных шхунах в Океании, и оба его романа, «Тайпи» и «Ому», носят в большой мере автобиографический характер.

-
- - [ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА](#)
 - [ВВЕДЕНИЕ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)

- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)
- [Глава XLIII](#)
- [Глава XLIV](#)
- [Глава XLV](#)
- [Глава XLVI](#)
- [Глава XLVII](#)
- [Глава XLVIII](#)
- [Глава XLIX](#)
- [Глава L](#)
- [Глава LI](#)
- [Глава LII](#)

- [Глава LIII](#)
- [Глава LIV](#)
- [Глава LV](#)
- [Глава LVI](#)
- [Глава LVII](#)
- [Глава LVIII](#)
- [Глава LIX](#)
- [Глава LX](#)
- [Глава LXI](#)
- [Глава LXII](#)
- [Глава LXIII](#)
- [Глава LXIV](#)
- [Глава LXV](#)
- [Глава LXVI](#)
- [Глава LXVII](#)
- [Глава LXVIII](#)
- [Глава LXIX](#)
- [Глава LXX](#)
- [Глава LXXI](#)
- [Глава LXXII](#)
- [Глава LXXIII](#)
- [Глава LXXIV](#)
- [Глава LXXV](#)
- [Глава LXXVI](#)
- [Глава. LXXVII](#)
- [Глава LXXVIII](#)
- [Глава LXXIX](#)
- [Глава LXXX](#)
- [Глава LXXXI](#)
- [Глава LXXXII](#)
- [В.М. Бахта](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
 - [СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ](#)
 - [ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)

- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)

- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)

- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)

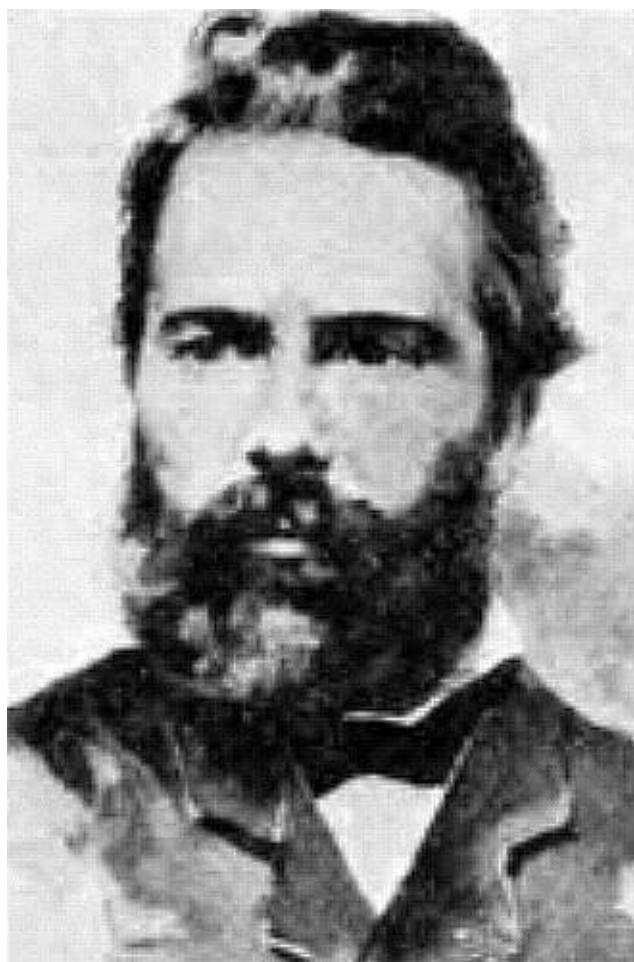
Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

*Герману Гансевоорту
из Гансевоорта, графство Саратога,
штат Нью-Йорк
с любовью посвящает этот труд
его племянник, автор*



**Герман Мелвилл
(Herman Melville)**

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Нигде, вероятно, не проявляется всем известная необузданность морской души так ярко, как в Южных морях. Суда, плавающие в столь отдаленных водах, большей частью заняты ловлей кашалотов — промыслом, который не только привлекает самых бесшабашных матросов всех национальностей, но во многих отношениях способствует, по общему мнению, развитию в них крайнего своеволия. Эти плавания, кроме того, необычайно длительны и опасны; единственные доступные гавани расположены на островах Полинезии либо же вдоль западных берегов Южной Америки, где не существует никаких законов. Поэтому на судах, бороздящих Тихий океан, часто происходят самые необыкновенные события, не имеющие прямого отношения к ловле китов.

Целью настоящего произведения не является описание китобойного промысла (ибо эта тема не укладывается в рамки нашего повествования); одна из задач, поставленных перед собой автором, заключается в том, чтобы подробным рассказом о выпавших на его долю приключениях дать читателю некоторое представление о жизни моряков в упомянутых условиях.

Другая задача сводится к тому, чтобы нарисовать правдивую картину современного положения обращенных в христианство полинезийцев, которые испытали на себе влияние и случайно посетивших их чужестранцев и миссионеров.

В качестве матроса-бродяги автор провел около трех месяцев в различных районах островов Таити и Эймео^[1] в обстановке, чрезвычайно благоприятной для составления правильного понятия о социальном укладе туземцев.

Упомянув о деятельности миссионеров, автор, разумеется, всегда строго придерживался фактов; в некоторых случаях он счел нужным даже привести в подтверждение результатов своих собственных наблюдений цитаты из трудов более ранних путешественников. Только искреннее стремление к истине и благу побудило его вообще коснуться этого вопроса. И если автор воздерживается от советов относительно наиболее подходящего способа исправления тех зол, на которые он указывает, объясняется это лишь его убеждением в том, что другие, ознакомившись с приведенными данными, сумеют это сделать лучше, чем он.

Некоторая шутливость при описании забавных черт характера таитян

вызвана отнюдь не желанием выставить их в смешном свете: факты описаны попросту такими, какими они — благодаря своей полной новизне — бросаются в глаза непредубежденному наблюдателю.

Наше повествование по необходимости начинается с того, чем заканчивается «Тайпи», но в других отношениях с ним ничем не связано. Поэтому все, что нужно знать читателю, незнакомому с «Тайпи», изложено в кратком введении.

Во время своих скитаний по Южным морям автор не вел дневника; поэтому, подготавливая настоящую рукопись к опубликованию, он не имел возможности внести какую-либо точность по части дат. Все события изложены исключительно по воспоминаниям. Впрочем, автор настолько часто рассказывал о пережитом, что оно запечатлелось в его памяти.

Хотя, как утверждают, у нас издано несколько кратких полинезийских словарей, ни одного словаря таитянского наречия до сих пор не появилось. Во всяком случае ни один из них не попался в руки автору. Поэтому при употреблении туземных слов он главным образом пользовался одними лишь воспоминаниями об их звучании.

В отношении вопросов, имеющих касательство к истории и древним обычаям таитян, дополнительным источником сведений послужили старинные описания путешествий в Южные моря, а также труд Эллиса «Полинезийские исследования».^[2]

Название настоящего произведения — «Ому» заимствовано из наречия жителей Маркизских островов, где это слово наряду с другими значениями имеет также значение «бродяга» или, точнее, «человек, скитающийся с одного острова на другой», подобно туземцам, которых их соплеменники называют «канаки-табу».^[3]

Автор ни в коей мере не стремится к философским обобщениям. Он просто правдиво описал то, что видел; если иногда он позволяет себе вставлять собственные размышления, то делает это произвольно и только в тех случаях, когда они напрашиваются сами собой и всякому на его месте пришли бы в голову.

ВВЕДЕНИЕ

Летом 1842 года автор этого повествования, будучи матросом американского китобойца, совершавшего плавания в Южных морях, посетил Маркизские острова. На острове Нукухива он покинул судно, которое вскоре отплыло без него. Скитаясь по внутренней части острова, он забрел в долину Тайпи, населенную первобытным племенем; сопровождавшему его матросу, товарищу по плаванию, через некоторое время удалось убежать. Почти четыре месяца автор оставался пленником, пользовавшимся, впрочем, относительной свободой, а затем бежал оттуда на зашедшей в бухту шлюпке.

Шлюпка принадлежала судну, нуждавшемуся в матросах и недавно бросившему якорь в соседней гавани на том же острове; капитану рассказали, что автор этой книги находится в плену в долине Тайпи. Желая пополнить свой экипаж, капитан направился туда и лег в дрейф перед входом в бухту. Так как племя тайпи считалось враждебным, к берегу была послана шлюпка с командой из туземцев «табу», живших на берегу другой бухты, и с толмачом в качестве руководителя; экспедиция имела своей целью добиться освобождения автора. В конце концов это удалось, хотя и не без риска для всех участников. Ко времени своего бегства автор жестоко страдал от боли в ноге и хромал.

Как только шлюпка достигла открытого моря, вдали показалось лежавшее в дрейфе судно. С этого начинается наш рассказ.

Глава I

ПРИЕМ, ОКАЗАННЫЙ МНЕ НА БОРТУ

Стоял ясный тропический день, когда мы вырвались из бухты в открытое море. Судно, к которому мы направились, держалось с обстененным грот-марселем примерно в одной лиге^[4] от острова и было единственным предметом, нарушавшим пустынную широкую океанскую простору.

Когда мы приблизились, моему взору предстал маленький, неряшливый на вид барк;^[5] его корпус и рангоут были грязно-черного цвета, снасти провисали и выцвели почти до белизны. Все говорило о плохом состоянии судна. Четыре шлюпки, свисавшие с бортов, указывали на то, что это китобоец. Беспечно перегнувшись через фальшборт, стояли матросы — буйная толпа изнуренных людей в шотландских шапочках и в линялых синих фуфайках; у иных щеки были пятнисто-бронзовые; такой цвет быстро приобретают в тропиках под влиянием болезней цветущие темно-коричневые лица матросов.

На шканцах стоял кто-то, в ком я угадал старшего помощника капитана. На нем была широкополая панама, и он следил в подзорную трубу за нашим приближением.

Как только мы подошли к судну, гул пронесся по палубе, и все вопрошающе уставились на нас. И было чему удивляться. Не говоря уже об экипаже шлюпки — тяжело дышавших от возбуждения туземцах, неистово кричавших и жестикулировавших, — мой собственный вид не мог не вызвать любопытства. С моих плеч свисала мантия из местной ткани, волосы и борода были нестрижены; весь мой облик свидетельствовал о недавно пережитых приключениях. Когда я ступил на палубу, меня со всех сторон засыпали вопросами, из которых я не успевал ответить и на половину, так быстро они следовали один за другим.

В качестве примера забавных случайностей, часто выпадающих на долю моряка, должен упомянуть, что среди окружавших меня физиономий две оказались знакомыми. Одна принадлежала старому матросу с военного корабля; с ним я познакомился в Рио-де-Жанейро, куда зашло судно, на котором я плыл из отчизны. Вторым был молодой человек; четыре года назад я с ним часто встречался в Ливерпуле в пансионе для моряков. Я помню, как расстался с ним у ворот дока Принца среди толпы

полицейских, грузчиков, носильщиков, нищих и т. п. И вот судьба вновь свела нас: миновали годы, много миль океанских просторов осталось позади, и наши пути опять сошлись при обстоятельствах, когда я едва верил своему спасению.

Прошло, однако, несколько минут, прежде чем капитан позвал меня к себе в каюту.

Это был еще совсем молодой человек, бледный и хрупкий, походивший скорее на болезненного конторского клерка, чем на сурового морского капитана. Предложив мне сесть, он приказал юнге принести стакан писко.^[6] В том состоянии, в каком я находился, этот возбуждающий напиток бросился мне в голову, и я не помню почти ни одного слова из того, что рассказал тогда о своем пребывании на острове. Затем капитан задал вопрос, хочу ли я наняться на судно; конечно, я ответил, что хочу, но только в том случае, если он согласится взять меня на один рейс с обязательством рассчитать, если я того пожелаю, в ближайшем порту. Моряки часто так нанимаются на китобойцы, плавающие в Южных морях. Мои условия были приняты, и мне дали на подпись судовой договор.

Вызванный в каюту старший помощник получил распоряжение сделать из меня «здорового человека»; не следует думать, что капитаном руководило чувство сострадания, он только хотел как можно скорее использовать меня на работе.

Помощник капитана помог мне подняться на палубу, усадил на шпиль и принялся осматривать мою ногу; затем, кое-как обработав каким-то снадобьем из аптечки, он обмотал ее куском старого паруса, смастерив такую толстую повязку, что меня можно было принять за старого подагрика, который пристроился на шпиле, чтобы дать покой больной ноге. Пока все это происходило, кто-то снял с моих плеч мантию из таппы^[7] и набросил вместо нее синюю куртку; кто-то другой, побуждаемый тем же стремлением превратить меня в цивилизованного человека, размахивал над моей головой огромными ножницами для стрижки овец, угрожая обоим ушам и уничтожая шевелюру и бороду.

День подходил к концу, земля постепенно исчезла из виду, а я был весь поглощен переменой в моей судьбе. Но как часто обманывает наши ожидания исполнение самых пылких надежд. Находясь в безопасности на судне, о чем я так давно горячо мечтал, и обретя вновь надежду увидеть отчизну и друзей, я тем не менее не мог стряхнуть с себя тяготившего мою душу уныния. Оно порождалось мыслью, что я никогда больше не увижу тех людей, которые, хотя и стремились удержать меня в плену, относились

ко мне в общем с исключительной добротой. Я покидал их навсегда.

Таким непредвиденным и внезапным было мое бегство, все это время я испытывал такое волнение, так велик был контраст между восхитительным покоем долины и диким шумом и сутолокой на плывущем судне, что мои недавние приключения казались мне каким-то странным сном; трудно было представить себе, что солнце, садившееся сейчас над необъятным простором океана, только сегодня утром вошло из-за гор и смотрело на меня, когда я лежал на своей циновке в долине Тайпи.

Сразу после наступления темноты я спустился в кубрик, и в мое распоряжение предоставили место для спанья на верхней полке жалкой двухъярусной койки. Обе шаткие полки были застланы обрывками одеяла. Затем мне дали помятую жестяную кружку, содержащую с полпинты «чаю», именуемого так из вежливости — пусть совесть судовладельцев решает, заслуживает ли этого названия настой тех стеблей, которые плавают в кружках матросов. Я получил также кусок солонины на черством круглом сухаре, заменявшем тарелку, и, не теряя времени, принялся за ужин, соленый вкус которого показался мне поистине восхитительным после наводноносоровой^[8] пицци в долине.

Пока я ел, старый матрос, сидевший на сундуке как раз подо мной, пускал клубы табачного дыма. Когда я покончил с ужином, он вытер о рукав куртки мундштук своей закопченной трубки и вежливо протянул ее мне. Такое внимание свойственно морякам; что касается брезгливости, то ни один человек, кому приходилось жить в кубрике, ею не отличается. Итак, сделав несколько глубоких затяжек, чтобы успокоиться, я повернулся на бок и попытался забыться сном. Но тщетно. Мое ложе стояло не параллельно бортам, как полагается, а поперек, то есть под прямым углом к килю; судно, шедшее по ветру, переваливалось с борта на борт настолько сильно, что всякий раз, когда мои пятки задирались кверху, а голова опускалась вниз, у меня появлялось ощущение, словно я вот-вот перекувырнусь. Кроме того, имелись и другие назойливые поводы для беспокойства; а время от времени волна врывается в незадраенный люк, и брызги попадали мне в лицо.

Наконец, после бессонной ночи, тишина которой дважды нарушалась безжалостным криком, поднимающим очередную вахту, сверху стали пробиваться проблески дневного света, и кто-то спустился в кубрик. То был мой старый приятель с трубкой.

— Послушай, дружище, — сказал я, — помоги мне выбраться отсюда. Я хочу подняться на палубу.

— Эй, кто это там бормочет? — послышалось в ответ, и пришедший

стал всматриваться в темноту, где я лежал. — А, Тайпи, король людоедов, это ты! Но скажи мне, паренек, как твоя ходуля? Помощник говорит, с ней чертовски плохо; а вчера вечером он велел юнге наточить ручную пилу. Уж не собирается ли он тебя покромсать?..

Задолго до рассвета мы были уже у входа в бухту Нукухива и продержались, то и дело меняя галсы, до утра в море, а затем вошли в нее и отправили к берегу шлюпку с туземцами, которые доставили меня на судно. По ее возвращении мы снова поставили паруса и взяли курс в открытое море.

Дул легкий бриз; прохладный свежий утренний воздух был таким бодрящим, что, вдыхая его, я почувствовал, несмотря на плохо проведенную ночь, как сразу поднялось у меня настроение.

Просидев бóльшую часть дня на шпигеле и непринужденно болтая с матросами, я узнал историю проделанного ими до сих пор плавания и все, что касалось судна и его теперешнего состояния.

В следующей главе я вкратце расскажу обо всем этом.

Глава II

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ

Прежде всего я должен описать самую «Джулию» или «Джульеточку», как фамильярно называли ее моряки.

Это был маленький барк прекрасных пропорций, водоизмещением немногим больше двухсот тонн, построенный янки, и очень старый. Во время войны 1812 года приспособленный для каперства, он покинул один из портов Новой Англии и был захвачен в море английским крейсером; переименовав затем множество назначений, «Джулия» под конец стала правительственным пакетботом и плавала в омывающих Австралию водах. Предназначенная, однако, на слом, она года два назад была куплена на аукционе одной сиднейской фирмой, которая после небольшого ремонта отправила ее в теперешнее плавание.

Несмотря на ремонт, «Джулия» находилась в жалком состоянии. Мачты, по слухам, все были ненадежны, стоячий такелаж сильно износился, а местами даже фальшборт совершенно сгнил. Однако корпус судна почти не протекал, и достаточно было несколько больше обычного поработать помпой по утрам, чтобы вода в трюме не скапливалась.

Но все это ничуть не отражалось на ходе; в этом отношении отважная «Джульеточка», толстушка «Джульеточка», оказалась настоящей чародейкой. Дул ли сильный ветер или слабый, она всегда была готова им воспользоваться, и когда летела вперед и рассекала носом волны, то вставая на дыбы, то проваливаясь, вы и думать забывали о ее залатанных парусах и изъеденном червями корпусе. Как это шустрое суденышко летело по ветру! То и дело заваливаясь на борт, конечно, но как весело и игриво. Когда оно шло против ветра, никакой шквал не мог его опрокинуть; с устремленными вверх мачтами, оно смотрело прямо в лицо ветру и шло все вперед.

Но в общем на «Джульеточку» не следовало полагаться. Достаточно быстрая и игривая, она именно поэтому не заслуживала доверия. Кто знает, быть может, подобно иному еще бойкому старичку, который вдруг сразу дряхлеет и впадает в немоощь, она могла в одну прекрасную ночь дать сильную течь и похоронить нас всех на дне морском. Впрочем, «Джульеточка» не сыграла с нами такой безобразной шутки, и, значит, я был неправ в своих подозрениях.

Наше судно не имело определенного назначения. Согласно его

документам, оно могло идти куда угодно — заниматься ловлей китов, тюленей или еще чем-нибудь. В основном, впрочем, рассчитывали на промысел кашалотов, хотя до настоящего времени их было убито и принято на борт всего два.

В тот день, когда «Джулия» покинула Сиднейский рейд, ее команда состояла из тридцати двух человек. Теперь насчитывалось около двадцати; остальные сбежали. Даже три младших помощника, командиры китобойных шлюпок, исчезли; а из четырех гарпунщиков остался лишь один, новозеландец, или «маори», как чаще называют его земляков в Тихом океане. Но это еще не все. Больше половины оставшихся матросов в той или иной степени страдало от последствий длительного пребывания в славящемся своим распутством порту; иные из них совершенно не могли исполнять свои обязанности, у нескольких человек болезнь приняла опасный характер, а остальные кое-как выстаивали вахту, хотя пользы от них было мало.

Капитан, типичный молодой горожанин, несколько лет назад эмигрировал в Австралию и по какой-то протекции стал капитаном судна, хотя абсолютно ничего не смыслил в этом деле. По всем своим склонностям он был сухопутным человеком, и хотя имел образование, подходил для морской службы не больше, чем парикмахер. Поэтому все над ним издевались. Матросы называли его «кают-юнгой», «чернильной душой» и еще полудюжиной других презрительных кличек. Моряки поистине не стеснялись и не делали секрета из того, каким посмешищем его считали; что касается самого хрупкого джентльмена, он все это прекрасно знал и держался с подобающей скромностью. Стараясь как можно реже вступать в сношения с командой, он предоставил распоряжаться старшему помощнику, который, по мере того как развертывались события, вел себя все более самостоятельно.

Все же, несмотря на кажущееся самоустранение, молчаливый капитан не так уж мало вмешивался в дела, как думали матросы. Коротко говоря, вопреки своей глуповатой наружности, он обладал чем-то вроде тихого, робкого коварства, которого никто в нем не заподозрил бы и которое именно поэтому было особенно действенным. Прямолинейный старший помощник, всегда считавший, что он поступает как ему хочется, нередко бывал орудием в руках капитана; никому и в голову не приходило, что кое-какие неприятные меры, несмотря на всеобщее ворчание, проводившиеся помощником, исходили от маленького щеголя в нанковой куртке и белых парусиновых туфлях. Впрочем, по крайней мере всем так казалось, старший помощник всегда поступал по-своему, и в большинстве случаев

это действительно так и было; и никто не сомневался, что капитан перед ним трепещет.

Если иметь в виду личную храбрость, искусство кораблевождения и врожденную способность подавлять все проявления мятежного духа, то на свете не существовало более подходящего для своей профессии человека, чем Джон Джермин. Он поистине мог считаться образцовым представителем породы энергичных низкорослых коренастых людей. Серо-стальные волосы завивались колечками на его шарообразной голове. Лицо с резкими чертами было сильно изрыто оспой. Слегка косивший глаз придавал ему выражение свирепости, нос залихватски изогнулся на сторону, а большой рот и крупные белые зубы, когда Джермин смеялся, в точности напоминали акульки. Одним словом, никто, присмотревшись к старшему помощнику, никогда не вздумал бы исправить форму его носа, хотя тому и недоставало симметрии. Впрочем, несмотря на драчливую внешность, сердце у Джермина было большое и душа широкая; это заметно было с первого взгляда.

Таков был наш старший помощник; но он обладал одним недостатком: питал отвращение ко всяким слабым настойкам и являлся мужественным приверженцем крепких напитков. В той или иной степени он всегда находился под их действием. По совести говоря, я думаю, что такому человеку умеренное употребление спирта приносило пользу; он придавал блеск глазам, сметал паутину с мозгов, регулировал пульс. Хуже то, что иногда Джермин выпивал слишком много, и редко можно было встретить парня более буйного во хмелю. Он всегда лез в драку; но даже те, кого он лупил, любили его, как брата: он сбивал человека с ног с таким подкупающим добродушием, что никто не мог затаить против него злобу. Но хватит об отважном маленьком Джермине.

По закону все английские китобойные суда обязаны иметь врача, который, конечно, считается джентльменом, живет в каюте и призван выполнять лишь свои профессиональные обязанности; впрочем, иногда он пьет «флип»^[9] и играет в карты с капитаном. На борту «Джулии» тоже находился один такой тип, но... — странное явление — он жил в кубрике с матросами. Вот как это получилось.

В начале плавания доктор и капитан жили вместе и ладили между собой как нельзя лучше. Не говоря уже о множестве кружек, выпитых ими за столиком в каюте, оба они прочли порядочно книг, а один из них совершил немало путешествий; поэтому темы их бесед никогда не истощались. Но однажды они заспорили о политике; доктор, придя в ярость, для вящего убеждения пустил в ход кулаки и поверг капитана на

пол, тем самым заставив его умолкнуть. Это было большой дерзостью, и доктора на десять суток засадили в его служебную каюту на хлеб и воду, предоставив поразмыслить на досуге о том, сколь недопустимо поддаваться страстям. Мучительно переживая нанесенное ему бесчестье, он вскоре после освобождения попытался тайком сбежать с судна на один из островов, но был с позором водворен обратно и снова посажен под замок. После того как его вторично освободили, он поклялся, что больше не будет жить с капитаном, и, захватив все свое имущество, переселился на бак к матросам, которые его приняли с распростертыми объятиями, как славного малого и незаслуженно оскорбленного человека.

Я должен сообщить о докторе еще некоторые подробности, ибо он играет видную роль в моем повествовании. Ранние годы его жизни, как у многих других героев, окутаны глубочайшим мраком; иногда, впрочем, он бросал намеки о родовом поместье, о дяде-богаче и о несчастном стечении обстоятельств, заставивших его пуститься бродить по свету. Твердо известно было лишь следующее. Он уехал в Сидней младшим врачом эмигрантского судна. По прибытии туда он отправился в глубь страны и после нескольких месяцев скитаний вернулся в Сидней без гроша и поступил врачом на «Джулию».

Он обладал замечательной наружностью. Ростом в шесть с лишним футов, он был костлявым верзилой с абсолютно лишенным красок лицом, светлыми волосами и дерзкими светло-серыми глазами, подчас сверкавшими дьявольским озорством. Матросы называли его Долговязый доктор, или, еще чаще, доктор Долговязый Дух. С каких бы высот ни скатился доктор Долговязый Дух, одно было несомненно: когда-то он тратил много денег, пил бургундское и вращался среди джентльменов.

Что касается его образованности, то он цитировал Вергилия, толковал о Гоббсе из Малмсбери,^[10] а уж сколько стихов он знал наизусть, целые строфы из поэмы «Гудибрас».^[11] К тому же он был человеком, повидавшим свет. Он мог самым непринужденным образом упомянуть о своих любовных похождениях в Палермо, об утренней охоте на львов в стране кафров и о качествах кофе, которое пил в Маскате;^[12] обо всех этих местах и о сотне других он знал столько историй, что я не в состоянии их пересказать. А эти восхитительные старинные песни, распеваемые сочным бархатным голосом, звучавшим столь неподражаемо! Как могли подобные звуки исходить из его тощего тела, оставалось вечной загадкой. В общем Долговязый Дух был в высшей степени занимательным собеседником; а для меня на «Джулии» он оказался настоящей находкой.

Глава III

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОПИСАНИЕ «ДЖУЛИИ»

Из-за отсутствия чего-либо похожего на нормальную дисциплину на судне царил величайший беспорядок. Капитана, вследствие болезни с некоторого времени почти не покидавшего своей каюты, видели редко. Однако старший помощник проявлял энергию молодого льва и носился по палубам, давая о себе знать в любое время. Бембо, новозеландец-гарпунщик, мало с кем общался, кроме старшего помощника, свободно говорившего на его тарабарском языке. Часть времени Бембо проводил на бушприте, ловя на костяной крючок тунцов; а иногда среди ночи он будил всю команду, в одиночестве отплясывая на баке какой-то танец людоедов. Но в общем он был на редкость спокойным человеком, хотя что-то в его взгляде давало основание считать его далеко не безобидным.

Доктор Долговязый Дух, вручив письменное заявление об отказе от должности судового врача, объявил себя пассажиром, следующим в Сидней, и ко всему относился совершенно беззаботно. Что касается команды, то те, кто был болен, казались изумительно довольными для людей в их положении, а остальным и горя было мало, что на судне царит всеобщая распущенность, и никто не думал о завтрашнем дне.

Провизия на «Джулии» была отвратительна. Когда открывали бочку со свининой, мясо имело такой вид, словно его сохраняли в ржавчине, и от него воняло, как от протухшего рагу. Говядина была еще хуже: волокнистая масса цвета красного дерева, такая жесткая и безвкусная, что я почти поверил рассказу кока о том, как в одной бочке из рассола выловили лошадиное копыто вместе с подковой. Немногим лучше были и сухари; почти все они раскрошились на мелкие, твердые, как кремень, кусочки, сплошь источенные — словно черви, обычно заводящиеся в этом продукте питания во время продолжительных плаваний в тропиках, пробуравив отверстие в поисках пищи для себя, вылезли с противоположной стороны, ничего не обнаружив.

Из того, что моряки называют «приварком», у нас было лишь немного. «Чай», впрочем, имелся в изобилии. Осмелюсь, однако, утверждать, что ни одна фирма, торгующая с Китаем, никогда его не привозила. Кроме того, через день нам давали блюдо, именуемое матросами «баландой», — суп из крупного гороха, который отполировался,

как галька, перекатываясь в тепловатой воде.

Впоследствии мне рассказали, что все наше продовольствие судовладельцы закупили на аукционной распродаже забракованных запасов морского ведомства в Сиднее.

Но, несмотря на водянистость первого блюда и чересчур соленый вкус говядины и свинины, матросы на «Джулии» могли бы сносно питаться, если бы у них имелась какая-нибудь дополнительная еда — несколько картофелин, ямс^[13] или банан. Но ничего этого не было. Зато было нечто другое, по мнению матросов, вполне искупавшее все недостатки: им регулярно выдавали писко.

Покажется, пожалуй, странным, что при таком положении дел капитан предпочитал держаться подальше от земли. Говоря по правде, он просто опасался потерять остатки команды, которая разбежалась бы, очутись «Джулия» в гавани. Капитан и теперь боялся, как бы, зайдя в какую-нибудь бухту у неизведанных берегов, он в один прекрасный день не оказался стоящим на якоре, который некому будет поднять.

В открытом море здравомыслящие офицеры могут держать до известной степени в руках самых недисциплинированных матросов, но совладать с ними становится трудно, как только судно окажется в кабельтове от берега. Именно поэтому многие китобойцы, плавающие в Южных морях, по восемнадцать-двадцать месяцев подряд не бросают якоря. Когда появляется необходимость в свежей провизии, они подходят к ближайшей земле, ложатся в дрейф на расстоянии восьми или десяти миль от нее и посылают на берег шлюпку для торговли. Команда на такого рода судах состоит в основном из отребья всех национальностей и мастей, нанятого в не подвластных никаким законам портах, расположенных на Испанском Большом пути,^[14] а также из туземцев-островитян. Ими можно управлять, как рабами на галерах, только при помощи плети и цепей. Офицеры ходят среди них вооруженные кинжалом и пистолетом, держа оружие не на виду, но всегда под рукой.

Среди членов нашего экипажа было немало людей такого пошиба; но как ни буйно они подчас вели себя, напористая энергия пьяницы Джермина была как раз тем, что могло держать их в состоянии ворчливого повиновения. В критический момент Джермин врывался в толпу матросов, нанося направо и налево град ударов ногами и руками и вызывая «всеобщую сенсацию». Как уже упоминалось, матросы с большим добродушием относились к своему сокрушительному начальству. Трезвый, сдержанный, не забывающий собственного достоинства офицер ничего не

смог бы с ними поделаться: такая компания выбросила бы его за борт вместе с его достоинством.

При сложившихся обстоятельствах капитану не оставалось другого выхода, как держаться в открытом море. К тому же он не терял надежды, что больные матросы из его экипажа и он сам вскоре поправятся; а тогда, кто знает, не посчастливится ли нам в дальнейшем по части промысла? Во всяком случае, в то время, когда я попал на судно, ходили слухи, что капитан Гай твердо решил наверстать упущенное и в самый кратчайший срок загрузить судно китовым жиром.

С такими планами мы держали теперь курс на Хайтайху, деревушку на Санта-Кристине,^[15] одном из Маркизских островов (названном так Менданьей^[16]), с целью пополнить восьмерых матросов, несколько недель назад покинувших там «Джулию». Предполагалось, что к этому времени они уже достаточно нагулялись и будут рады вернуться к своим обязанностям.

Итак, распустив все паруса и заигрывая с теплым ветром, мы неслись к Хайтайху, скользя вверх и вниз по пологим ленивым валам, между тем как бониты и тунцы резвились вокруг нас.

Глава IV

ПРОИСШЕСТВИЕ В КУБРИКЕ

Не прошло и суток с тех пор, как я очутился на судне, когда разыгралась сцена, которая при всем своем безобразии была настолько характерна для положения дел на «Джулии», что я не могу ее не описать.

Впрочем, сначала надо рассказать об одном из матросов, отличавшемся исключительным уродством и в насмешку прозванном «Красавцем». Он состоял у нас корабельным плотником, а потому его иногда величали также прозвищем «Стружка». Этот человек был не просто уродлив, он был симметрично безобразен; обладая столь непривлекательной наружностью, Красавец имел и отвратительный характер. Нельзя было его, однако, за это упрекнуть: такая внешность ожесточила его сердце. Джермин и Красавец были все время на ножах. Дело в том, что плотник был единственным человеком на судне, над которым старший помощник никогда не мог решительно взять верх; поэтому-то он и имел против него зуб. А Красавец гордился тем, что, как мы вскоре увидим, не стеснялся в выражениях, когда разговаривал со старшим помощником.

...Под вечер надо было что-то сделать на палубе, а плотника, входившего в состав вахты, не оказалось на месте.

— Где этот лодырь Стружка? — заорал Джермин в люк кубрика.

— Если вам это так хочется знать, то я здесь внизу, отдыхаю на сундуке, — самолично ответил наш молодчик, спокойно вынимая трубку изо рта.

Такая дерзость привела вспыльчивого маленького помощника в дикую ярость; но Красавец молчал, с невозмутимым спокойствием попыхивая трубкой. Тут следует упомянуть, что ни один благоразумный офицер никогда не решится, каким вызывающим ни было бы поведение матросов, спуститься в судовой кубрик с враждебным визитом. Если ему нужен кто-нибудь, находящийся там и отказывающийся выйти на палубу, что же, ему приходится терпеливо ждать, пока матрос не соблаговолит явиться. Причина этому следующая. В кубрике очень темно, и нет ничего проще, как ударить спускающегося по голове, не успеет тот и глазом моргнуть, тем более, различить, кто это сделал.

Джермин знал это лучше всех, а потому лишь смотрел в люк сверху и

изощраля в брани. Наконец, Красавец самым хладнокровным тоном подал какую-то реплику, от которой старший помощник пришел почти в бешенство.

— Валяй на палубу, — прорычал он. — Вылезай сюда, не то я спрыгну вниз и расправлюсь с тобой.

Плотник предложил ему немедленно этим заняться.

Сказано — сделано; забыв всякое благоразумие, Джермин ринулся вниз. Не видя в полутьме своего противника, он все же каким-то инстинктом сразу отыскал его и схватил за горло. Тут на старшего помощника набросился один из матросов, но остальные оттащили его, настаивая на том, чтобы игра велась честно.

— Ну, теперь пошли на палубу, — заорал старший помощник, изо всех сил стараясь удержать плотника.

— Отнесите меня туда, — последовал упрямый ответ, и Красавец стал извиваться в крепких объятиях Джермина, подобно двухъярдовому кольцу боа-констриктора.^[17]

Противник попытался скрутить его в более компактный узел, чтобы легче было тащить. Но Красавец высвободил руки и опрокинул Джермина навзничь. Тот быстро вскочил, и завязалась потасовка: они волочили друг друга, стукались головами о выступающие бимсы и обменивались ударами, как только для этого представлялась благоприятная возможность. Наконец, Джермин на свое несчастье поскользнулся и упал, а его противник уселся ему на грудь и не давал подняться. Создалось одно из тех положений, когда слова увещевания или укора произносятся с особым вкусом. Конечно, Красавец не упустил такого случая. Но старший помощник ничего не отвечал, только с пеной у рта силился подняться.

В этот момент сверху послышался тонкий дрожащий голос. Это был капитан; случайно поднявшись на шканцы к началу драки, он охотно вернулся бы к себе в каюту, но его удержал страх показаться смешным.

Когда шум усилился и стало очевидным, что его помощник попал в серьезную переделку, он понял, как нелепо с его стороны стоять, склонившись над фальшбортом, и появился у входа в кубрик, дипломатично решив придать всему делу шутливый характер.

— Ну, ну, — начал он раздраженно и очень быстро, — что это происходит? Мистер Джермин, мистер Джермин... Плотник, плотник... что вы там внизу делаете? Выходите на палубу.

Тут доктор Долговязый Дух прокричал пискливым голосом:

— А! Мисс Гай, это вы? Отправляйтесь, дорогая, домой, а то как бы вас не задели.

— Фу, фу! Как вам не стыдно, сэр, кто бы вы ни были. Я обращался не к вам; не мелите вздора. Мистер Джермин, я разговаривал с вами; будьте любезны выйти на палубу, сэр; вы мне нужны.

— А как, черт побери, могу я туда попасть? — в бешенстве закричал старший помощник. — Прыгайте сюда, капитан Гай, и докажите, что вы мужчина. Эй, ты, Стружка, дай мне встать! Отпусти меня, говорю тебе! О! Когда-нибудь я отплачу тебе за это! Живей, капитан Гай!

При этом призыве беднягу охватила полная растерянность.

— Послушайте, э-э, плотник; не стыдно вам? Отпустите его, сэр; отпустите его! Вы слышите? Дайте мистеру Джермину выйти на палубу.

— Проваливай подальше, чернильная душа, — ответил Красавец. — Это ссора между старшим помощником и мной; убирайся на свое место, на корму!

Когда капитан снова нагнулся над люком, чтобы ответить, чья-то невидимая рука выплеснула ему прямо в лицо содержимое жестяной кружки, состоявшее из размокших сухарей и чаинок. Доктор находился тогда как раз неподалеку. Не ожидая дальнейших событий, приведенный в замешательство джентльмен, закрыв руками залитое лицо, ретировался на шканцы.

Через несколько мгновений Джермин, вынужденный пойти на компромисс, последовал за ним; куртка на нем была разорвана, лицо исцарапано, и он имел такой вид, словно его только что вытащили из-под шестерни какой-то машины. С полчаса оба оставались в каюте, откуда доносились грубые выкрики старшего помощника, заглушавшие тихий, ровный голос капитана.

Это был первый случай, когда Джермин оказался побежденным в стычке с матросами; легко понять, в каком бешенстве он находился. Спустившись в каюту, он, как нам впоследствии рассказал юнга, резко заявил Гаю, что отныне тот может сам заботиться о «Джулии»; что до него, то он с этим судном больше не желает иметь дела, если капитан допускает подобное обхождение со своими помощниками. После длинного разговора в весьма резких тонах капитан в конце концов обещал, что при первом удобном случае плотник будет как следует выпорот, хотя при создавшейся обстановке это окажется рискованным делом. На таких условиях Джермин согласился, не слишком охотно, пока что забыть о случившемся; и вскоре он утопил всякое воспоминание о нем в кружке флипа, заранее приготовленного юнгой по приказу Гая, решившего умиротворить таким способом ярость своего помощника.

Это происшествие в дальнейшем не имело никаких последствий.

Глава V

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ХАЙТАЙХУ

Меньше чем через двое суток после того как мы покинули Нукухиву, вдали перед нами в голубой дымке показался остров Санта-Кристина. Когда мы приблизились к берегу, нашему взору предстали мрачный черный рангоут и стройный корпус небольшого военного корабля; его мачты и реи четко вырисовывались на фоне неба. Корабль, оказавшийся французским корветом, стоял в бухте на якоре.

Это чрезвычайно обрадовало нашего капитана, и, выйдя на палубу, он поднялся на бизань-мачту и стал рассматривать корабль в подзорную трубу. Прежде он не собирался бросать здесь якорь, но теперь, рассчитывая на помощь корвета в случае каких-нибудь затруднений, изменил свое решение и стал на якорь рядом с ним. Затем, как только была спущена шлюпка, Гай отправился засвидетельствовать свое почтение командиру и, кроме того, как мы предполагали, договориться с ним о мерах для поимки беглецов.

Через двадцать минут он вернулся в сопровождении двух офицеров, одетых в мундиры и с бакенбардами на лице, и нескольких пьяных старых вождей, которые вели себя чрезвычайно шумно; один из них напялил на ноги вместо брюк алый жилет, у другого к пяткам были прикреплены шпоры, а третий щеголял в украшенной пером треуголке. Кроме этих предметов, на них была лишь обычная одежда здешних туземцев — повязка из местной ткани вокруг бедер. При всем неприличии своего поведения эти особы оказались депутацией от высших духовных властей острова; цель их посещения состояла в том, чтобы наложить на наше судно строжайшее «табу» и тем предотвратить непристойные сцены и побег, которые несомненно имели бы место, если бы туземцам — мужчинам и женщинам — разрешили беспрепятственно посещать нас.

Церемония была недолгая. Жрецы отошли на минутку в сторону, склонили друг к другу свои старые бритые головы и немного побормотали. Затем главный из них оторвал длинный лоскут от своей набедренной повязки из белой таппы и вручил его одному из французских офицеров, а тот передал Джермину, предварительно объяснив, что с ним делать. Старший помощник немедленно прошел до конца сильно раскачивавшегося утлегаря и прикрепил к нему мистический символ запрета. Это обратило в бегство компанию девушек, которые, как мы

успели заметить,плыли к нам. Всплеснув руками и подняв, как дельфины, брызги воды, они с громкими криками «табу! табу!» повернули назад и направились к берегу.

В ночь нашего прибытия несли вахту старший помощник и маори, сменяя друг друга каждые четыре часа; команде, как это иногда практикуется во время стоянки на якоре, разрешили всю ночь оставаться внизу. Впрочем, в данном случае главной причиной такой поблажки было недоверие к матросам. И в самом деле, не приходилось сомневаться, что кто-нибудь из них непременно совершил бы попытку тем или иным способом удрать. Итак, когда пробило восемь склянок (полночь) — к этому времени на судне царила полная тишина — и наступила первая вахта Джермина, тот поднялся на палубу с фляжкой спиртного в левой руке, держа наготове правую, чтобы ударить первую физиономию, которая покажется над люком кубрика.

Приняв подобные меры, он несомненно собирался бодрствовать, но вместо того вскоре заснул; он спал так крепко, что, возможно, именно его храп разбудил матросов, сбежавших от нас этой ночью. Во всяком случае старший помощник трубил носом весьма странно, чему не приходится удивляться, если вспомнить о его искривленной трубе. Когда он очнулся, рассвет только что наступил, но было достаточно светло, чтобы заметить исчезновение двух шлюпок. В одно мгновение он понял, что произошло.

Вытащив маори из-под старого паруса, где тот спал, Джермин приказал ему спустить одну из оставшихся шлюпок, а сам ринулся в каюту сообщить новость капитану. Выскочив опять на палубу, он нырнул в кубрик за гребцами, но едва очутился там, как за бортом послышался крик и громкий плеск. То были маори и шлюпка (в которую тот только что прыгнул, чтобы подготовиться к спуску), все дальше и дальше уносимые волнами.

После того как накануне вечером шлюпку подняли на место по правому борту на корме, кто-то подрезал удерживающие ее тросы с таким расчетом, чтобы они при умеренном натяжении порвались. Веса Бембо оказалось как раз достаточно — очевидно, беглецы определили его с точностью до одного пенькового волокна. Оставалась еще одна шлюпка; но ее следовало осмотреть, прежде чем попытаться спустить на воду. И хорошо, что это сделали: в днище зияла большая дыра, сквозь которую пролез бы бочонок. Шлюпка была безжалостно повреждена.

Джермин бесновался. Швырнув шляпу о палубу, он собирался уже броситься в море и поплыть к корвету за катером, как вдруг появился капитан Гай и попросил его оставаться на месте. Тем временем вахтенный

офицер на борту французского военного корабля заметил поднимающуюся у нас суматоху и окликнул нашего капитана, чтобы узнать, в чем дело. Гай в рупор сообщил о случившемся, и офицер немедленно пообещал дать людей для преследования. Послышались свистки боцманской дудки, слова команды, и от корвета отвалил большой катер. Пять-шесть взмахов весел — и он подошел к «Джулии». Старший помощник прыгнул в него, и гребцы стали быстро грести к берегу.

Еще один катер с вооруженной командой вскоре также направился к острову.

Через час первый катер вернулся, ведя на буксире две китобойные шлюпки, которые были обнаружены на берегу перевернутыми, точно черепахи.

Наступил полдень, а о беглецах ничего больше не было слышно. Тем временем мы с доктором Долговязым Духом слонялись взад и вперед по палубе, приятельски беседуя и рассматривая береговой ландшафт. В бухте стоял мертвый штиль; палящее солнце бросало свои лучи с высоты; иногда бесшумно скользящая пирога, крадучись, появлялась из-за какого-нибудь мыса и стрелой неслась по воде.

Все утро наши больные ковыляли по палубе и бросали печальные взгляды на остров, где покачивались пальмы, приглашая их под свою животворную сень. Несчастные матросы! Как способствовали бы восстановлению их пошатнувшегося здоровья эти восхитительные рощи! Но бесчувственный Джермин клятвенно заверил, что никогда их нога не ступит на эту землю.

Перед закатом показалась толпа, спускавшаяся к берегу. Впереди шли беглецы — без шапок, с изорванными в лохмотья куртками и брюками; лица у всех были в крови и пыли, а руки связаны за спиной гибкими прочными стеблями. За ними вплотную следовала шумная ватага островитян, подталкивавшая их остриями длинных копий, а моряки с корвета угрожали им с обеих сторон обнаженными тесаками.

Ружье, подаренное верховному вождю прибрежной области, и обещание выдать по полной стопке пороха за каждого пойманного подняли на ноги все население; охота оказалась настолько успешной, что были схвачены не только матросы, удравшие утром, но и пятеро из тех, что остались на острове во время прошлой стоянки. Впрочем, туземцы исполняли лишь роль гончих, вспугивая дичь в ее убежищах, но хватать ее предоставили французам. Здесь, как и повсюду, островитяне не обнаруживают никакого желания вмешиваться в драку, возникающую при поимке доведенных до отчаяния матросов.

Беглецов немедленно доставили на судно; вид у них был довольно угрюмый, но они вскоре воспрянули духом и стали относиться ко всему случившемуся, как к забавному приключению.

Глава VI

МЫ ПРИСТАЕМ К ОСТРОВУ ДОМИНИКА

Сразу после наступления темноты капитан Гай, боявшийся провести еще одну ночь у Хайтайху, распорядился сняться с якоря.

На следующее утро, когда все полагали, что мы пустились в далекое плавание, «Джулия» внезапно изменила курс и направилась к острову Доминика, или Хива-Оа, расположенному к северу от покинутой нами Санта-Кристины. Как мы узнали, причиной этого было желание заполучить, если окажется возможно, несколько матросов-англичан, которые, по сведениям, сообщенным командиром корвета, недавно сошли там на берег с американского китобойца и хотели наняться на какое-нибудь английское судно.

После полудня мы приблизились к острову и шли на траверзе тенистой горной долины, начинавшейся от берега глубокой бухты и терявшейся вдаль, где она извивалась зеленым ущельем.

— К наветренному грота-брасу! — заорал старший помощник, прыгая на фальшборт.

Через мгновение мчавшаяся по волнам «Джулия», внезапно остановленная в своем беге, задрала нос, как вскидывает голову осаженный на скаку конь, и вода под ее бушпритом вспенилась.

Мы находились как раз у того места, где рассчитывали пополнить экипаж; поэтому сразу же была спущена шлюпка, чтобы идти к берегу. Теперь возникла необходимость подобрать гребцов — людей, менее всего склонных сбежать. После довольно длительного совещания между капитаном и его помощником выбор пал на четырех матросов, признанных самыми надежными; или, вернее, на них остановились потому, что среди отборной компании подозрительных типов их считали менее отъявленными негодьями.

Вслед за матросами, вооруженными тесаками, — о туземцах шла очень дурная слава — за борт спустился наш больной капитан, который решил, по-видимому, на этот раз показать себя во всем блеске. Кроме тесака, на нем был старый абордажный пояс с засунутыми за него двумя пистолетами. Шлюпка немедленно отчалила.

У моего приятеля Долговязого Духа среди прочего имущества,

представлявшего несколько странное зрелище в судовом кубрике, была превосходная подзорная труба, и мы для этого случая ею воспользовались.

Когда шлюпка подошла к берегу в конце узкого залива и стала уже не различима для невооруженного глаза, мы все еще ясно видели ее в подзорную трубу; она казалась не больше яичной скорлупы, а люди превратились в пигмеев.

Наконец, увлекаемое волной, издали представлявшейся длинной полосой пены, крохотное суденышко врезалось в берег среди града сверкающих брызг. Там не было ни души. Один пигмей остался у шлюпки, а остальные пошли вдоль берега, внимательно оглядываясь по сторонам, то и дело прикладывая руку к уху, чтобы прислушаться, и пристально всматриваясь под густые ветви деревьев, свисавшие в нескольких шагах от моря. Никто не появлялся, и, по всей видимости, кругом царила могильная тишина. Но вот фигурка с пистолетами, а за ней и остальные, размахивавшие своими шилами, вступили в лес и вскоре скрылись с глаз. Они оставались там недолго, опасаясь, вероятно, вражеской засады, если заберутся далеко вверх по узкой долине.

Через некоторое время они снова сели в шлюпку и вскоре уже отважно мчались по волнам бухты. Вдруг капитан вскочил на ноги — шлюпка повернула назад и опять приблизилась к берегу. Несколько десятков туземцев, вооруженных копьями, в подзорную трубу казавшимися тростинками, только что вышли из лесу и, очевидно, кричали чужеземцам, чтобы те не торопились удирать, а вернулись для дружеских переговоров. Но островитяне, должно быть, не внушали особого доверия, так как шлюпка остановилась примерно на расстоянии своей длины от берега, и капитан, стоя на носу, исполнил пантомиму, направленную, очевидно, к тому, чтобы они подошли ближе. Один из них выступил вперед и ответил что-то, по всей вероятности снова убеждая чужестранцев отбросить недоверчивость и высадиться на берег. Капитан, размахивая руками, исполнил еще одну пантомиму, означавшую отказ. Под конец он сказал что-то, заставившее туземцев замахнуться копьями. Тогда он выстрелил из пистолета, и вся толпа пустилась бежать; лишь один бедняга, уронив копье и прижимая руку к бедру, медленно заковылял прочь. У него был такой жалкий вид, что у меня зачесались руки пустить пулю в того, кто его ранил.

Подобные акты бессмысленной жестокости нередко совершаются капитанами судов, пристающих к сравнительно мало известным островам. Даже на архипелаге Паумоту,^[18] находящемся на расстоянии всего одного дня пути от Таити, с торговых шхун, двигавшихся узкими проливами между островами, не раз стреляли по туземцам, когда те подходили к

берегу; и негодяи делают это просто для забавы.

В самом деле, отношение многих моряков к этим голым язычникам может показаться почти невероятным. Они едва признают их за людей. Любопытно отметить: чем более невежествен и унижен человек, тем с бóльшим презрением он смотрит на тех, кого считает ниже себя.

Так как все средства убедить островитян оказались тщетными и никакой надежды на возобновление с ними сношений не осталось, шлюпка вернулась к судну.

Глава VII

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ХАННАМАНУ

По ту сторону острова находилась большая, густонаселенная бухта Ханнаману; не исключена была возможность, что матросы, которых мы искали, скрывались там. Но когда шлюпка подошла к «Джулии», солнце уже садилось, а потому мы легли на другой галс и отошли на некоторое расстояние от берега. Перед рассветом мы сделали поворот через фордевинд и взяли курс на землю; к тому времени, когда солнце стояло уже высоко над горизонтом, мы вступили в узкий пролив, разделяющий острова Доминика и Санта-Кристина.

С одной стороны тянулась цепь крутых зеленых утесов в несколько сот футов вышиной; тут и там в глубоких расселинах, среди буйной растительности лепились, подобно птичьим гнездам, белые хижины островитян. По ту сторону пролива до самого горизонта простирались залитые светом пологие холмы, такие теплые и волнистые, что, казалось, они трепетали под лучами солнца. Мы неслись все дальше мимо утесов и роц, лесистых расщелин и долин, мимо темных ущелий со сверкавшими вдали бурными водопадами. Свежий береговой бриз наполнял паруса, окруженная со всех сторон землей водная поверхность своим спокойствием напоминала озеро, и голубые волны с легким плеском ударялись о медную обшивку носа нашего судна.

Достигнув конца пролива, мы обогнули мыс и сразу очутились у бухты Ханнаману. Это была единственная более или менее пригодная гавань на острове, хотя с точки зрения безопасности якорной стоянки она вряд ли заслуживает такого названия.

Прежде чем мы установили связь с берегом, произошло событие, которое может дать еще некоторое представление о нашей команде.

Подойдя к берегу, насколько позволяло благоразумие, мы остановились и стали ждать прибытия пироги, выходящей из бухты. Вдруг сильное течение подхватило нас и быстро понесло к скалистому мысу, образующему одну из сторон гавани. Ветер стих, а потому сразу же были спущены две шлюпки, чтобы повернуть судно. Но сделать это не успели: со всех сторон уже бурлили водовороты, и скалистый берег был так близко, что, казалось, на него можно спрыгнуть с верхушки мачты.

Несмотря на ужас лишившегося дара речи капитана и хриплые крики

неустрасимого Джермина, матросы тянули снасти как можно медленней; некоторые улыбались, предвкушая удовольствие очутиться на берегу, другие жаждали, чтобы судно разбилось, и едва могли сдержать свою радость. Неожиданно встречное течение пришло нам на помощь, и при содействии шлюпок мы вскоре оказались вне опасности.

Какое разочарование для нашей команды! Все тайные надежды бросить потерпевшее крушение судно, вплавь добраться до берега и беззаботно прожить на острове до конца своих дней были так жестоко похоронены, не успев расцвести!..

Вскоре после этого пирога подошла к борту «Джулии». В ней находились восемь или десять туземцев, славных, веселых на вид юношей, непрерывно жестикулировавших и что-то восклицавших; красные перья в их головных повязках все время качались. С ними прибыл также какой-то чужеземец, вероотступник, отказавшийся от цивилизованного мира, — белый человек в набедренной повязке жителей Южных морей и с татуировкой на лице. Широкая голубая полоса пересекала его лицо от уха до уха, а на лбу красовалось сужавшееся к одному концу изображение голубой акулы — сплошные острые плавники от головы до хвоста.

Многие из нас смотрели на этого человека с чувством, близким к ужасу, ничуть не ослабевшим, когда мы узнали, что он добровольно согласился на такое украшение своей физиономии. Что за клеймо! Гораздо хуже, чем у Каина: у того, вероятно, была лишь какая-нибудь морщина или родинка, и современные косметические средства могли бы их уничтожить, но голубая акула представляла собой неизгладимый знак, и его не смыть всем водам Аваны и Фарфара,^[19] рек Дамаска.

Это был англичанин (он назвал себя Лем Харди), который сбежал лет десять тому назад с торгового брига, приставшего к острову для пополнения запаса дров и воды. Харди вступил на берег в качестве независимой силы, вооруженный ружьем и располагающий мешком огнестрельных припасов, готовый, если понадобится, в одиночку вести войну на свой собственный страх и риск. Страна была поделена между враждовавшими друг с другом вождями нескольких больших долин. С одним из них, первым предложившим ему дружбу, он заключил союз и стал тем, кем оставался и по сей час: военачальником одного племени и богом войны, почитаемым на всем острове. Его кампании превзошли наполеоновские. Своим непобедимым ружьем при поддержке легкой пехоты, вооруженной копьями и дротиками, он одной ночной атакой покорил два клана, а следующее утро повергло к стопам его королевского союзника и все остальные.

Не уступал он корсиканцу и по части роста личного благосостояния; через три дня после высадки прелестно татуированная рука принцессы принадлежала ему. Вместе с девицей в качестве приданого он приобрел тысячу сажень тонкой таппы, пятьдесят двухслойных циновок из расщепленной травы, четыреста свиней, десять домов в разных концах ее родной долины, а также священную защиту специального указа о «табу», объявившего его личность навеки неприкосновенной.

Итак, Лем Харди навсегда поселился на острове, вполне удовлетворенный условиями своего существования, не испытывая ни малейшего желанья возвратиться к друзьям. «Друзей» в сущности у него никогда не было. Он рассказал мне свою историю. Лем был вышвырнут в белый свет подкидышем, и его происхождение оставалось для него такой же тайной, как генеалогия Одина.^[20] Всеми презираемый, он мальчиком убежал из приходского работного дома и стал скитаться по морям. Несколько лет он вел жизнь матроса, а теперь навсегда разделался с ней.

В большинстве случаев именно такие люди (они часто встречаются среди моряков), до которых никому на свете нет дела, не имеющие никаких привязанностей, безрассудные и не терпящие уз, налагаемых цивилизацией, нередко чувствуют себя как дома на диких островах Тихого океана. И разве можно удивляться их выбору, если вспомнить о той тяжелой участи, на какую они были обречены на родине?

По словам этого отступника, больше ни одного белого человека на острове не было; и так как капитан не имел оснований подозревать Харди в намерении нас обмануть, то он решил, что французы в своем рассказе напутали. Когда остальные гости узнали о цели нашего прибытия, один из них, красивый, рослый парень с огромными глазами на выразительном лице, вызвался отправиться с нами в плавание. В качестве платы он потребовал лишь красную рубаху, штаны и шляпу, которые тут же были ему вручены, а сверх того плитку прессованного табаку и трубку. Сделка была немедленно заключена, но затем Ваймонту внес в соглашение дополнительный пункт: его приятель, явившийся вместе с ним, должен получить десять целых морских сухарей без единой трещины, двадцать совершенно новых, безукоризненно прямых гвоздей и один большой складной нож. Это условие было также принято, и все предметы сразу же вручены туземцу. Он схватил их с большой жадностью и за неимением одежды засунул гвозди в рот, заменявший ему карман. Два гвоздя, однако, были первым делом использованы для замены ушных украшений, причудливо вырезанных из кусочков выкрашенной в белый цвет древесины.

Поднялся сильный ветер с моря, и следовало не теряя времени отойти подальше от берега; поэтому после того как наш новый товарищ и его земляки нежно потерлись носами, мы вместе с ним пустились в путь.

Когда под наполненными ветром бом-брамселями мы устремились вперед, прощальные крики с пироги, к нашему удивлению, ничуть не взволновали островитянина; но его спокойствие продолжалось недолго. В тот же вечер, как только темно-синие очертания родных холмов скрылись за горизонтом, бедный Ваймонту нагнулся над фальшбортом, уронил голову на грудь и поддался неукротимому горю. Судно сильно качало, и Ваймонту, как это ни печально, в добавление к прочим мукам, ужасно страдал от морской болезни.

Глава VIII

ТАТУИРОВЩИКИ С ОСТРОВА ДОМИНИКА

Предоставив удалявшуюся «Джультеточку» на время самой себе, я сообщу некоторые любопытные сведения, полученные мною от Харди.

Этот беглец от цивилизации так долго прожил на острове, что все местные обычаи были ему хорошо известны; я очень жалел о кратковременности нашего пребывания в Ханнаману, помешавшей ему рассказать нам о них более обстоятельно.

Все же из тех немногочисленных фактов, которые стали мне известны, я с удивлением убедился, что жители Хива-Оа, хотя этот остров относится к той же группе, что и Нукухива, сильно отличаются от моих друзей из тропической долины Тайпи.

Так как татуировка Харди вызвала множество замечаний, ему пришлось немало порассказать о том, как занимаются этим искусством у них на острове.

Татуировщики с Хива-Оа пользовались широкой известностью на всем архипелаге. Они довели свое мастерство до исключительного совершенства, и их профессия считалась весьма почетной. Не удивительно поэтому, что, подобно модным портным, они ценили свои услуги очень дорого; так дорого, что позволить себе пользоваться ими могли только люди, принадлежавшие к высшим сословиям. Поэтому изящество татуировки почти всегда служило верным указанием на знатность происхождения и богатство.

«Профессора» с большой практикой жили в просторных домах, разделенных занавесями из таппы на множество маленьких помещений, где поодиночке обслуживались клиенты. Такой порядок объяснялся главным образом своеобразной формой «табу», предписывавшей для всех людей, будь они высокого или низкого звания, строжайшее уединение на время татуировки. Им запрещается всякое общение с другими, и небольшую порцию пищи, разрешаемую к употреблению, подсовывает им под занавеску невидимая рука. Ограничение еды направлено к тому, чтобы уменьшить количество крови и тем ослабить воспаление, вызываемое накалыванием кожи. Воспаление появляется очень быстро, и требуется некоторое время, чтобы оно прошло; таким образом, период уединения

обычно продолжается много дней, иногда несколько недель.

Когда всякая болезненность исчезает, клиент уходит домой, но лишь для того, чтобы вернуться снова: операция эта настолько болезненна, что за один раз ей можно подвергнуть лишь небольшой участок кожи. И так как при столь медленном процессе требуется разукрасить все тело, предназначенные для этой цели студии постоянно полны. Побуждаемые неслыханным тщеславием, многие островитяне проводят значительную часть своей жизни, высиживая перед художником.

Наиболее подходящим для начала этой работы считается юношеский возраст. Подыскав какого-нибудь знаменитого татуировщика, родные приводят юношу к нему, и тот составляет эскиз общего плана татуировки. «Профессор» должен обладать острым глазом, так как костюм, который будет носиться всю жизнь, должен быть хорошо скроен.

Некоторые татуировщики, томясь по совершенству, нанимают за большую плату несколько человек самого низкого происхождения, простолюдинов, совершенно не заботящихся о внешности, и на них практикуются, проверяя свои замыслы. После того как их спины безжалостно искалываются черновыми набросками и холста для художника больше не остается, эти люди получают расчет и становятся на всю жизнь объектом презрения своих соплеменников. Несчастные создания! Они стали мучениками во имя искусства.

Кроме специалистов с постоянной клиентурой, существует множество захудалых странствующих татуировщиков, которые благодаря своей профессии беспрепятственно бродят от одной прибрежной деревни до другой по местности, населенной враждующими между собой племенами, и по дешевке обслуживают чернь. Они всегда приноравливают свое появление к различным религиозным празднествам, собирающим большие толпы. Когда праздник кончается и все, в том числе татуировщики, покидают местность, где он происходил, там остается десятка два маленьких палаток из грубой таппы с одиноким обитателем в каждой из них; ему запрещено разговаривать с невидимыми соседями, и он обязан пробыть там до полного исцеления. Странствующие татуировщики позорят свою профессию; они простые ремесленники, ничего не признающие, кроме ломаных линий и бесформенных пятен, совершенно не способные вознестись к тем высотам фантазии, которых достигают их выдающиеся собратья по профессии.

Все деятели искусства любят объединяться; поэтому в Ханнаману татуировщики время от времени сходились на собрания своего почтенного ордена. В этом обществе, должным образом организованном и имевшем

членов различных степеней, Харди, пользовавшийся как белый особым влиянием, играл роль почетного Великого Мастера.

Голубая акула и что-то вроде урима и туммима,^[21] выгравированных у него на груди, были знаками его посвящения. Такие ордена татуировщиков учреждены на всем Хива-Оа. Тот, к которому принадлежал наш знакомец, возник следующим образом. Через год-другой после его появления на острове там наступил голод, ибо несколько сезонов подряд урожая хлебных плодов почти полностью погибали. Это повело к такому уменьшению клиентуры у татуировщиков, что они стали форменным образом бедствовать. Однако венценосный союзник Харди нашел филантропический способ обеспечить их нужды, одновременно оказав благодеяние многим из своих подданных.

Перед дворцом, на берегу и в верховье долины под трубные звуки раковин было возвещено, что Нумаи, король Ханнаману и друг Харди-Харди, белого, открывает свое сердце и свой дом для всех татуировщиков; но чтобы получить права на такое гостеприимство, они обязаны бесплатно оказывать услуги всем желающим беднякам.

Немедленно к королевской резиденции стали стекаться толпы художников и клиентов. Это было славное время; так как дворцовые постройки считались «табу» для всех, кроме татуировщиков и вождей, клиенты большим лагерем расположились под открытым небом.

«Лора тату», или «Пору татуировки», будут долго помнить. Один восторженный клиент прославил это событие в стихах. Харди привел нам несколько строк и дал их примерный перевод в виде своеобразного речитатива:

Где слышен этот шум?
В Ханнаману.
А что это за шум?
То шум сотни молотков,
Они стучат, стучат, стучат
По акульим зубам.^[22]

Где этот свет?
Вокруг королевского дома.
А что за тихий смех?
Это весело, тихо смеются
Сыновья и дочери тех, кого татуируют.

Глава IX

МЫ ДЕРЖИМ КУРС НА ЗАПАД. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Когда мы покидали Ханнаману, ночь была светлая и звездная и такая теплая, что после смены вахты большинство матросов улеглось как попало вокруг фок-мачты.

Под утро, страдая от духоты в кубрике, я поднялся на палубу. Там царило полное безмолвие. Мягкий пассатный ветер ровно надувал паруса, и судно двигалось прямо в безбрежный простор западной части Тихого океана. Вахтенные спали. Даже рулевой, упершись одной ногой в штурвал, клевал носом, и сам старший помощник, скрестив руки, прислонился к шпилью.

В такую ночь, предоставленный самому себе, мог ли я не предаться мечтам? Я перегнулся через борт и невольно думал о тех чудищах, над которыми мы, возможно, в этот самый миг проплывали.

Но вскоре мои размышления прервала серая призрачная тень, упавшая на вздымающиеся волны. То был рассвет, сменившийся первыми проблесками зари. Они вспыхивали в одном конце ночного небосвода, напоминая — если сравнивать великое с малым — мелькание фонаря Гая Фокса^[23] в подземелье парламента. Прошло немного времени, край океана зарделся, словно пылающие угли, и, наконец, кроваво-красный шар солнца выкатился из-за горизонта на востоке, и начался длинный день в море.

После завтрака первым делом порешили по всем правилам окрестить Ваймонту, который за ночь обдумал свое положение и имел довольно мрачный вид.

О том, какое имя ему дать, высказывались различные мнения. Одни считали, что мы должны назвать его «Воскресенье», так как в этот день он попал к нам; другие предлагали «Тысяча восемьсот сорок два» — по текущему году нашего летосчисления; доктор Долговязый Дух, со своей стороны, настаивал на том, чтобы островитянин ни в коем случае не менял своего первоначального имени Ваймонту-Хи, которое означало (как он утверждал) на образном языке туземцев что-то вроде «Человек, попавший в беду». Старший помощник положил конец спорам, окатив беднягу ведром морской воды и наделив его морским именем «Нос по ветру».

После первых припадков отчаяния, вызванных разлукой с родиной, Ваймонту — мы и впредь будем называть его так — на время несколько повеселел, но затем погрузился в прежнее состояние и стал очень грустным. Мне часто приходилось видеть, как, забившись в угол кубрика, он следил своими странными, беспокойно горевшими глазами за малейшими движениями матросов. И когда они говорили о Сиднее и его танцевальных заведениях, он всякий раз вспоминал, вероятно, о своей бамбуковой хижине.

Мы находились теперь в открытом море, но в какой промысловый район мы направляемся, никто не знал; по-видимому, это почти никого и не интересовало. Матросы со свойственной им беспечностью стали втягиваться в повседневную жизнь на море, как будто все обстояло вполне благополучно. Ветер уносил «Джулию» по спокойной глади океана, и вся работа сводилась к вахтам у руля и смене дозорных на топах мачт. Что касается больных, то их число увеличилось еще на несколько человек — климат острова для некоторых из беглецов оказался неподходящим. В довершение всего капитан снова сдал и совсем расхворался.

Матросов, способных выполнять свои обязанности, разделили на две малочисленные вахты, которыми руководили старший помощник и маори; последний, благодаря тому что он был гарпунщиком, стал преемником сбежавшего второго помощника.

При таком положении дел не приходилось и думать об охоте на китов; однако вопреки очевидности Джермин рассчитывал на скорое выздоровление больных. Как бы то ни было, мы продолжали неуклонно двигаться на запад, а над нами расстилалось все то же бледно-голубое небо. Мы шли все вперед и вперед, но казалось, будто мы все время стоим на месте, и каждый прожитый день ничем не отличался от предыдущего. Мы не видели ни одного корабля, да и не надеялись увидеть. Никаких признаков жизни, кроме дельфинов и рыб, резвившихся под носом «Джулии» подобно щенкам на берегу. Впрочем, время от времени дымчатые альбатросы, характерные для этих морей, появлялись над нами, хлопая огромными крыльями, а затем, бесшумно паря, уносились прочь, словно не желая иметь дело с зачумленным кораблем. Или же стаи тропических птиц, известных среди моряков под названием «боцманы»,^[24] описывали над нами круг за кругом, пронзительно свистя на лету.

Неизвестность, по-прежнему окутывавшая место нашего назначения, и то обстоятельство, что мы шли сравнительно мало посещаемыми водами, придавали этому плаванию особый интерес, и я его никогда не забуду.

Из вполне понятных соображений благоразумия моряки

придерживались в Тихом океане преимущественно уже известных путей; именно поэтому корабли исследователей и отважные китобойцы еще и в наши дни открывают иногда новые острова, хотя за последние годы множество всякого рода судов бороздило необъятный океан. В самом деле, значительная часть этих водных просторов все еще остается совершенно неизученной; до сих пор имеются сомнения, существуют ли действительно те или иные мели, рифы и небольшие группы островов, весьма приближенно нанесенные на морские карты. Уже одно то, что такое судно, как наше, направляется в эти районы, не могло не вызвать некоторого беспокойства у всякого здравомыслящего человека. Лично мне часто вспоминались многочисленные рассказы о кораблях, которые, идя под всеми парусами, налетали посреди ночи, когда команда спала, на неведомые подводные скалы. Ведь из-за отсутствия дисциплины и недостатка в людях ночные вахты вели себя у нас крайне беспечно.

Но подобные мысли не приходили в голову моим беззаботным товарищам. И мы двигались все дальше и дальше, а солнце каждый вечер садилось как раз напротив нашего утлегаря.

Почему старший помощник столь тщательно скрывал точное место нашего назначения, так и осталось неизвестным. Его рассказам я, например, совершенно не верил, считая их лишь уловкой для успокоения команды.

По его словам, мы направлялись в прекрасный промысловый район, почти неизвестный другим китобоям и открытый им самим, когда он во время одного из своих прежних плаваний ходил капитаном на маленьком бриге. Океан так и кишит там огромными китами, настолько смирными, что просто подходи к ним и бей; они так пугаются, что не оказывают никакого сопротивления. Близ этого места с подветренной стороны лежит небольшая группа островов, куда мы направимся для ремонта; они изобилуют чудесными плодами, и живет там племя, совершенно не испорченное общением с чужеземцами.

Не желая, вероятно, чтобы кто-нибудь смог точно установить широту и долготу того места, куда мы направлялись, Джермин никогда не сообщал нам нашего местонахождения в полдень, хотя на большинстве судов это обычно делается.

Зато он неутомимо ухаживал за больными. Когда доктор Долговязый Дух сдал ключи от аптечки, они были вручены Джермину, и тот выполнял свои обязанности врача ко всеобщему удовольствию. Пилюли и порошки чаще всего выбрасывались рыбам, а взамен шло в ход содержимое таинственных маленьких бочонков емкостью в четверть ведра,

разбавлявшееся водой из сорокаведерной бочки. Джермин приготавливал свои лекарства на шпиле в кокосовых скорлупах, на которых были написаны имена больных. Подобно врачам на суше, он сам не пренебрегал своими снадобьями, так как нередко являлся в кубрик с профессиональными визитами изрядно навеселе; он считал также своим долгом поддерживать среди больных хорошее настроение, рассказывая им часами занимательные истории всякий раз, как их навещал.

Из-за хромоты, от которой я вскоре начал оправляться, мне не приходилось выполнять никаких работ; лишь изредка я выстаивал смену у руля. Бóльшую часть времени я проводил в кубрике в обществе долговязого доктора, изо всех сил старавшегося завоевать мое расположение. Его книги, хотя и сильно порванные и затрепанные, были для меня бесценным подспорьем. Я по нескольку раз прочел их от корки до корки, в том числе и ученый трактат о желтой лихорадке. Кроме книг, у него была пачка старых сиднейских газет, и я вскоре наизусть знал адреса всех купцов, помещавших в них объявления. Особенно большое развлечение доставляла мне красноречивая реклама Стаббса, владельца аукционной конторы по продаже недвижимого имущества, и я не сомневался, что он был учеником лондонского аукциониста Робинса.

Кроме удовольствия, которое доставляло мне общество Долговязого Духа, дружба с ним принесла мне также большую пользу. Немилость капитана лишь усилила расположение к нему судового плебса; матросы не только обходились с разжалованным доктором самым дружелюбным образом, но и всячески проявляли свое уважение, не говоря уже о том, что от всего сердца смеялись каждой его шутке. Эти чувства распространились и на меня, как на его ближайшего приятеля, и постепенно в нас стали видеть почетных гостей. Во время трапез нам всегда подавали первым, да и в остальном оказывали всяческие знаки внимания.

Изыскивая способы заполнить время в периоды частых штилей, Долговязый Дух вспомнил о шахматах. Складным ножом мы довольно искусно вырезали из кусочков дерева фигуры, а доской нам служила расчерченная мелом на квадраты середина крышки сундука, по концам которого мы при игре усаживались верхом друг против друга. Не найдя другого, более подходящего способа отличать фигуры противников, я отметил свои, привязав к ним лоскутки черного шелка, оторванные от старого шейного платка. По словам доктора, я поступил вполне правильно, одев их в траур, так как в трех играх из четырех у них имелись все основания печалиться. Матросы в шахматах ничего не смыслили; их удивление достигало такого предела, что под конец они следили за

таинственным ходом игры в полнейшем недоумении; не сводя глаз с фигур во время долгих сражений, они приходили к выводу, что мы оба, вероятно, какие-то волшебники.

Глава X

ОПИСАНИЕ СУДОВОГО САЛОНА И НЕКОТОРЫХ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ

Не мешает теперь дать некоторое представление о том месте где так дружно жили доктор и я.

Большинству читателей известно, что передняя часть палубы около бушприта называется баком; непосредственно под ним находится кубрик — помещение для матросов, отделенное переборкой от трюма.

Расположенное в носовой части корабля, это чудесное жилье имеет треугольную форму и обычно оборудовано грубо сколоченными двухъярусными койками. На «Джулии» они были в самом плачевном состоянии, настоящие калеки, часть которых почти полностью разобрали для починки остальных; по одному борту их уцелело только две. Впрочем, большинство матросов относилось довольно равнодушно к тому, есть ли у них койка или нет: все равно, не имея постельных принадлежностей, они могли на нее класть только самих себя.

Доски своего ложа я застелил старой парусиной и всяким тряпьем, какое мне удалось разыскать. Подушкой служил чурбан, обернутый рваной фланелевой рубахой. Это несколько облегчало участь моих костей во время качки.

Кое-где разобранные деревянные койки были заменены подвесными, сшитыми из старых парусов, но они раскачивались в пределах столь ограниченного пространства, что спать в них доставляло очень мало удовольствия.

Общим видом кубрик напоминал темницу, и там было исключительно грязно. Прежде всего от палубы до палубы он имел меньше пяти футов, и даже в это пространство вторгались две толстые поперечные балки, скреплявшие корпус судна, и матросские сундуки, через которые по необходимости приходилось переползать, если вы куда-нибудь направлялись. В часы трапез, а особенно во время дружеских послеобеденных бесед, мы рассаживались на сундуках, точно артель портных.

Посредине проходили две квадратные деревянные колонны, называемые у кораблестроителей бушпритными битенгами. Они отстояли друг от друга примерно на фут, а между ними, подвешенный к ржавой

цепи, покачивался фонарь, горевший день и ночь и постоянно отбрасывавший две длинные темные тени. Ниже между битенгами был устроен шкаф, или матросская кладовая, которая содержалась в чудовищном беспорядке и время от времени требовала основательной чистки и обкуривания.

Все судно находилось в крайне ветхом состоянии, а кубрик и вовсе напоминал старое гниющее дупло. Дерево везде было сырое и заплесневелое, а местами мягкое, ноздреватое. Больше того, все оно было безжалостно искромсано и изрублено, ибо кок нередко пользовался для растопки щепками, отколотыми от битенгов и бимсов. Наверху в покрытых копотью карлингсах тут и там виднелись глубокие дыры, прожженные забавы ради какими-то пьяными матросами во время одного из прежних плаваний.

В кубрик спускались по доске, на которой были набиты две поперечные планки; люк представлял собой простую дыру в палубе. Никакого приспособления для задраивания люка на случай необходимости не имелось, а просмоленный парус, которым его прикрывали, давал лишь слабую защиту от брызг, перелетавших через фальшборт. Поэтому при малейшем ветре в кубрике бывало ужасно мокро. Во время же шквала вода врывалась туда потоками, подобно водопаду, растекаясь кругом, а затем всплескивалась вверх между сундуками, словно струи фонтана.

Таково было помещение, которым мы располагали на «Джулии»; и при всех его недостатках мы не могли считать себя в нем полными хозяевами. Несметное число тараканов и полчища крыс оспаривали у нас права на него. Большое бедствие не может выпасть на долю судна, плавающего в Южных морях.

Климат там такой теплый, что избавиться от этой нечисти почти немислимо. Вы можете закупорить все люки и окуривать межпалубные помещения до тех пор, пока дым не ползет из пазов, но тем не менее достаточное количество тараканов и крыс выживет и в невероятно короткое время снова заселит судно. Случается, после упорной борьбы команда признает себя побежденной, и тогда эти твари становятся как бы подлинными хозяевами, а матросы превращаются в простых жильцов, которых терпят из милости. На судах, занятых промыслом кашалотов и часто не покидающих экваториальные воды по два года подряд, дело обстоит неизмеримо хуже, чем на всех других.

Что касается «Джулии», то тараканы и крысы нигде не чувствовали себя так вольготно, как в ее старом ветхом корпусе; каждая щель, каждая трещина буквально кишели ими. Не они жили среди вас, а вы среди них.

Доходило до того, что мы предпочитали есть и пить в темноте, а не при дневном свете.

А с тараканами у нас происходило необычайное явление, которое никто так и не мог понять.

Каждую ночь они устраивали празднество. Первый признак его приближения состоял в том, что полчища насекомых, облепившие балки над нашими головами и забирившиеся к нам в койки, начинали проявлять необычайное оживление и гудеть. Затем следовало массовое передвижение тех, кто жил вне поля нашего зрения. Вскоре все появлялись на сцене: более крупные экземпляры бегали по сундукам и доскам; крылатые чудовища металась взад и вперед по воздуху; а мелюзга носилась кучами, почти слившимися в сплошную массу.

По первой тревоге все матросы, способные двигаться, устремлялись на палубу; те же из больных, кто был слишком слаб, лежали не шевелясь, и обезумевшие насекомые бегали по ним сколько им заблагорассудится. Представление длилось минут десять и сопровождалось таким гулом, какого не издает даже пчелиный рой. Как часто мы сокрушались, что никогда нельзя было предвидеть время этих визитов — их могли нанести нам в любой час после наступления темноты; — и какое облегчение мы испытывали, когда они приходились на ранний вечер.

Но мне не следует забывать и о крысах, ибо они не забывали обо мне. Подобно ручной мыши Тренка,^[25] ничуть не боявшейся людей, они стояли в норах и смотрели на вас, как старый дедушка с порога своего дома. Нередко они бросались на нас во время трапез и принимались грызть нашу еду.

Когда крысы в первый раз приблизились к Ваймонту, тот по-настоящему испугался; но, привыкнув, он вскоре стал управляться с ними лучше других: с поразительной ловкостью хватал крыс за лапы и выбрасывал через люк в море, где они и находили себе могилу.

О крысах я должен рассказать историю, касавшуюся лично меня. Однажды юнга подарил мне немного патоки; я ее так любил, что держал в жестяной банке в самом дальнем углу своей койки. При нашем пайке сухари, чуть-чуть политые патокой, были поистине роскошным блюдом, которым я делился лишь с доктором, и то потихоньку. Что могло быть прекрасней такого райского угощения, да еще съеденного украдкой?

Как-то вечером мы убедились, что банка почти опустела; когда мы в темноте ее наклонили, то вместе с патокой выскользнуло еще что-то. Сколько времени оно пробыло там, мы, слава богу, никогда не узнали, да и не слишком жаждали знать; всякую мысль об этом мы постарались как

можно скорей выкинуть из головы. Смерть крысы, несомненно, была сладкой, совсем как смерть Кларенса в бочке мальвазии.^[26]

Глава XI

ДОКТОР ДОЛГОВЯЗЫЙ ДУХ — ШУТНИК. ОДНА ИЗ ЕГО ПРОКАЗ

Хотя временами доктор Долговязый Дух бывал настроен серьезно, в целом он все же бесспорно был шутником.

Всякий знает, как любят моряки шутку на берегу, в море же эта любовь доходит до подлинной страсти. Поэтому проделки доктора встречали всеобщее признание.

Бедный старый черный кок! Отвязывая на ночь свою подвесную койку, он обнаруживал в ней крепко спавшее мокрое бревно; а когда он просыпался по утрам, его курчавая голова оказывалась вымазанной смолой. Поднимая крышку медного котла, он находил в нем старый ботинок, варившийся самым нахальным образом, а иногда у него в печи покрывались глазурью пирожные из смолы.

Участь Балтиморы^[27] была поистине печальной; день и ночь он не знал покоя. Несчастный! Уж слишком он был благодушен. Что бы ни говорили о людях с мягким характером, в некоторых отношениях гораздо лучше обладать нравом волка. Кому пришло бы в голову позволить себе подшутить над сердитым Черным Даном!

Самая забавная проказа доктора заключалась в том, что однажды он вздернул на мачты, кого за ногу, кого за плечо, матросов, заснувших на палубе во время ночной вахты.

Как-то, выйдя из кубрика, он застал всех погруженными в сон и принялся за свои проделки. Обвязав каждого спящего веревкой, он пропустил концы через несколько блоков и подвел к шпилью; затем бодро зашагал, толкая перед собой вымбовку, и, несмотря на крики и сопротивление, матросы вскоре закачались тут и там в воздухе, подвешенные за руки и за ноги. Проснувшись от шума, мы примчались снизу и увидели, как бедняги, освещенные луной, свисали с топов мачт и ноков рей, подобно шайке пиратов, казненных в море экипажем поймавшего их крейсера.

Некоторое сходство с описанным развлечением имела и другая шутка доктора. По ночам кое-кто из вахтенных матросов спускался с палубы в кубрик, чтобы выкурить трубку или перехватить кусок солонины с сухарем.

Иногда они засыпали; как только надо было что-нибудь сделать, их отсутствие обнаруживалось, и товарищи часто забавлялись тем, что вытягивали их наверх при помощи блока и конца, спущенного в люк с топа фок-мачты.

Как-то ночью, когда повсюду царило глубокое молчание, я лежал в кубрике без сна; тускло горевший фонарь покачивался под закопченной балкой; в такт однообразным движениям судна матросы медленно перекачивались из стороны в сторону на своих досках, а подвесные койки подымались и опускались все враз.

Вдруг я услышал чьи-то шаги по трапу и, взглянув наверх, увидел широкую штанину. Адмиралтейский Боб, коренастый старый моряк, осторожно спустился в кубрик, сразу же направился к шкафу и стал ощупью искать чего-нибудь поесть.

Подкрепившись, он начал набивать трубку. Матросу в море трудно найти более уютное местечко для курения, чем кубрик «Джулии» в полночь. Для полноты блаженства нужно погрузиться в дремотные мечты, знакомые только завятым курильщикам табака. Вся атмосфера кубрика, наполненного храпом спящих, навевала сонливость. Не удивительно, что через некоторое время голова Боба склонилась на грудь; вскоре шапка с него свалилась, погасшая трубка выпала изо рта, и вот он уже спал спокойным сном младенца, растянувшись на сундуке.

Внезапно на палубе послышалась команда, за которой последовал топот ног и звуки выбираемых снастей. Там брасопили реи и сразу же хватились спящего; над люком начали шепотом совещаться.

Какая-то тень скользнула по кубрику и бесшумно приблизилась к ничего не подозревавшему Бобу. Это был один из вахтенных, державший в руках конец троса, который уходил куда-то вверх через люк. Помедлив мгновение, матрос осторожно приложил руку к груди своей жертвы, чтобы убедиться, крепко ли она спит; затем, привязав трос к ее лодыжке, возвратился на палубу.

Едва он повернулся спиной, как с висевшей напротив койки быстро взметнулась длинная фигура, и доктор Долговязый Дух, осторожно спрыгнув, отвязал конец от лодыжки Боба и с молниеносной быстротой прикрепил его к большому тяжелому сундуку, принадлежавшему тому самому матросу, что сейчас исчез.

Только он успел это сделать, как пошла потеха! С грохотом подпрыгнув, громоздкий ящик сорвался с места и, ударяясь обо все встречные предметы, понесся к люку. Там он застрял; думая, что Боб, не уступавший по мощи шпилью, уцепился за балку и старается перерезать

трос, шутники на палубе принялись тянуть изо всех сил. Вдруг сундук взмыл в воздух и, ударившись о мачту, открылся, обрушив на головы честной компании безжалостный град вещей, перечислять которые было бы слишком долго.

Конечно, от шума проснулась вся команда, и когда мы поспешно выскочили на палубу, владелец сундука с ужасом смотрел на свои разлетевшиеся во все стороны пожитки и дрожащей рукой ощупывал шишку, которая вскочила у него на голове.

Глава XII

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ ДВУХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

Веселье, царившее порой среди нас, могло показаться странным и неприличным, если вспомнить о состоянии некоторых из наших больных. Так по крайней мере считал я, но не другие.

Примерно в это время произошло, однако, событие, убравшее у нас с глаз долой самых тяжких страдальцев, так что в дальнейшем поведение команды уже не так оскорбляло мои чувства.

Мы находились в море дней двадцать, когда двое больных, которым становилось все хуже, умерли ночью в течение какого-нибудь часа.

Один из них занимал соседнюю койку справа от меня и последние несколько дней с нее не поднимался. Все это время он часто бредил, садясь и озираясь вокруг, а подчас дико размахивая руками.

В ночь его смерти я сразу же после начала ночной вахты улегся спать, но проснулся от какого-то смутного кошмара и почувствовал на себе что-то холодное. Это была рука больного. Вечером он несколько раз клал ее на мою койку, и я ее осторожно убирал. Но теперь я вскочил и сбросил с себя его руку, она безжизненно упала, и мне стало ясно, что мой сосед умер.

Я разбудил товарищей. Труп сразу же завернули в обрывки одеял, на которых он лежал, и вынесли на палубу. Затем позвали старшего помощника, и начались приготовления к немедленным похоронам. Покойника положили на фор-люк и зашили в парусиновую койку, поместив в ногах вместо ядра чугунную балластину. После этого тело перенесли на шкафут и подняли на доску, положенную поперек фальшборта. Два человека поддерживали ее конец. Затем, торжественности ради, судно остановили, обстенив грот-марсель.

Старший помощник, находившийся в далеко не трезвом состоянии, пошатываясь, выступил теперь вперед и, держась за ванты, подал команду. Доска наклонилась, тело медленно заскользило вниз и с плеском упало в море. Несколько пузырей... вот и все, что мы увидели.

— Отдать брасы!

Грота-рей, сделав поворот, стал на свое место, и судно плавно двинулось вперед, между тем как тело, возможно, еще продолжало погружаться.

Мы бросили товарища акулам, но никто этого не подумал бы, потолкавшись среди матросов сразу же после похорон. Покойный при жизни был грубый необщительный человек, и его не любили; теперь, когда он умер, о нем почти не вспоминали. Разговор шел только о том, как распорядиться его сундуком, в котором, по предположениям, хранились деньги, так как он всегда был заперт. Кто-то вызвался взломать сундук и распределить содержимое — одежду и все остальное, — прежде чем капитан потребует его к себе.

Я и еще несколько человек старались отговорить товарищей от такого самоуправства, как вдруг донесшийся из кубрика крик заставил всех вздрогнуть. Там оставались лишь двое больных, не имевшие сил вскарабкаться на палубу. Мы сошли вниз и увидели, что один из них лежит на сундуке при смерти. Во время припадка он вывалился из койки и теперь был без сознания. Его глаза были открыты и устремлены в одну точку, он судорожно дышал. Матросы попятнулись от него. Доктор, взяв руку больного, несколько мгновений держал ее в своей, а затем, вдруг отпустив, воскликнул:

— Он скончался! — Тело немедленно вынесли по трапу.

Вскоре расстелили еще одну старую койку, и мертвого моряка зашили в нее, как и первого. Однако на этот раз матросы настаивали на дополнительном обряде и потребовали, чтобы принесли библию. Но не только библии, даже молитвенника ни у кого из нас не оказалось. Когда это выяснилось, португалец Антоне, уроженец островов Зеленого Мыса, вышел вперед, что-то пробормотал над телом своего земляка и пальцем начертил сверху на койке большой крест. Лишь после этого мертвец был отправлен в свой последний путь.

Эти два человека погибли от вошедшей в поговорку матросской неводержанности, еще усилившейся по вполне понятным причинам; но оба они, если бы находились на берегу и подверглись надлежащему лечению, без всякого сомнения, поправились бы.

Вот какова судьба матроса! Он получает последний пинок, и больше до него никому нет дела.

Остаток этой ночи никто из нас не спал. Многие провели ее на палубе, пока окончательно не рассвело, рассказывая друг другу те таинственные морские истории, какие неизбежно должны были возникнуть в памяти в связи с происшедшим событием. Как ни мало верил я в подобные небылицы, слушая некоторые из них, я не мог оставаться спокойным. Сильней всего меня потряс рассказ плотника.

...Однажды на пути в Индию у них на борту появилась лихорадка,

которая за несколько дней унесла половину экипажа. После этого матросы стали по ночам лазить на мачты только по двое. Когда приходилось брать рифы на марселях, у ноков реев появлялись призраки; а при поворотах на другой галс сверху слышались чьи-то голоса. Самого плотника, когда он в шторм взобрался вместе с другим матросом на грот-мачту, чтобы убрать брамсель, чуть не сбросила вниз чья-то невидимая рука; а его товарищ клялся, что его смазало по лицу мокрой парусиновой койкой.

Подобного рода истории выдавались за святую истину людьми, называвшими себя очевидцами.

Вероятно, не все знают, что среди невежественных моряков к уроженцам Финляндии, или финнам, относятся с особым суеверием. По той или иной причине, так и оставшейся для меня неясной, их считают наделенными даром ясновидения и способностью подвергать сверхъестественному мщению тех, кто их обижает. Поэтому они пользуются среди матросов большим влиянием. Мне в разное время пришлось плавать с несколькими финнами, и все они были людьми, которые легко могли произвести такое впечатление, во всяком случае на умы, склонные верить в потусторонние силы.

У нас на «Джулии» тоже был один из таких морских пророков — старик с волосами цвета соломы, всегда ходивший в самодельной шапке из невыделанной тюленьей кожи и носивший табак в объемистом кисете из того же материала. Ван, как мы его называли, на вид казался спокойным, безобидным человеком, и на проявляемые им по временам странности наша команда до сих пор не обращала внимания. Теперь, однако, он выступил с предсказанием, замечательным тем, что оно в точности исполнилось, хотя и не совсем в том смысле, какой он имел в виду.

В ночь похорон он положил руку на старую подкову, прибитую на счастье к фок-мачте, и торжественным тоном сказал, что меньше чем через три недели на «Джулии» не останется и четвертой части из нас — остальные к тому времени навсегда расстанутся с нею.

Кое-кто рассмеялся; Жулик Джек назвал его старым дураком. Но в общем предсказание произвело на матросов большое впечатление. Несколько дней после этого на судне стояла относительная тишина, и разговоры по поводу недавних событий велись такие странные, что их можно было объяснить лишь пророчеством финна.

Лично я считаю, что оно имело некоторое влияние на все случившееся в дальнейшем. Оно заставляло нас помнить о нашем поистине критическом положении. Доктор Долговязый Дух тоже часто делился со мной своими опасениями; как-то он честно признался мне, что отдал бы многое, чтобы

благополучно высадиться на любой из окружавших нас островов.

Никто, вероятно, кроме старшего помощника, в точности не знал ни того, где мы сейчас находились, ни того, куда мы направлялись. Капитан — полное ничтожество — болел и не выходил из каюты; не лучше обстояло дело и с многими из его людей, чахнувшими в кубрике.

То обстоятельство, что мы при таких условиях продолжаем держаться открытого моря, казалось нам довольно странным с самого начала, а теперь оно не имело, по-видимому, никакого оправдания. К тому же нас не покидала мысль, что наша судьба всецело находилась в руках безрассудного Джермина. Случись с ним какая-либо беда, мы остались бы без штурмана. Ведь, по словам самого Джермина, на протяжении всего плавания местонахождение судна определял только он, ибо капитан обладал недостаточными познаниями в навигационном деле.

Впрочем, как это ни странно, подобного рода мысли, если и приходили на ум матросам, то лишь очень редко. Они были склонны только к суеверному страху; и когда, в явном противоречии с предсказанием финна, состояние больных несколько улучшилось, к матросам постепенно вернулось прежнее настроение, и воспоминания о пережитом мало-помалу изгладились из их памяти. Через неделю непригодность «Джувьеточки» к плаванию в море, и прежде нередко служившая объектом насмешек, снова стала для всех темой веселых острот. В кубрике Жулик Джек то и дело ковырял ножом мокрые гнилые доски, отделявшие нас от смерти, и, отбрасывая щепки, отпускал морские шуточки.

Что касается еще не поправившихся матросов, то вряд ли они были настолько больны, чтобы у таких беззаботных людей, как они, могли возникнуть серьезные опасения — во всяком случае в данное время. И даже самые тяжелые больные старались воздерживаться от жалоб.

Надо сказать, что матросы очень не любят, когда кто-нибудь заболевает в море, и не обращают на него почти никакого внимания; поэтому, даже сильно расхворавшись, они обычно пытаются скрыть свои мучения. Они не сочувствовали другим и не ждут, чтобы им сочувствовали. В этих случаях поведение моряков так противоречит их обычному великодушию на берегу, что вызывает крайне неприятное чувство у новичка, впервые очутившегося в их обществе на судне.

Иногда, правда редко, наши больные начинали ругаться по поводу того, что их держат в море, где от них нет никакого прока, между тем как им следовало бы находиться на берегу и на пути к выздоровлению. Тогда старший помощник говорил:

— Чего там! Выше нос, выше нос, ребята! — И ему кое-как удавалось

прекратить ворчание.

Было, впрочем, одно обстоятельство, о котором я до сих пор упоминал лишь мельком и которое сильней всего способствовало примирению многих со своим положением. Регулярно два раза в день все получали порцию писко; его раздавал у шпилья юнга, наливая в маленькие жестяные стопки, которые назывались «чарками».

Пристрастие матросов к крепким напиткам общеизвестно; но в Южных морях, где их так трудно достать, чистокровный моряк готов на любые жертвы ради своей любимой «чарки». В нынешние времена на американских китобойных судах, плавающих в Тихом океане, и не помышляют о том, чтобы держать запас спиртных напитков для раздачи матросам; обычно их не выдают даже во время самой тяжелой работы. Однако все сиднейские китобойцы до сих пор придерживаются старинного обычая, и водка относится к числу обязательных продуктов, захватываемых ими в плавание.

Во время стоянок выдача писко прекращалась — несомненно с той целью, чтобы повысить привлекательность пребывания в открытом море.

И вот из-за отсутствия настоящей дисциплины наши больные, не довольствуясь той дозой, которую они получали в качестве лекарства, частенько являлись на палубу, чтобы за компанию выпить положенную «чарку»; в добавление ко всему каждый канун воскресенья отмечался «субботними бутылками», как их именуют на английских судах. С наступлением темноты в кубрик присылали две бутылки: одну для штирбортной вахты, а другую для бакбортной.

По традиции самый старый матрос каждой вахты считал угощение своей собственностью; соответственно, отхлебнув как следует, он пускал его вкруговую, подобно хозяину, потчующему гостей. Но и «субботними бутылками» дело не ограничивалось. Плотник и купорный мастер, на морском жаргоне Стружка и Затычка, признанные «сазаны», или вожди кубрика, тем или иным путем умудрялись раздобывать добавочные порции, от которых они постоянно пребывали в прекрасном послеобеденном настроении и даже склонны были одобрительно относиться к тому положению, в каком мы тогда находились.

Но где же были все это время кашалоты? По правде говоря, не все ли равно, где они были, коль скоро мы не имели возможности их поймать. До сих пор матросы несли вахту на мачтах, более или менее регулярно сменяя друг друга каждые два часа. Но вот как-то, спустившись, очередная смена поклялась больше никогда не лазить наверх. В ответ на это старший помощник беззаботно заметил, что скоро мы окажемся там, где вовсе не

будет нужды в дозорных, так как киты, которые у него на примете (правда, Жулик Джек утверждал, что они все у него на примете), совершенно ручные и имеют обыкновение вертеться вокруг судов, почесывая о них свои спины.

Так шла наша жизнь в море на протяжении четырех с лишним недель после того, как мы покинули Ханнаману.

Глава XIII

МЫ МЕНЯЕМ КУРС

Вскоре после смерти двух матросов до нас дошли сведения, что здоровье капитана Гая быстро ухудшается, а еще через несколько дней — что он умирает. Доктор, прежде ни в коем случае не соглашавшийся войти к нему в каюту, теперь смягчился и нанес своему заклятому врагу профессиональный визит.

Он прописал теплую ванну. Ее приготовили следующим образом. Убрав светлый люк, в каюту спустили бочку, а затем ведрами натаскали воду из камбузных котлов. Мучительно было слышать крики больного, когда его посадили в эту примитивную ванну. Наконец, его полумертвого положили на сундук.

В этот вечер старший помощник был совершенно трезв и, подойдя к шпилью, у которого мы болтались без дела, предложил доктору, мне и еще нескольким своим любимцам пройти на корму; там в присутствии маори Бембо он обратился к нам с такими словами:

— Я хочу вам кое-что сказать, ребята. Кроме вот Бембо, никакого начальства у нас нет, а потому я выбрал вас как лучших, чтобы посоветоваться, видите ли, насчет судна. Капитан скоро окочурится; я не удивлюсь, если он к утру испустит дух. Что же нам делать? Если придется его зашить, кое-кому из пиратов там, на носу, может взбрести в голову удрать вместе с судном, потому как у румпеля никого нет. И вот, стало быть, я придумал, как лучше всего нам поступить; но, чтобы я это сделал, хорошие ребята должны меня поддержать и здесь, и дома, если бог даст нам вернуться.

Мы все спросили, в чем состоит его план.

— Сейчас скажу вам, ребята. Если командир помрет, вы все соглашаетесь подчиняться мне, и меньше чем через три недели у нас с ручательством под палубой будет пятьсот бочек китового жира; хватит, чтобы у каждого из вас забренчала пригоршня долларов, когда мы попадем в Сидней. А если вы не согласитесь, не получите ни гроша. ^[28]

Доктор Долговязый Дух немедленно вмешался. Он сказал, что об этом нечего и мечтать; если капитан умрет, старший помощник обязан доставить судно в ближайший цивилизованный порт и передать его в руки английского консула. Там, по всей вероятности, команду сначала высадят

на берег, а затем отправят домой. План старшего помощника противоречит всем законам. Приняв безразличный вид, доктор добавил:

— Впрочем, если ребята скажут, пусть будет так, то и я скажу, пусть будет так; но в таком случае чем скорей мы попадем к вашим островам, тем лучше.

Доктор продолжал еще говорить, и по тому, как остальные на него смотрели, было ясно, что наша судьба находится в его руках. В конце концов порешили на следующем: если через сутки капитану Гаю не станет лучше, «Джулия» возьмет курс на Таити.

Это сообщение произвело большую сенсацию: больные оживились, а остальные принялись строить предположения о том, что ожидает нас дальше. Доктор же, не упоминая о Гае, поздравлял меня с возможностью вскоре очутиться в таком прекрасном месте, как остров, о котором шла речь.

На следующую ночь я вышел на палубу во время «собачьей вахты» и увидел, что реи круто обрасоплены на левый галс при сильном юго-восточном пассате, дувшем нам почти что в лоб. Капитану не стало лучше, и мы взяли курс на Таити.

Глава XIV

КАБОЛКА

Пока «Джулия» плавно движется своим путем, я воспользуюсь случаем и расскажу об одном бедняге, плававшем с нами и носившем кличку Каболка.

Это был невзрачный человек, не моряк по профессии. Так как он оказался исключительно робким и неуклюжим, то решили, что не стоит пытаться сделать из него матроса и назначили прислуживать в капитанской каюте. Парня, раньше исполнявшего должность юнги, хорошего матроса, отправили вместо него в кубрик. Но несчастный Каболка проявил себя среди посуды столь же неловким, как и среди снастей; однажды во время сильной килевой качки он с полной деревянной суповой миской в руках споткнулся на пороге каюты и так ошпарил офицеров, что они целую неделю не могли прийти в себя. После этого он был разжалован и снова очутился в кубрике.

Никого так не презирают на судне, как малодушных, ленивых, ни на что не годных сухопутных растяп; моряк относится к ним совершенно безжалостно. Однако, хотя толку от них почти никакого нет, экипаж судна никогда не позволит им извлекать выгоды из своих недостатков. Такого человека рассматривают просто как механическую силу, и если только возникает необходимость выполнить какую-нибудь простую тяжелую работу, приставляют его к ней просто как рычаг, и каждый нажимает на него.

На человека вроде Каболки ложатся также все самые грязные работы. Если нужно что-либо смолить, его заставляют чуть не с головой влезть в бочку со смолой и взяться за это дело. Больше того, он как бы предназначен, чтобы его гоняли как собаку по всяким поручениям. Если старший помощник посылает его за квадрантом, то по дороге его непременно встретит капитан, который прикажет ему немедленно надрать конопати; а когда он повсюду ищет понадобившийся для этого конец, появляется досужий матрос, осведомляется, какого черта он тут делает, и предлагает убраться в кубрик.

«Подчиняйся последнему приказу» — таково нерушимое правило на море. И вот незадачливый растяпа, не решаясь отказать ни от какой работы, мечется как угорелый и ничего не делает; в конце концов на него со

всех сторон сыплется град тумачков.

Вдобавок ко всем испытаниям ему почти никогда не разрешается раскрывать рот, пока с ним не заговорят, да и в этом случае ему лучше молчать. Беда, если он обладает склонностью к юмору! Отпустив в злосчастную для себя минуту какую-нибудь шутку, он никогда не знает, к чему она может повести.

Однако остроты других на его счет он должен принимать с величайшим добродушием.

Горе ему, если во время обеда он позволит себе бросить взгляд на бачок с мясом раньше, чем возьмут остальные.

Кроме того, он обязан принимать на себя вину за все проделки, истинный виновник которых не пожелает признаться, и отдувается в море за всякого трусливого негодяя, который на берегу представляет собой полное ничтожество. Одним словом, его злоключениям нет конца.

Он вскоре падает духом, чувствует себя униженным и несчастным и первым следствием этого, естественно, бывает крайняя неряшливость.

Возможно, матросам следовало бы проявлять больше снисходительности; но так как они жестоки, они не делают этого. Лишь только несчастного заподозрят в нечистоплотности, на него набрасываются, как набрасывалась в средние века озверелая толпа на еврея; его тащат к подветренным шпигатам и раздевают догола. Тщетно он взывает о пощаде, тщетно умоляет капитана о заступничестве.

Беда, повторяю, растяпе в море! Он последний бедняга во всем флоте. Именно таким был Каболка — из всех сухопутных растяп самый растяпистый и самый несчастный. С виду он был забитый тщедушный человек с угрюмой физиономией, один из тех, о ком с первого взгляда можно сказать, что он прошел много тяжелых испытаний в горниле бедствий. Его возраст оставался полной загадкой; на болезненном лице с острыми чертами не было старческих морщин, но в то же время кожа не отличалась гладкостью юности. Убей меня бог, если я мог определить, сколько ему лет: двадцать пять или пятьдесят.

Но обратимся к его прошлому. В лучшие времена Каболка работал пекарем в Лондоне, где-то близ станции Холборн; по воскресеньям он надевал синее пальто с металлическими пуговицами и проводил послеобеденные часы в таверне, покуривая трубку и попивая эль, как подобает всякому беззаботному пекарю вроде него. Но это продолжалось недолго; вмешался какой-то старый дурак и погубил его. Каболку убедили, что Лондон подходящее, пожалуй, место для пожилых джентльменов и больных, но для предприимчивого юноши Австралия — обетованная

земля. В один злосчастный день Каболка привел в порядок свои дела и сел на корабль.

Приехав в Сидней с небольшим капиталом, он некоторое время жил спокойно и уютно, усердно меся тесто, а затем нашел себе жену; с ее точки зрения, он мог теперь уйти на покой и поселиться за городом, так как она вполне успешно заправляла всеми делами. Коротко говоря, супруга причиняла горе его сердцу и ущерб карману; в конце концов она сбежала с его кассой и с его мастером. Каболка отправился в таверну под вывеской «Чубук и Пивная Кружка», напился и за пятой кружкой стал подумывать о самоубийстве; свое намерение он привел в исполнение, на следующий день нанявшись на «Джулию» — судно, направлявшееся в Южные моря.

Бывшему пекарю пришлось бы не так плохо, не будь у него столь мягкого чувствительного сердца. От ласкового слова он таял; отсюда и проистекала бóльшая часть его бед. Несколько шутников, знавшие о его слабостях, имели обыкновение «встраивать» его в разговор в присутствии самых желчных и раздражительных старых моряков.

Приведу пример. Подвахтенные только что проснулись, и все завтракают; где-то в углу и Каболка меланхолично вкушает свою долю. Следует иметь в виду, что матросы сразу после сна отнюдь не ангелы, поэтому все молчат и, угрюмые и небритые, жуют сухари. И вот в такой момент ласковый на вид мерзавец — Жулик Джек — пересекает кубрик с жестяной кружкой в руках и подсаживается к растяпе.

— Невкусная пища здесь, Каболка, — начинает он. — Довольно-таки невкусная для тех, кто знал хорошие денечки и жил в Лондоне. Послушай, Каболка, ежели ты сейчас оказался бы в Холборне, что у тебя было бы на завтрак, а?

— На завтрак! — упоенно восклицает Каболка. — И не говори!

— Чего этот парень взволновался? — рычит тут старый морской волк, обращаясь со свирепым видом.

— Ничего, это мы так, — произносит Джек; затем, нагнувшись к Каболке, просит его продолжать, но потише.

— Ну, так вот, — самодовольно принимается рассказывать тот с разгоревшимися, как два фонаря, глазами, — ну, так вот, я пошел бы к матушке Молли, которая печет замечательные сдобные лепешки; я знаешь ли, вошел бы, устроился бы у камина и для начала попросил бы четверть пинты чего-нибудь.

— А потом, Каболка?

— Ну, а потом, Джеки, — продолжает несчастная жертва, невольно воодушевляясь от этого разговора, — ну, а потом... я придвинулся бы к

столику и подозвал Бетти, девушку, что обслуживает посетителей. Бетти, дорогая, сказал бы я, ты сегодня очаровательна; дай мне, Бетти, милая, яичницу с копченой грудинкой, а еще пинту эля и три горяченькие сдобные лепешки, и масла... и ломтик чеширского сыра; а еще, Бетти, принеси...

— Бифштекс из акулы, чтобы черт тебя побрал! — рычит Черный Дан. И злополучного парня волокут через сундуки и дубасят на палубе.

Я всегда старался по возможности помочь бедному Каболке, и поэтому он очень любил меня.

Глава XV

СТРУЖКА И ЗАТЫЧКА

После того как «Джулия» взяла курс на ближайший порт, Стружка и Затычка еще больше пристрастились к бутылке; к невыразимой зависти остальных, подвыпившие приятели — или «компаньоны», как их называли матросы, — изо дня в день шатались по палубе в самом веселом настроении.

Но, хотя они большей частью находились в подпитии, трудно было найти более осмотрительных пьяниц. Никто никогда не видел, чтобы они прикладывались к спиртному, кроме тех случаев, когда юнга раздавал положенную порцию. И стоило задать им вопрос, каким образом они ухитряются разживаться добавкой, они сразу трезвели и становились рассудительными. Однако некоторое время спустя их тайна обнаружилась.

Бочки писко стояли в ахтерлюке, который поэтому запирался на засов с висячим замком. Тем не менее купор время от времени совершал воровские налеты: он спускался в передний трюм, а затем, рискуя быть раздавленным насмерть, проползал среди тысячи препятствий туда, где хранились бочки.

В первую его экспедицию единственная бочка, до которой удалось добраться, лежала на боку среди других, повернутая втулкой кверху. Обломком железного обруча, соответствующим образом изогнутого, хорошенько потыкав и поколотив, купор пропихнул затычку внутрь; затем, привязав к обручу свой шейный платок, он несколько раз опускал его в бочку и впитавшуюся жидкость осторожно выжимал в ведро.

Затычка был человеком, как бы созданным на радость владельцам питейных заведений. Постоянно прикладываясь, пока не становился в меру пьяным, он умудрялся пить затем до бесконечности, не трезвея и сильнее не пьянея, а оставаясь, если употребить его собственное выражение, «в самый раз». Когда он находился в этом любопытном состоянии, его походка приобретала изрядный крен, кушак то и дело нуждался в поддегивании, а взгляд при разговоре с вами отличался излишней твердостью; в общем же его настроение не оставляло желать лучшего. Больше того, в такие периоды он становился исключительным патриотом и проявлял свой патриотизм самым забавным образом почти всякий раз, как ему случалось повстречаться с Данком, добродушным матросом-датчанином с квадратной

физиономией.

Следует упомянуть, что купор с истинно матросским восхищением относился к лорду Нельсону. Впрочем, он имел весьма ошибочное представление о внешности знаменитого героя. Не довольствуясь отсутствием у Нельсона глаза и руки, он упрямо утверждал, будто в одном из сражений тот потерял также ногу. Под влиянием такого убеждения он иногда подскакивал на одной ноге к Данку, забавно подогнув другую и, придерживая ее сзади правой рукой, одновременно закрывал один глаз.

Приняв такой вид, Затычка требовал, чтобы датчанин взглянул на него и полюбовался человеком, который всыпал как следует его землякам под Копенгагеном.^[29]

— Посмотри-ка, Данк, — говаривал он, с трудом сохраняя равновесие и усиленно моргая одним глазом, чтобы другой не раскрывался, — посмотри: один человек, да что там, полчеловека, будь я проклят... с одной ногой, одной рукой, одним глазом... всего лишь обрубок туловища, будь я проклят, поколотил всю вашу жалкую нацию. Разве не так, растяпа?

Датчанин был упрямым как мул и, плохо понимая по-английски, редко достаивал ответом; и обычно купор отпускал ногу и уходил с видом человека, считающего ниже своего достоинства продолжать разговор.

Глава XVI

МЫ ПОПАДАЕМ В ШТОРМ

По мере того как мы все дальше уходили на юг и приближались к Таити, мягкая безоблачная погода, сопутствовавшая нам с тех пор, как мы покинули Маркизские острова, стала постепенно меняться. В этих обычно спокойных водах ветер иногда дует с бешеной силой, хотя, как знает каждый моряк, даже жестокий шторм в тропических широтах Тихого океана совершенно не похож на бурю в воющей Северной Атлантике. Вскоре мы уже боролись с волнами, а пассат, еще недавно совсем слабый, дул теперь, свирепый и горячий, точно разгневанная женщина, прямо нам в лоб.

Несмотря на это, старший помощник не распорядился убрать ни одного паруса; отважная «Джувьеточка» держалась прекрасно, и, хотя время от времени зарывалась носом между волнами, сразу же взлетала на гребень и показывала класс. Ее ветхий корпус стонал, рангоут изгибался, потертые снасти натягивались. Но вопреки всему, наше судно несло вперед, как скаковая лошадь. Джермин, настоящий морской жокей, стоял бывало на фор-русленях, то и дело обдаваемый брызгами, и орал:

— Молодец, «Джувьетта»... ныряй, милая! Ура!

Как-то днем наверху послышался оглушительный треск, заставивший матросов разбежаться во все стороны. То была грот-брам-стенга. Трах! Она сломалась над самым эзельгофтом и удерживалась такелажем, при каждом крене судна стремительно раскачиваясь из стороны в сторону со всей путаницей снастей. Рей висел на волоске и каждый раз, как судно опускалось или взлетало, глухо ударялся о краспицы, а изорванный в клочья парус струился лентами по ветру и незакрепленные тросы извивались, щелкая в воздухе, подобно бичам.

— Полундра! — и с грохотом выстрелов блоки полетели вниз. Рей, просвистев, шлепнулся в море, исчез под водой и снова целиком вынырнул. Затем на него обрушился гребень большой волны — «Джулия» пронеслась мимо, и больше мы его не видели.

Пока дул этот свежий ветерок, Балтимора, наш старый черный кок, был в полном отчаянии.

Как принято на большинстве судов, плавающих в Южных морях, камбуз «Джулии» помещался по левому борту на баке. Шедший при

сильном волнении под всеми парусами, зарывавшийся носом барк то и дело захлестывало зелеными, похожими на стекло, волнами, которые, перекатываясь через поручни бака, основательно заливали переднюю часть палубы и растекались по направлению к корме. Камбуз, считавшийся прочно принайтвовленным к своему месту, служил чем-то вроде волнолома, который предохранял от затопления.

В такие дни Балтимора всегда надевал свой «штормовой костюм», как он его называл; среди прочего в него входили зюйдвестка и огромные, хорошо смазанные сапоги, доходившие ему почти до колен.

Экипировавшись так, чтобы не промокнуть ни на судне, ни в море, — если придется тонуть, — наш верховный жрец кулинарии возвращался в храм и продолжал втайне заниматься своей черной магией.

Старик так боялся, чтобы его не смыло за борт, что привязывал к поясу тонкий трос и, обмотав его вокруг себя, пользовался им соответственно обстоятельствам. Когда ему приходилось что-нибудь делать вне камбуза, он разматывал трос и закреплял второй конец за рым; таким образом, если бы случайная волна сбила его с ног, больше никакого вреда она ему не причинила бы.

Однажды вечером, как раз когда кок готовил ужин, «Джулия» внезапно поднялась на дыбы, словно норовистый жеребенок, а лишь только она выровнялась и снова двинулась вперед, ее накрыла чудовищная волна. Поток воды смел все преграды на своем пути. Подгнивший фальшборт на носу с треском проломился; волна ударила в камбуз, сорвала его с места, покрутила и понесла к шпилью, где он и сел на мель.

Вода рекой разлилась по палубе, увлекая за собой горшки, сковороды и котлы, а заодно и старого Балтимору, который время от времени выпрыгивал из воды, как дельфин.

Ударившись в гакаборт, волна спала и, перекатываясь с одного борта на другой, выбросила на ахтерлюк тонувшего повара, который все еще держал в зубах чуть не перекушенную пополам погасшую трубку.

Те, кто был на палубе, со свойственной матросам сноровкой успели взобраться на грот-мачту и лишь во все горло хохотали над бедствиями Балтиморы.

В ту же ночь наш бом-утлегарь сломался, как черенок трубки, а бизань-гафель рухнул.

На следующее утро ветер значительно стих, а с ним и море; к полудню мы исправили как могли все повреждения и снова спокойно шли своим курсом.

Впрочем, сломанный фальшборт починить не удалось, так как нам

нечем было его заменить. Теперь, когда опять поднимался ветер, наше бесстрашное судно двигалось вперед, зачерпывая воду расщепленным носом, но по-прежнему гордо взбираясь на гребни волн.

Глава XVII

КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА

Как далеко зашли мы на запад после того, как покинули Маркизские острова, на какой широте и долготе мы находились в то или иное время, или сколько лиг мы сделали при переходе к Таити — обо всем этом я, к сожалению, не могу осведомить читателя с достаточной точностью. Джермин, наш штурман, ежедневно производил определения, но, как упоминалось раньше, держал их результаты про себя. В полдень он выносил свой квадрант — старую заржавленную штуковину такого фантастического вида, словно она когда-то принадлежала средневековому астрологу.

Иногда, будучи изрядно навеселе, старший помощник расхаживал шатаясь по палубе, приставив инструмент к глазу и поворачиваясь во все стороны в поисках солнца, которое всякий трезвый наблюдатель мог бы заметить прямо над головой. Каким чудом ему удавалось определить широту, выше моего разумения. Долготу он, вероятно, получал либо при помощи тройного правила, либо благодаря откровению свыше. Нельзя сказать, что на хронометр, находившийся в капитанской каюте, не всегда можно было положиться или что он двигался несколько порывисто; напротив, он стоял, как вкопанный, а потому несомненно продолжал показывать истинное гринвичское время (во всяком случае каким оно было в тот момент, когда он остановился) с точностью до секунды.

Впрочем, старший помощник делал вид, будто, не довольствуясь определениями по лагу и компасу, он для установления долготы производит время от времени наблюдения над луной. Насколько мне известно, они состоят в получении при помощи соответствующих инструментов углового расстояния между луной и какой-нибудь звездой. Эта операция требует участия двух человек, производящих наблюдения одновременно.

И вот, хотя старший помощник один как будто вполне мог бы справиться с этим делом, поскольку у него, как правило, двоилось в глазах, обычно призывался на помощь доктор исполнять как бы роль второго квадранта в дополнение к первому — Джермину. Сколько развлечений доставляли нам они оба своими смешными ужимками! Судорожные попытки старшего помощника навести инструмент на звезду, на которую он нацелился, были особенно комичны. Когда же ему это удавалось, как

умудрялся он отличить небесное светило от астральных тел, вращавшихся в его собственном мозгу, лично я с трудом понимаю.

Но так или иначе он вел наше судно все дальше и дальше; прошло немного дней, и матрос, посланный наверх чинить дыру в фор-марселе, подкинул в воздух свою шапку и заорал: «Земля!»

Действительно, впереди была земля; но в какой части Южных морей она лежала, знал один Джермин, а многие сомневались знал ли и он. Но едва разнеслась эта весть, он выбежал на палубу с подозрительной трубой в руке, вскинул ее к глазам и повернулся с видом человека, получившего несомненное доказательство того, в чем он был заранее уверен. Земля перед нами была именно та, на которую он держал курс; если ветер не стихнет, то меньше чем через сутки мы увидим Таити. Его слова оправдались.

Земля оказалась одним из островов, входящих в состав архипелага Паумоту, или Низменного (иногда эти острова называют также Коралловыми), — пожалуй, самого замечательного и интересного во всем Тихом океане. До Таити, расположенного к западу, от ближайших к нему островов сутки пути.

Архипелаг состоит из огромного количества островов, большей частью маленьких, низких и ровных, иногда поросших лесом, но всегда покрытых зеленью. Многие из них имеют форму полумесяца; другие по очертаниям напоминают подкову. Последние представляют лишь узкие кольцеобразные полосы земли, окружающие тихую лагуну, которая соединяется с морем одним-единственным проходом. Некоторые лагуны, имеющие по предположениям подземные каналы, на вид кажутся совершенно замкнутыми; в таких случаях окаймляющий их остров напоминает сплошной изумрудный пояс. Другие лагуны окружены множеством маленьких зеленых островков, расположенных очень близко один от другого.

Происхождение всего архипелага обычно приписывают крошечным существам под названием кораллы.

По мнению части естествоиспытателей, эти изумительные маленькие создания, начиная воздвигать свои сооружения со дна моря, по истечении столетий доводят их до поверхности, на чем свою деятельность и прекращают. Теперь в неровностях коралловых рифов скопляются всякие плавающие в море твердые вещества, которые со временем образуют почву. Занесенные на нее птицами семена прорастают, и островок покрывается растительностью. По всему архипелагу Паумоту тут и там виднеется множество отдельных голых коралловых образований, только что

выступивших над поверхностью океана. Это, по-видимому, будущие острова в процессе возникновения — во всяком случае к такому выводу невольно приходишь, когда на них смотришь.^[30]

Насколько мне известно, на архипелаге Паумоту хлебный деревья встречаются лишь в незначительном количестве. Во многих местах не растут даже кокосовые пальмы, хотя в других они широко распространены. В соответствии с этим некоторые из островов совершенно необитаемы, другие могут прокормить лишь одну семью; ни один из них не имеет многочисленного населения. Во многих отношениях туземцы похожи на таитян; их язык также очень близок к таитянскому. Жители юго-восточной части Паумоту (о которых, впрочем, известно очень мало) пользуются дурной славой людоедов, а потому моряки редко рискуют пользоваться их гостеприимством.

Несколько лет назад миссионеры с островов Товарищества^[31] обосновались на подветренных островах, где туземцы отнеслись к ним дружелюбно. Многие из них формально являются теперь христианами; несомненно, благодаря политическому влиянию пришлых наставников они вскоре признали свою зависимость от Помаре, королевы острова Таити,^[32] с которым всегда поддерживали тесную связь.

Коралловые острова посещают главным образом искатели жемчуга, добирающиеся до них на маленьких шхунах с экипажем всего в пять-шесть человек.

Долгое время этот промысел был сосредоточен в руках Меренхоута, французского консула на Таити, голландца по происхождению; по рассказам, он за один год отправил во Францию жемчужин на сумму в пятьдесят тысяч долларов. Раковины находят в лагунах и около рифов; за полдюжины гвоздей в день и даже за еще меньшую плату нанимают туземцев, и те ныряют за жемчугом.

Кое-где добывают также много кокосового масла. Некоторые из необитаемых островов покрыты густыми рощами кокосовых пальм; никем не собираемые орехи, из года в год падавшие с деревьев, валяются на земле в невообразимых количествах. Два-три человека, снабженные необходимыми приспособлениями, могут за неделю-другую выжать достаточно масла, чтобы полностью загрузить большую мореходную пирогу.

Кокосовое масло в настоящее время производится в различных районах Южных морей и составляет немаловажный предмет торговли с купеческими судами. Значительное количество его ежегодно вывозится с

островов Товарищества в Сидней. Им пользуются для освещения и смазки машин, так как оно дешевле спермацета^[33] и для обеих целей подходит лучше, чем жир настоящего кита. Кокосовое масло наливают в большие бамбуковые стволы длиной от шести до восьми футов; это одна из денежных единиц на Таити.

Но вернемся на «Джулию». Ветер стих и наступил вечер, прежде чем мы успели приблизиться к острову. Однако с полудня мы уже ясно различали его.

Остров был маленький и круглый, с совершенно ровной поверхностью без единого дерева и возвышался над водой всего на каких-нибудь четыре фута. За ним виднелся еще один остров побольше, над которым во всем своем великолепии разгорался тропический закат, окрашивая багрянцем западную часть неба, напоминая огромный, ярко освещенный красочный альков.

Пассат едва наполнял наши обвисшие паруса; в воздухе стоял томный аромат тысяч неведомых цветущих кустов. Вдыхая его, один больной, у которого недавно обнаружили признаки цинги, стал кричать от боли, и его увели с палубы. Такое явление нередко наблюдается в подобных случаях.

Мы медленно двигались на расстоянии меньше одного кабельтова от берега, окаймленного лентой сверкающей пены. Внутри приютилась тихая голубая лагуна. Не видно было ни одного живого существа, и, кто знает, возможно, мы были первыми людьми, посетившими эти места. Мысль эта пробудила мою фантазию, мне мерещились бесконечные гроты и галереи, расположенные глубоко внизу, куда не достигает лот моряка.

А какие необыкновенные существа таились там! Вообразите себе лукавые создания, сирен, что гоняются друг за другом, то выплывая из коралловых келий, то снова исчезая в них, и запутываются своими длинными волосами за коралловые ветви!

Глава XVIII

ТАИТИ

На следующее утро с первыми проблесками зари мы увидели горы Таити. В ясную погоду их можно различить за девяносто миль.

— Хива-Оа! — закричал Ваймонту, вне себя от радости взбега по бушприту, как только в отдалении показались неясные очертания земли. Но когда облака разошлись, открыв нашим взорам три пика, вырисовывавшиеся подобно обелискам на фоне неба, и крутой холмистый берег, тянувшийся вдоль горизонта, слезы хлынули из глаз молодого полинезийца. Бедняга! То был вовсе не Хива-Оа — зеленый Хива-Оа находился на расстоянии многих-многих лиг отсюда.

Таити — самый знаменитый остров в Южных морях; множество разнообразных причин сделало его в своем роде почти классическим образцом. Уже по одному внешнему виду он резко отличается от окружающих архипелагов. Два высоких полуострова круглой формы, с горами вышиной в девять тысяч футов над уровнем океана, соединены низким узким перешейком; весь остров в окружности имеет около ста миль. На большем полуострове от трех центральных пиков — Орехены, Аораи и Пирохити — во все стороны расходятся к морю пологие, покрытые зеленью хребты. Между ними расположены широкие тенистые долины, каждая из которых по красоте не уступает Темпейской,^[34] орошаемые живописными потоками и поросшие густыми лесами.

В отличие от многих других островов на Таити вдоль всего побережья тянется полоса аллювиальной низменности^[35] с богатейшей растительностью. Там главным образом и живут туземцы.

С моря вид острова великолепен. От берега до горных вершин расстилается сплошной зеленый покров самых различных оттенков; долины, горные цепи, ущелья и водопады вносят в ландшафт бесконечное разнообразие. Тут и там крутые вершины отбрасывают тени на хребты и лежащие глубоко внизу долины. На их склонах сверкают в солнечном свете водопады, которые как бы пробираются сквозь зеленые заросли, падая с уступа на уступ. Все дышит таким очарованием, что остров кажется сказочным миром, свежим и цветущим, словно только вчера вышедшим из рук творца.

Вблизи ландшафт также не теряет своей прелести. Не будет

преувеличением, если я скажу, что у европейца, обладающего сколько-нибудь чувствительной душой и впервые бродящего в глубине острова вдали от поселений туземцев, невыразимый покой и красота этих долин создают впечатление, будто он видит их во сне. Временами он почти отказывается верить, что подобные картины могут реально существовать. Нет ничего удивительного, что французы дали этому острову название «Новая Кифера».^[36] «Часто, — рассказывает Бугенвиль,^[37] — мне казалось, что я гуляю в райском саду».

Изумление и восторг путешественников ничуть не уменьшились, когда они познакомились с жителями этой очаровательной страны. Физическая красота и дружелюбный характер таитян полностью гармонировали с мягкостью климата их родины. В самом деле, в них все возбуждало живейший интерес европейцев. Вспомним, например, об их общественном строе или религии. Своему королю они воздавали божеские почести. А что до поэзии, то их мифология могла соперничать с древнегреческой.

О Таити мы имеем более ранние и более полные сведения, чем о любом другом острове Полинезии; вот почему Таити до сих пор так сильно привлекает внимание всех, кто любит книги о путешествиях в Южные моря. Судовые журналы мореплавателей, первыми побывавших на нем, содержали такие романтические описания дотоле неведомой страны и ее жителей, что вызвали огромную сенсацию во всей Европе; а когда туда были привезены первые таитяне — Омаи в Лондон и Аотуру в Париж, — то придворные, ученые и дамы оказали им самый ласковый прием.

В добавление ко всему несколько знаменательных событий, в той или иной степени связанных с Таити, послужили к вящей его славе. Свыше двух столетий назад испанец Кирос^[38] пристал, как предполагают, к этому острову; один за другим Уоллис,^[39] Байрон,^[40] Кук,^[41] Бугенвиль, Ванкувер,^[42] Лаперуз^[43] и другие знаменитые мореплаватели чинили свои корабли в его гаванях. Там в 1769 году было произведено знаменитое наблюдение над прохождением Венеры. Там впоследствии у моряков «Баунти»^[44] зародилась мысль о памятном всем мятеже. Именно к язычникам Таити были посланы первые организованные протестантские миссии; и с его берегов отправлялись затем миссионеры на соседние острова.

Совокупность всех этих обстоятельств наряду с другими, о которых мы не упоминаем, не давала заглухнуть тому интересу, какой с самого начала возбудил среди европейцев Таити; и недавние действия французов сильнее чем когда-либо привлекли к его жителям сочувствие широких

кругов общества.

Глава XIX

НЕОЖИДАННОСТЬ. ЕЩЕ О БЕМБО

Остров так и манил нас к себе. Заходить в гавань после плавания всегда приятно, и матросы склонны предвкушать всякого рода удовольствия. А для нас, в нашем положении, эта стоянка по многим причинам представляла особую ценность.

Как только «Джулия» взяла курс на землю, мы принялись усердно обсуждать виды на будущее. Многие считали, что если капитан покинет судно, команда не будет больше связана договорами. Таково было мнение наших кубриковых Коков,^[45] хотя морские суды, вероятно, с ними не согласились бы. Во всяком случае и судно и экипаж находились в таком состоянии, что все уверенно предсказывали продолжительную стоянку и много веселых дней на Таити, как бы обстоятельства ни сложились.

Все были в прекрасном настроении. Больные день ото дня чувствовали себя лучше, с тех пор как «Джулия» изменила курс, толпились на палубе и, опираясь на фальшборт, любовались, одни не в силах сдержать восторга, другие молча, непревзойденным по своей величественной красоте зрелищем — видом Таити с моря.

Шканцы, однако, являли резкий контраст с тем, что происходило на другом конце судна. Маори, хмурый и молчаливый, как всегда, находился там; Джермин, погрузившись в глубокое раздумье, прохаживался взад и вперед, то и дело бросая взгляд в подветренную сторону, или же мчался в каюту и быстро возвращался на палубу.

Подняв все верхние паруса, чтобы полностью использовать ветер, мы продолжали идти вперед, и, наконец, в подзорную трубу доктора можно было уже различить деревню Папеэте, столицу Таити. В гавани мы увидели несколько судов и среди них темный силуэт большого корабля — судя по двойному ряду оскаленных зубов, фрегата. То была «Королева Бланш», которая недавно пришла с Маркизских островов и несла на фор-брам-стенге флаг контр-адмирала дю Пти-Туара.^[46] Едва успели мы разглядеть фрегат, как над водой разнесся залп его пушек. Он производил салют, как впоследствии выяснилось, в честь заключенного этим утром договора, или, скорее, — с точки зрения туземцев — насильственного присоединения Таити к Франции.

Лишь только канонада смолкла, послышался голос Джермина, давшего

столь неожиданную команду, что все вздрогнули:

— Приготовиться к повороту грота-рея!

— Что это значит? — закричали матросы. — Разве мы не войдем в порт?

— Выполнять команду и не разговаривать! — заорал старший помощник; и через несколько мгновений грот-рей был обрасоплен, и с обращенным в сторону открытого моря утлегарем «Джулия» спокойно, как утка, покачивалась на волнах. Озадаченные, мы ждали, что будет дальше.

Вскоре появился юнга, тащивший матрац, он расстелил его на корме капитанской шлюпки и туда же приволок несколько сундуков и другие вещи, принадлежавшие его хозяину.

Все стало понятно. Матросам достаточно легкого намека.

Продолжая упорствовать в своем решении, несмотря ни на что, держать судно в открытом море, капитан несомненно намеревался высадиться на берег, с тем чтобы «Джулия» под командой старшего помощника сразу же пустилась в дальнейшее плавание, но по истечении условленного срока вернулась за ним к острову. Все это, конечно, можно было проделать, не подходя на «Джулии» ближе к берегу. Заболевшие капитаны китобойных судов нередко прибегают к такому способу действий; но в данном случае он был ничем не оправдан и противоречил при сложившихся обстоятельствах общепринятым принципам благоразумия и человечности. И хотя в этом решении Гай проявил больше смелости, чем можно было от него ожидать, оно одновременно свидетельствовало об исключительной наивности: как мог он предполагать, что его команда потерпит подобное нарушение своих прав!

Вскоре выяснилась справедливость наших подозрений, и матросы пришли в ярость. Купор и плотник вызвались возглавить бунт; и, пока Джермин был внизу, четыре-пять человек бросились на корму задраить ведущий в каюту люк, другие, отдав брасы грота-рея, звали остальных на помощь, чтобы повернуть к берегу. Все это свершилось в несколько секунд. Положение становилось критическим, когда доктор Долговязый Дух и я принялись уговаривать матросов немного обождать и ничего не предпринимать наспех. Времени было предостаточно, и судно находилось полностью в нашей власти.

Пока в капитанской каюте шли приготовления, мы собрали матросов на баке и стали совещаться.

С большим трудом нам удалось заставить эти горячие головы спокойно обсудить создавшееся положение. Все же влияние доктора в конце концов дало себя знать; когда он заверил, что если дело предоставят

ему, «Джулия» в ближайшее время станет на якорь и ни у кого не будет никаких неприятностей, вся команда, за немногими исключениями, согласилась подчиниться его руководству. Однако матросы открыто заявили нам о своем намерении, если мирные способы не приведут к цели, захватить судно и ввести его в гавань Папеэте, хотя бы их всех за это повесили. Но пока что пусть капитан поступает по-своему.

К этому времени все сборы были закончены. Шлюпку спустили и подвели к трапу; старший помощник и юнга помогли капитану подняться на палубу. Мы не видели его две недели, и за это время он сильно изменился. Словно стремясь избегнуть наших взглядов, он надвинул на лоб широкополую перуанскую шляпу, так что его лицо было видно только тогда, когда ветер отгибал поля. При помощи стропа, свисавшего с гротаря, кок и Бембо спустили капитана в шлюпку. Перелезая со стонами через борт, он, наверно, слышал произнесенные шепотом проклятия команды.

Пока юнга наводил в шлюпке порядок, старший помощник, потихоньку посоветовавшись с маори, обернулся и сказал нам, что едет на берег с капитаном, но постарается скоро вернуться. В его отсутствие командование примет на себя Бембо, как следующий по рангу, ибо делать ничего не надо, лишь удерживать судно на безопасном расстоянии от земли. Затем он спрыгнул в шлюпку, где на веслах сидели только кок и юнга, и, усевшись за руль, стал править к берегу.

То, что Гай вопреки совету старшего помощника оставил судно в руках матросов, являлось еще одним доказательством его наивности, так как, не будь на борту доктора и меня, кто знает, до чего они могли бы дойти при создавшемся положении.

Итак, Бембо временно стал капитаном. Поскольку речь шла об искусстве мореплавания как таковом, он подходил для роли командира не меньше кого-либо другого. Во всяком случае матросской руганью он овладел в совершенстве. К слову сказать, этим достижением вместе с поразительной осведомленностью по части множества морских терминов и выражений исчерпывались почти все его познания в английском языке.

По морским обычаям, не терпящим исключения, этот не приобщившийся еще к цивилизации человек, будучи гарпунщиком, а потому имевший доступ в каюту, считался рангом выше, чем матросы; никто не возражал против того, что он был оставлен за старшего на судне, и ни в ком это не вызвало удивления.

Но надо сообщить дополнительные сведения о Бембо. Во-первых, его очень недолго любили. Все, кроме старшего помощника, не слишком доверяли этому темнокожему угрюмому парню и даже побаивались его.

Нерасположение было взаимным. Гарпунщик редко появлялся среди команды, если того не требовали его обязанности. К тому же, о нем ходили страшные слухи, в частности о якобы присущей ему наследственной склонности убивать людей и съедать их. Действительно, он происходил из племени людоедов, но это было все, что мы знали доподлинно.

Внешность маори ни в коей мере не ослабляла неприятного впечатления, возникавшего в связи с рассказами о нем. В отличие от большинства своих соплеменников он был скорее ниже среднего роста, но зато крепко сбит, и под его смуглой татуированной кожей мышцы работали подобно стальным рычагам. Жесткие, черные как смоль волосы нависали кольцами над мохнатыми бровями и почти скрывали маленькие, напряженно смотревшие глазки, всегда сверкавшие злобой. Коротко говоря, он вовсе не походил на тех изнеженных детей природы, о которых так любят писать в романах.

До этого он совершил уже несколько плаваний на сиднейских китобойцах; но всякий раз (как и теперь) он нанимался на судно в Бей-оф-Айлендс^[47] и во время обратного перехода там же получал расчет. Его земляки часто так поступают.

Среди нас был матрос, ходивший на промысел вместе с маори, когда тот совершал свое первое плавание. Он сказал мне, что Бембо с той поры ни на йоту не изменился.

Этот парень рассказал мне несколько любопытных историй. Ниже я привожу одну из них (за что купил, за то и продаю). Могу только добавить, что поскольку я знаю Бембо и граничащие с безрассудством отважные подвиги, иногда совершаемые во время ловли кашалотов, то верю, что она в основном правдива.

Как легко можно себе представить, во время погони за добычей Бембо приходил в полное исступление. Надо заметить, что это свойственно всем новозеландцам, занимающимся китобойным промыслом. Из всех английских выражений, усвоенных ими в море, они лучше всего восприняли лозунг матросов китобойного судна, спускающих вельбот для погони за добычей: «Или мертвый кит, или разбитая шлюпка!» Из этих ребят, страстных охотников, обычно подбирают гарпунщиков — роль, в которой нервный, робкий человек чувствовал бы себя не на месте.

Когда гарпунщик мечет свое орудие, он всегда стоит на носу шлюпки, упершись коленом в брештук. Но Бембо пренебрегал такой предосторожностью и, готовясь поразить добычу, всегда стоял балансируя прямо на планшире.

Так вот, возвращаюсь к прерванному рассказу. Как-то утром на

рассвете шлюпка с Бембо приблизилась к большому, плававшему в одиночестве киту. Бембо метнул гарпун, но промахнулся, и животное нырнуло. Через некоторое время чудовище снова появилось на поверхности на расстоянии примерно мили, и шлюпка пустилась за ним. Но кит уже был пуганый; настал полдень, а преследование все продолжалось. На промысле погоню за китом не прекращают ни при каких обстоятельствах, что бы ни пришлось претерпеть команде вельбота, покуда кит окончательно не скроется из виду, разве только наступит ночь, а в наше время, когда добывать китов стало так трудно, преследование часто ведут и в темноте. Наконец, Бембо вторично оказался подле кита и метнул оба гарпуна. Однако, как иногда бывает с самыми опытными охотниками, он по какой-то странной случайности снова промахнулся. Хотя все хорошо знают, что неудача со всяким может приключиться, тем не менее она вызывает у команды шлюпки чувство горчайшей досады, которая обычно проявляется в громкой и крепкой ругани. Удивляться не приходится. Заставьте любого грести изо всех сил много часов подряд под палящим солнцем, и если он не станет несколько сварливым, то он не моряк.

Насмешки матросов, вероятно, привели маори в бешенство; как бы то ни было, едва шлюпка опять сблизилась с китом, он с гарпуном в руке прыгнул зверю на спину, и какой-то головокружительный миг его видели там. В следующее мгновение вода вокруг вспенилась и яростно забурлила, и оба скрылись из глаз. Матросы отгребли в сторону, травя линь со всей быстротой, на какую только были способны. Впереди не было видно ничего, кроме красного от крови водоворота.

Но вот из глубины вынырнуло что-то темное; линь стал натягиваться, затем шлюпка с быстротой молнии понеслась по волнам. Кит был «взят на линь» и теперь со страшной скоростью тащил за собой лодку.

Где же находился маори? Смуглая рука появилась на планшире, и гарпунщика втащили в шлюпку в тот самый момент, когда вода под ее носом закипела.

Вот что за человек или, если угодно, дьявол был Бембо.

Глава XX

«РАУНД-РОБИН». [48] ПОСЕТИТЕЛИ С БЕРЕГА

После того как капитан отбыл, береговой бриз стих, и, как обычно бывает у здешних островов, к полудню наступил мертвый штиль. Делать было нечего; следовало лишь поставить нижние прямые паруса, спустить кливер и стоять, покачиваясь на зыби. Покой стихии передался, казалось, и людям, и некоторое время на судне царила тишина.

Днем старший помощник, оставив капитана в Папеете, вернулся на «Джулию». По словам юнги, сразу после обеда шлюпка должна была снова отправиться на берег с остальными пожитками Гая.

Поднявшись на палубу, Джермин намеренно избегал нас и ушел вниз, не проронив ни звука. Тем временем Долговязый Дух и я изо всех сил старались наставить команду на правильный путь; мы внушали им, что немного терпения и хитрости приведут в конце концов к тому же, чего они могли бы достичь силой, с той, однако, разницей, что события не примут серьезного оборота.

Лично я все время помнил, что нахожусь на иностранном судне, что английский консул рядом и что матросам не приходится рассчитывать на справедливость. Лучше было сохранять благоразумие. И все же я так сочувствовал команде — во всяком случае поскольку речь шла о реальных причинах ее недовольства — и настолько был убежден в жестокости и несправедливости намеченного, по всей видимости, капитаном Гаем плана действий, что в случае необходимости не задумываясь также прибег бы к насилию.

Несмотря на все наши старания, некоторыми матросами снова овладел дух непокорности, и они думали только об открытом мятеже. Когда мы спустились в кубрик обедать, эти ребята подняли оглушительный шум, от которого дрожал ветхий корпус. Много пламенных речей было произнесено, и оглушительны были возгласы одобрения, которые выпускали матросы в поддержку ораторов. В числе других и Длинный Джим, или, как впоследствии прозвал его доктор, Спартанец Джим, тоже встал и обратился к кубриковому парламенту в таком духе:

— Слушайте, британцы! Если после всего, что случилось, это вот

судно уйдет в море с нами, тогда мы не мужчины, так прямо и надо сказать. Вымолвите словечко, друзья, и я введу «Джулию» в гавань. Я уже бывал на Таити и могу это сделать.

И он уселся на место под стук крышек сундуков и грохот жестяных мисок, раздавшиеся со всех сторон. Несколько больных, до тех пор не поддерживавших остальную команду, теперь также принялись выражать свое одобрение, со скрипом ворочаясь на своих досках или раскачивая подвесные койки. Слышались крики: «За аншпуги — и пошла потеха!», «Убрать лисели!», «Ура!»

Кое-кто побежал на палубу, и одно мгновение казалось, что все кончено; однако через некоторое время доктору и мне удалось восстановить относительное спокойствие.

Под конец, для того чтобы отвлечь мысли матросов, я предложил составить «раунд-робин» и послать его с коком Балтиморой на берег консулу. Эта идея встретила горячее одобрение, и меня попросили сразу же приступить к делу. Я обратился к доктору за письменными принадлежностями, но тот сказал, что у него ничего нет; не сохранилось даже ни одного форзаца ни в одной из его книг. Наконец, после долгих поисков извлекли отсыревший, покрытый плесенью том под заглавием «История самых жестоких и кровавых пиратских походов», вырвали из него две оставшиеся чистые страницы и, чуть смазав смолой, склеили их в один длинный лист. Один парень с литературными наклонностями изготовил затем чернила, собрав копоть над фонарем и смешав ее с водой. Из распростертого крыла альбатроса, которое издавна украшало бак, прибитое к битенгам бушприта, вырвали большое перо.

Пристроившись перед крышкой сундука и вооружившись раздобытыми таким образом канцелярскими принадлежностями, я вкратце изложил все наши жалобы и в заключение выразил горячую надежду, что консул немедленно посетит нас и сам ознакомится с положением дел. Сразу под текстом я начертил круг, по которому все должны были поставить подписи. Основное достоинство «раунд-робина» в том именно и состоит, что по расположенным кольцом подписям нельзя определить зачинщика.

Мало кто из команды имел настоящую фамилию. Многие отзывались на какую-нибудь привычную кличку, так или иначе характеризовавшую их личность; еще чаще матросов называли по тому месту, откуда они были родом, а иногда каким-нибудь удобным односложным или двухсложным словом, не имевшим никакого значения и служившим лишь прозвищем данного лица. Несколько человек для соблюдения формальностей нанялись на «Джулию» под вымышленными фамилиями, которые, впрочем, они

сами вряд ли помнили. Поэтому чтобы придать нашему документу характер подлинности, мы решили, что каждый подпишется тем именем, под каким он был известен среди команды. Следует добавить, что эмблему внутри круга придумал доктор.

Сложенный и запечатанный каплей смолы «раунд-робин» был адресован «Английскому консулу, Таити» и передан коку, который вручил его означенному джентльмену, как только старший помощник отправился на берег.

Вскоре после наступления темноты шлюпка вернулась, и мы многое узнали от старого Балтимора; на берегу он получил разрешение гулять сколько ему вздумается и провел время, собирая всевозможные сведения.

Действия французов вызвали на Таити смятение. Причард, миссионер-консул, находился в отъезде в Англии, и его временно замещал некий Уилсон, образованный белый, родившийся на острове, сын старого миссионера Уилсона, который был еще жив.

Уилсон-младший пользовался исключительной нелюбовью как у туземцев, так и у приезжих, считавших его беспринципным непутевым человеком, что подтвердилось его дальнейшим поведением. Когда Причард назначил такого субъекта своим заместителем по службе, это вызвало на острове всеобщее недовольство.

Временный консул никогда не бывал ни в Европе, ни в Америке, но совершил несколько плаваний в Сидней на принадлежавшей миссии шхуне; поэтому нас не очень удивило, когда Балтимора сообщил, что Уилсон и капитан Гай оказались старыми знакомыми и встретились как нельзя более дружески и что последний поселился в доме своего приятеля. Это не сулило нам ничего хорошего.

Старшего помощника забросали вопросами о том, как теперь поступят с нами. В ответ он только сказал, что утром консул приедет на «Джулию» и все уладит.

Мы провели ночь у входа в гавань, а утром увидели отошедшую от берега шлюпку с туземными гребцами. В ней находились Уилсон и еще один белый, оказавшийся неким доктором Джонсоном, английским врачом, который обосновался на жительство в Папеете.

Остановив при их приближении судно, Джермин подошел к трапу, чтобы встретить посетителей. Не успел консул ступить на палубу, как сразу же показал себя.

— Мистер Джермин, — высокомерно крикнул он, не соблаговолив заметить почтительное приветствие того, к кому обращался. — Мистер Джермин, примите командование и держите курс в открытое море.

При этих словах матросы устремили на него пристальные взгляды, стараясь по виду понять, что это за «птица». Изучение показало, что «птица» была чрезвычайно маленькая, со злобно вздернутым носиком и явно тощими ножками. Больше ничего примечательного в ней не оказалось. Джермин с плохо разыгрываемой угодливостью немедленно подчинился приказанию, и нос судна вскоре повернулся в сторону моря.

Как и любовь, презрение часто возникает с первого взгляда; именно так произошло с Уилсоном. Глядя на него, нельзя было не испытать сильнейшей неприязни и искреннего желания проявить это чувство при первом удобном случае. У консула был нестерпимо высокомерный вид, и нам стоило огромных усилий удержаться от того, чтобы не подбежать к нему и не нанести оскорбления.

— Вот и консулишка явился, — воскликнул Адмиралтейский Боб, который, подобно всем остальным, неизменно так величал его, доставляя немалое развлечение нам с доктором.

— Ну, да, — произнес другой, — и, помяните мое слово, не к добру это.

Таковы были некоторые замечания, что раздавались на палубе, пока Уилсон и старший помощник спускались в каюту, беседуя между собой.

Но никто не клял так яростно судно и все к нему относящееся, как купор. Ругаясь последними словами и призывая грот-мачту в свидетели, он молил небо в том случае, если он, Затычка, когда-нибудь, находясь на «Джулии», снова потеряет землю из виду, ниспослать ему... И он изобрел такую кару, о которой мне приходится здесь умолчать.

Помянул он также недоброкачественные продукты, которыми нас кормили, — непригодные даже для собаки, и без конца распространялся о том, что неблагоприятно доверять дальше судно человеку с таким невоздержанным характером, как у старшего помощника. К тому же, имея на борту столько больных, на что могли мы надеяться, занявшись ловлей китов? Да о чем там толковать! Будь что будет, а судно должно стать на якорь.

И вот, так как Затычка не только был прекрасным моряком, «сазаном» кубрика и одним из старших по возрасту, но, кроме того, глубоко проникся чувствами, встречавшими горячий отклик у остальных, его немедленно уполномочили выступить в качестве оратора, лишь только консул сочтет нужным к нам обратиться.

Этот выбор был сделан вопреки советам доктора и моим; впрочем, все заверили нас, что будут вести себя спокойно и выслушают Уилсона до конца, прежде чем предпримут какие-нибудь решительные шаги.

Нам недолго пришлось ждать, так как очень скоро Уилсон появился из входного люка, держа в руках потускневший железный ящик с судовыми документами, а Джермин тотчас же крикнул, чтобы весь экипаж собрался на шканцах.

Глава XXI

ЧТО ПРЕДПРИНЯЛ КОНСУЛ

Распоряжение было немедленно выполнено, и матросы выстроились перед консулом.

Ну и странное же это было сборище: уроженцы многих стран, довольно причудливо одетые, но живописные даже в лохмотьях. Мой приятель долговязый доктор также присутствовал; возможно, для того чтобы привлечь симпатии консула к попавшему в беду джентльмену, он уделил своей внешности больше забот, чем обычно, и среди матросов казался журавлем, унесенным в море и очутившимся в обществе буревестников.

Самый замечательный вид имел, однако, несчастный Каболка. Так как он был сухопутным растяпой, то его морское обмундирование уже давно конфисковали, и ему приходилось теперь ходить в чем попало. В качестве верхней части туалета ему служил поношенный фрак (или «куртка с хвостами»), который он получил, будучи юнгой, от капитана Гая; эту отнюдь не подходящую для моряка одежду он продолжал упорно носить, хотя ее по двадцать раз на день срывали у него с плеч.

Около Уилсона стоял старший помощник с непокрытой головой; седые волосы падали кольцами на его бронзовый от загара лоб, а пронизательные глаза пристально всматривались в лица моряков, словно читая их мысли. Из-под накинутой куртки виднелись круглая шея, волосатая грудь и короткая сильная рука, усеянная синяками и разукрашенная многочисленными эмблемами, нарисованными китайской тушью.

Среди зловещего молчания консул медленно разворачивал судовые документы, очевидно стараясь произвести впечатление своим чересчур величественным видом.

— Мистер Джермин, сделайте переключку, — и он протянул список команды.

Отозвались все, кроме двух матросов, покоившихся на дне океана, и беглецов.

Мы предполагали, что теперь консул вытащит «раунд-робин» и что-нибудь скажет о нем. Ничего подобного. Среди бумаг, лежавших в железном ящике, находилась как будто бы и наша петиция; но если она там и была, к ней отнеслись слишком презрительно, чтобы удостоить какими-

нибудь комментариями. Некоторые из присутствующих, совершенно справедливо считавшие ее незаурядным литературным произведением, ждали от нее всяческих чудес, и поэтому их очень задело такое пренебрежение.

— Ну, ребята, — заговорил снова Уилсон после небольшой паузы, — хотя на вид вы все вполне здоровы, мне сказали, что среди вас имеются больные. Так вот, мистер Джермин, вызовите тех, кто числится у вас в списке больных, и пусть они перейдут на другую сторону палубы — я хочу на них посмотреть.

— Так — продолжал он, когда мы все перешли к другому борту. — Значит, вы больные, а? Прекрасно. Вас сейчас осмотрят. Отправляйтесь по одному в каюту к доктору Джонсону, который доложит мне о вашем состоянии. Тех, кого он признает умирающими, я отправлю на берег; остальные будут снабжены всем необходимым и останутся на борту.

После такого заявления мы в страхе уставились друг на друга, стараясь выяснить, кто из нас похож на умирающего; иные готовы были скорее остаться на судне и считаться здоровыми, чем отправляться на берег и быть похороненными. Впрочем, некоторые из нас ясно понимали, к чему клонил Уилсон, и соответственно вели себя. Лично я намеревался принять такой вид, будто нахожусь на самом краю смерти, надеясь таким образом добиться высадки на берег и избавиться от «Джулии» без дальнейших неприятностей.

Задавшись этой целью, я решил, пока не выяснится моя судьба, не принимать участия в назревших событиях. Что касается доктора, то он все время разыгрывал хворого, и теперь по многозначительному взгляду, брошенному на меня, я понял, что ему стало гораздо хуже.

Когда с больными было временно покончено, и один из них отправился вниз на освидетельствование, консул обернулся к остальным и сказал им следующее:

— Ребята, я хочу задать вам несколько вопросов. Пусть один из вас отвечает да или нет, а остальные молчат. Ну так вот: имеете ли вы что-нибудь против старшего помощника, мистера Джермина? — Он переводил испытующий взгляд с одного матроса на другого и, наконец, уставился в глаза купору, на которого были обращены все взоры.

— Так что, сэр, — нерешительно начал Затычка, — мы ничего не имеем против мистера Джермина как моряка, но...

— Никаких но! — прервал его консул. — Отвечайте, да или нет — имеете ли вы что-нибудь против мистера Джермина?

— Я и хотел сказать, сэр; мистер Джермин очень хороший человек, но

с другой стороны...

Тут старший помощник бросил на Затычку убийственный взгляд; Затычка что-то пробормотал, вперил взор в настил палубы и умолк.

Купор, всегда державшийся самоуверенно и похвалявшийся своим бесстрашием, теперь явно струсил.

— Итак, с этим делом все ясно, — поспешно воскликнул Уилсон. — Я вижу, вы против него ничего не имеете.

Несколько человек, казалось, готовы были на это многое возразить, но, обескураженные поведением купора, сдержались, и консул продолжал:

— У вас на судне хватает еды? Пусть отвечает тот, кто говорил раньше.

— Что до этого, я не знаю, — произнес Затычка, имевший очень смущенный вид; он попытался было скрыться за других, но его снова вытолкнули вперед. — Солонина, к примеру, могла бы быть повкусней.

— Я не об этом спрашиваю, — заорал консул, очень быстро смелея. — Отвечай на мои вопросы, как я их задаю, а не то я найду способ расправиться с тобой.

На этот раз он зашел слишком далеко. Возмущение, в которое привела матросов трусость купора, теперь прорвалось. Один из них — молодой американец, известный у нас под именем Салем,^[49] — растолкав других, выскочил вперед, ударил Затычку так, что тот кубарем отлетел под ноги консулу, и, размахивая в воздухе выхваченным из-за пояса ножом, выпалил.

— Я тот паренек, который может ответить на ваши вопросы. Спросите-ка меня о чем-нибудь, консулишка.

Но «консулишка» в данный момент больше вопросов не имел.

Обеспокоенный появлением на сцене ножа Салема и поразительным результатом полученного Затычкой удара, он юркнул в каюту и некоторое время не показывался.

Впрочем, после того как помощник капитана заверил, что все успокоилось, Уилсон выглянул, если и не испуганный, то весьма взволнованный, но, очевидно, решившийся проявить всю необходимую в таком деле свирепость. Он угрожающим голосом призвал матросов к порядку и повторил вопрос, достаточно ли еды на судне. Теперь заговорили разом все, и на него обрушился настоящий ураган криков, пересыпанных градом ругани.

— Это еще что такое? Вы что это, а? — воскликнул консул, воспользовавшись первой секундой затишья. — Кто разрешил вам говорить всем вместе? Эй, вы, там с ножом, смотрите не выколите кому-нибудь глаз, слышите, сэр? Вы, кажется, хотели многое сказать — пожалуйста, отвечайте: кто вы такой, где вы нанялись на судно?

— Я всего лишь ничтожный береговой трепач,^[50] — ответил Салем, с пиратским видом выступая вперед и уставившись на Уилсона. — И если вам желательно знать, я нанялся на судно на Островах месяца четыре назад.

— Всего четыре месяца назад? И вы решаетесь говорить за тех, кто проделал на судне все плавание, — и консул изо всех сил попытался изобразить негодование, но это ему не удалось. — Я больше ничего не желаю слышать от вас, сэр. Где этот почтенный седовласый человек, купор? Он один будет отвечать на мои вопросы.

— Никаких почтенных седовласых людей на борту нет, — возразил Салем, — мы все шайка мятежников и пиратов!

Все это время старший помощник хранил молчание. Уилсон, совершенно растерявшись и не зная, что предпринять, взял его под руку и отвел на другую сторону палубы. После короткого совещания он вернулся к люку и резко обратился к матросам, словно ничего не произошло.

— По причинам, всем вам, ребята, известным, это судно перешло в мое ведение. Так как капитан Гай пока что остается на берегу, до его выздоровления командиром у вас будет старший помощник мистер Джермин. Я не вижу никаких оснований, почему бы судну не возобновить немедленно свое плавание, тем более что я намерен прислать вам еще двух гарпунщиков и достаточно здоровых матросов, чтобы вы могли управиться с тремя вельботами. Что до больных, то ни вас, ни меня они не касаются; о них позаботится доктор Джонсон. Но об этом я уже говорил. Как только все будет налажено — через день или, самое большее, два — вы выйдете в море для трехмесячного плавания, а затем вернетесь сюда за своим капитаном. Будем надеяться, что я услышу о вас хорошие отзывы, когда вы снова пристанете к здешним берегам. Пока что вы по-прежнему должны держаться в море, не входя в гавань. Как только смогу, я пришлю вам свежую провизию. Вот все, больше разговаривать не о чем; расходитесь по своим местам.

И, не добавив ни слова, Уилсон повернулся, собираясь спуститься в каюту. Но едва он умолк, как разъяренные матросы окружили его со всех сторон, бешено жестикулируя и требуя, чтобы он их выслушал. Все наперебой доказывали незаконность того, что он предполагал сделать, настаивали на необходимости ввести «Джулию» в гавань и под конец без обиняков дали понять, что в море на ней они не выйдут.

Среди всех этих мятежных криков встревоженный консул стоял, вцепившись в поручни трапа. Он заранее разработал свою тактику, обсудив ее, конечно, на берегу с капитаном. Теперь, поспешно направляясь в каюту, он лишь повторял:

— Расходитесь, ребята; я все вам сказал. Надо было раньше говорить — теперь я уже принял решение. Расходитесь, говорю вам, мне больше не о чем разговаривать с вами. — И, нырнув в люк, он скрылся.

Возмущенные до крайности матросы собрались было последовать за ним вниз, но тут их внимание отвлекла группа, как раз в это мгновение принявшаяся за трусливого Затычку. Под град колотушек предателя потащили в кубрик, и там... рассказывать о дальнейшем я воздержусь.

Глава XXII

ОТБЫТИЕ КОНСУЛА

Пока происходили описанные выше сцены, доктор Джонсон занимался осмотром больных; оказалось, что все они, за исключением двух, должны были остаться на судне. Очевидно, он получил от Уилсона недвусмысленные указания. Позванный в каюту одним из последних, когда собрание на шканцах уже разошлось, я вернулся на палубу совершенно взбешенный. Мою хромоту, которая, по правде говоря, сильно уменьшилась, Джонсон признал в значительной мере притворной, и я попал в список тех, кто станет пригодным к любой работе по прошествии нескольких дней. Это было уже чересчур. Что касается доктора Долговязого Духа, то береговой врач не только не проявил к нему никакого профессионального сочувствия, но даже держал себя с ним весьма сухо. Поэтому оба мы склонялись теперь к объединению, до известного предела, с матросами для совместной борьбы.

Здесь я должен объяснить свое поведение. Мы хотели лишь одного — чтобы «Джулия» стала на якорь в тихой пристани, в бухте Папэте; конечно, мы льстили себя надеждой, что, добившись этого, мы впоследствии так или иначе сумеем мирно освободиться. Кроме открытого мятежа, достигнуть этого можно было лишь одним способом: побудить матросов не выполнять никаких работ, за исключением тех, какие потребуются для ввода судна в гавань. Единственная трудность заключалась в том, чтобы удерживать команду в нужных границах. Вынужденный обстоятельствами примкнуть, хотя и соблюдая осторожность, к такой отчаянной компании и ввязаться в предприятие, последствия которого с трудом поддавались учету, я пошел на это не без опасений. Но ни о каком нейтралитете не могло быть и речи, так же как и о безоговорочном подчинении.

Придя на бак, мы с доктором застали матросов в гораздо большем возбуждении, чем когда-либо прежде. Восстановив некоторое спокойствие, мы снова стали настаивать на нашем плане отказываться, не вступая в пререкания, от выполнения каких бы то ни было обязанностей и выжидать последствий. Сначала почти никто не хотел и слышать об этом; под конец, однако, наши доводы убедили многих. Некоторые продолжали упорствовать, но даже и те, кто соглашался с нами, не во всем слушались

нас.

Когда Уилсон вышел на палубу, чтобы спуститься в шлюпку, его обступили со всех сторон, и несколько мгновений мне казалось, что судно будет захвачено у него на глазах.

— Мне нечего вам больше сказать, ребята; мои распоряжения сделаны. Расходитесь по местам. Я не потерплю дерзости. — И, весь дрожа, Уилсон быстро перемахнул через борт, провожаемый градом проклятий.

Вскоре после его отъезда старший помощник приказал коку и юнге сесть на весла в его шлюпку и, сказав, что направляется проведать капитана, оставил нас, как и раньше, на попечение Бембо.

К этому времени мы (сделав опять поворот оверштаг) снова приблизились к земле и заштилевали; при каждом размахе судна грот-марсель начинал хлопать о мачту.

Вслед за отъездом консула и Джермина разыгралась совершенно неопишуемая сцена. Матросы носились по палубе как безумные; Бембо между тем стоял в одиночестве, прислонившись к гакаборту, покуривал свою дикарскую каменную трубку и ни во что не вмешивался.

Купор, получивший утром хорошую трепку, теперь всячески старался вновь завоевать расположение команды. Он предложил всем «без различия партий», подходить и прикладываться к его ведерку.

Было, однако, совершенно ясно, что, прежде чем напоить других, он проявил мудрую предусмотрительность и основательно выпил сам. И вот он снова добился благоволения товарищей, единодушно признавших его безупречным парнем.

Писко вскоре дал о себе знать, и мы с большим трудом удержали группу матросов, совсем было уже собравшихся в задний трюм, чтобы раздобыть еще выпивки.

Тут пошла кутерьма.

— Эй, там на топе! Что ты там видишь? — орал Красавец, окликая клотик грот-мачты в огромный медный рупор.

— На штагах стоять! — ревел Жулик Джек, замахиваясь топором кока и как бы собираясь перерубить крепления грота-штагов.

— Шквал идет! — вопил португалец Антоне, тыча аншпугом в светлый люк каюты.

А Боб кричал: — Пошел шпиль, веселей, ребята! — и отплясывал на баке матросский танец.

Глава XXIII

ВТОРАЯ НОЧЬ НА РЕЙДЕ ПАПЕЭТЕ

На закате старший помощник возвращался с берега, весело напевая на носу шляпки. Пытаясь взобраться на борт, он умудрился шлепнуться в воду. Юнга выловил его и потащил по палубе, осыпаясь самыми трогательными изъявлениями любви со стороны своей ноши. Брошенный в баркас, Джермин вскоре заснул; пробудившись около полуночи несколько протрезвившимся, он отправился на бак к матросам. Чтобы дальнейшее стало понятно, мы должны теперь временно его покинуть.

Было совершенно ясно, что Джермин не имел абсолютно ничего против выхода «Джулии» в море; в сущности он только этого и хотел. Какими соображениями он руководствовался при том состоянии, в каком мы находились, оставалось для нас загадкой. Тем не менее это было так. Сильно рассчитывая на свою заработанную кулаками популярность среди матросов, он надеялся, что те примирятся с кратковременным плаванием под его начальством, и был поэтому разочарован их поведением. Все же, думая, что они могут еще изменить свою точку зрения, когда узнают, какие хорошие времена для них уготовлены, он решил еще раз попытаться их уговорить.

Итак, дойдя до бака, он нагнулся к люку кубрика и самым сердечным тоном окликнул нас, приглашая пойти к нему в каюту, где, по его словам, у него имелось чем нас развеселить. Мы охотно последовали за ним и, расположившись на сундуке, ждали, пока юнга подаст выпивку.

Когда кружка стала переходить из рук в руки, Джермин, сидя в капитанском кресле, прикрепленном к палубе, и облокотясь о стол, принялся, как всегда прямо и откровенно, делиться своими мыслями. Он был еще далеко не трезв.

Он сказал, что мы поступаем очень глупо, ибо, если мы останемся на судне, он устроит нам здесь веселую жизнь, и напомнил нам, сколько еще непечатых бочонков в винном погребе «Джулии».

Он вскользь намекнул даже, что, возможно, мы не вернемся за капитаном, о котором отзывался весьма пренебрежительно, утверждая, как он часто делал и раньше, что тот не моряк.

Больше того, Джермин, имея, вероятно, в виду специально доктора Долговязого Духа и меня, выразил полную готовность обучить желающих,

если таковые найдутся, всем премудростям и тайнам навигации, посулив даже безвозмездно предоставлять им в пользование свой квадрант.

Я забыл упомянуть, что предварительно он отвел доктора в сторону и заговорил о возвращении его в каюту в более высоком звании, бросив при этом намек о возможности продвижения по службе и для меня. Но все оказалось напрасно: матросы мечтали только о высадке на берег, и ничто не могло отвлечь их от этого намерения.

Наконец Джермин пришел в ярость, значительно усиленную частыми прикладываниями к кружке, и, разразившись проклятиями, выгнал всех из каюты. В самом приятном расположении духа мы, спотыкаясь, поднялись по трапу.

На палубе стояла полная тишина, и некоторые из наиболее буйно настроенных матросов принялись уже было всерьез сокрушаться о том, что до утра не предвидится больше никакой веселой кутерьмы. Не прошло, однако, и пяти минут, как эти ребята получили полное удовлетворение.

Сиднеец Бен (по слухам, сбежавший «парень с постоянным пропуском»^[51]), в числе немногих продолжавший по каким-то своим соображениям нести вахту, отправился развлечения ради вместе с остальными в каюту, и Бембо, который оставался все это время на палубе за старшего, то и дело звал его. Сперва Бен делал вид, что не слышит; когда же крики стали повторяться один за другим, он решительно отказался повиноваться, одновременно высказав несколько скупых замечаний относительно происхождения маори по материнской линии. Последний слишком долго жил среди моряков и не мог не понять крайней оскорбительности подобных намеков. Поэтому, как только матросы вышли из каюты, Бембо подозвал Бена и осыпал его такой руганью на своем ломаном жаргоне, что у всякого душа ушла бы в пятки. Каторжнику вино крепко ударило в голову, да и маори был также пьян. Мы не успели оглянуться, как Бен ударил Бембо, и они сцепились как магниты.

«Парень с постоянным пропуском» был опытным боксером, а маори в этом искусстве ничего не смыслил, и потому их силы оказались равны. Они душили и тузили друг друга, пока, наконец, не грохнулись оба на палубу и стали кататься по ней, окруженные кольцом зрителей, образовавшимся в один миг. Наконец, голова белого запрокинулась, и его лицо побагровело. Бембо впился зубами ему в горло. Матросы бросились к ним и оттащили Бембо, который отпустил свою жертву лишь после того, как его несколько раз ударили по голове.

Теперь ярость маори дошла до поистине дьявольского исступления; с горящими глазами, судорожно корчась, он лежал на палубе и не делал

попыток встать. Полагая по поведению Бембо, что он усмирен, матросы, радуясь его унижению, отошли от него, предварительно обругав в обычном своем стиле людоедом и трусом.

Бену помогли подняться и увели вниз.

Вскоре после этого остальные, за немногими исключениями, тоже спустились в кубрик, и так как почти всю прошлую ночь им не пришлось спать, сразу же завалились подле сундуков и на подвесные койки. Через час в этой части судна не было слышно ни звука.

До того как Бембо оттащили, старший помощник тщетно пытался разнять противников, несколько раз ударив маори; но только вмешательство матросов положило конец сражению.

Когда команда разошлась, Джермин, хотя и был далеко не трезв, все же достаточно соображал и поручил юнге (напомню читателю, что тот был опытным моряком) следить за судном, а затем отправился в каюту и снова погрузился в пьяный сон.

Побыв с доктором на палубе еще некоторое время после того, как остальные ушли в кубрик, я собрался уже было последовать за ним вниз, как вдруг увидел, что маори встал, зачерпнул ведро воды и, подняв над головой, вылил его на себя. Он проделал это несколько раз. В таком поступке не было ничего особенного, но что-то в Бембо показалось мне странным. Однако я не стал заниматься дальнейшими размышлениями и спустился в люк.

Некоторое время я беспокойно дремал, то и дело просыпаясь; воздух в кубрике был очень спертый, так как здесь собралась почти вся команда, и я, захватив старый суконный бушлат, вышел на палубу с намерением поспать до утра на свежем воздухе. Там я застал кока и юнгу, Ваймонту, Каболку и Датчанина. Все они были тихие, смирные ребята и после отъезда капитана держались в стороне от остальных; старший помощник распорядился, чтобы они до восхода не уходили вниз. Они лежали под защитой фальшборта; кое-кто крепко спал, другие покуривали трубки и беседовали.

К моему удивлению, у руля стоял Бембо. Мне объяснили, что, так как народу было слишком мало, он сам вызвался исполнять обязанность штурвального в очередь с остальными, одновременно возглавляя вахту; против этого, конечно, никто не возражал.

Была чудесная ясная ночь; кругом лишь белые гребни волн, сверкавшие в свете луны и звезд. Дул легкий, но постепенно свежевший бриз, и бедная «Джувьеточка», державшаяся круто к ветру, двигалась как ни в чем не бывало в сторону берега, смутные очертания которого возвышались вдаль.

После шума минувшего дня царившая повсюду тишина действовала успокаивающе, и, наклонившись над бортом, я наслаждался ею.

Больше чем когда-либо прежде я сокрушался теперь о своем положении... Но что проку роптать? Упрекнуть себя мне было не в чем. Меня стало клонить ко сну, я расстелил бушлат у шпигеля и попытался забыться.

Как долго я лежал там, не могу сказать; но когда я встал, первое, что бросилось мне в глаза, был Бембо за рулем. Его темная фигура поднималась и опускалась в такт движению судна, отчетливо вырисовываясь на фоне звездного неба. Стоя на расстоянии вытянутой руки от штурвала, выставив одну ногу и подавшись непокрытой головой вперед, он был, казалось, само нетерпение и ожидание. С того места, где я лежал, никого из вахтенных не было видно; нигде никто не шевелился. Пустынная палуба и раскинутые белые паруса мерцали в лунном свете.

Вдруг до моего слуха донесся какой-то нарастающий шум, и меня охватило смутное ощущение, что я когда-то раньше слышал его. Еще мгновение, и, совершенно проснувшись, я вскочил на ноги. Прямо впереди, и так близко, что у меня замерло сердце, виднелась длинная полоса вздымавшихся и пенившихся бурунов. Это были коралловые рифы, опоясывавшие остров. За ними, чуть не отбрасывая тень на палубу, поднимались сонные горы, над чьими туманными вершинами небо чуть-чуть серело, предвещая рассвет. Ветер посвежел, и, плавно скользя по волнам, мы неслись прямо на рифы.

С одного взгляда я понял все; коварное намерение Бембо было очевидным; дико закричав, чтобы разбудить вахтенных, я бросился на корму. Матросы в испуге вскочили, и, после короткой, но отчаянной борьбы мы оттащили маори от руля. Пока мы возились с ним, штурвал, на несколько мгновений предоставленный самому себе, закрутился в подветренную сторону, и тем самым, на наше счастье, привел нос судна к ветру, что замедлило его движение. До этого оно шло курсом, на три-четыре румба отклонявшимся от направления ветра, и приближалось к бурунам. Теперь, когда «Джулия» сбавила ход, я положил руль так, что паруса были едва наполнены, и мы скользили по касательной к земле. Идти по ветру — что было бы просто — означало почти мгновенную гибель, так как рифы делали здесь изгиб. В это время Датчанин и юнга все еще боролись с разъяренным маори, а остальные, растерявшись, с криками бегали взад и вперед.

В то мгновение, когда я схватил руль, старый кок бросился на бак и забарабанил аншпугом по кубрику.

— Буруны! Буруны совсем рядом! У самого судна! У самого судна! — орал он.

Матросы высыпали на палубу, озираясь в тупом ужасе.

— Брасопить передние реи! Трави подветренный фока-брас!

— По местам, к повороту! — кричали со всех сторон, между тем как команда, сбитая с толку тысячью приказаний, металась из стороны в сторону, охваченная паникой.

Казалось, все было кончено. Я уже собирался направить судно прямо по ветру (это спасло бы нас в данный момент, но в конце концов привело бы к неминуемой гибели), как вдруг резкий крик громом отозвался в моих ушах. То был Салем:

— К повороту, руль под ветер!

Закрутились ручки штурвального колеса, и «Джулия» с ее коротким килем круто повернула к ветру. Вскоре кливер-шкоты были закреплены вокруг нагелей, и люди, несколько овладевшие собой, бросились к брасам.

— Пошел контра-брас! — послышалась новая команда, когда свежий ветер пронесся вдоль палубы; и сразу же задние реи были обрасоплены.

Полминуты спустя мы легли на другой галс и, распустив все паруса, стали отдаляться от земли.

Когда мы совершали поворот, до рифа оставалось уже рукой подать, и никакая земная сила не могла бы нас спасти, если бы море до самого края коралловой гряды не было исключительно глубоким.

Глава XXIV

ВЗРЫВ ВОЗМУЩЕНИЯ

О том, что замыслил Бембо, матросы узнали от вахтенных; теперь, когда опасность миновала, они в порыве негодования с криками бросились к маори.

Данк и юнга только что его отпустили, и он упрямо продолжал стоять у бизань-мачты; едва разъяренные матросы приблизились, он стал вращать налитыми кровью глазами, и его длинный нож засверкал в воздухе.

— К чертям его! Бросить его за борт! Повесить на грота-рее! — слышалось со всех сторон. Но Бембо невозмутимо стоял на своем месте, и на какое-то мгновение матросов охватила нерешительность.

— Труссы! — воскликнул Салем и бросился к Бембо. Сталь блеснула, как молния, но не причинила никакого вреда, ибо грудь матроса уже прижималась к груди маори, прежде чем тот успел опомниться.

Они оба покатались по палубе, и нож у Бембо мгновенно отобрали, а его самого схватили.

— На бак его! На бак! — снова раздались возгласы. — Швырните его в воду! За борт его! — и сопротивлявшегося Бембо, пустившего в ход зубы и ногти, поволокли по палубе.

Весь этот грохот над самой головой пробудил, наконец, старшего помощника от пьяного сна, и он, пошатываясь, вышел на палубу.

— В чем дело? — закричал он, бросаясь в самую гущу толпы.

— Это маори, сэр; они собираются его убить, сэр, — ответил бедный Каболка, всхлипывая и робко приближаясь к Джермину.

— Стой! Стой! — заорал тот и устремился к Бембо, расталкивая матросов. Несчастный уже висел над водой, что было сил цепляясь за фальшборт, который весь сотрясался от его отчаянных усилий. Доктор и другие тщетно пытались спасти маори: команда не слушала никаких уговоров.

— Убийство и мятеж в открытом море! — закричал старший помощник и, расшвыряв державших Бембо людей, опустил свою железную руку на его плечо.

— Теперь нас двое; прежде чем расправиться с ним, вы должны будете расправиться со мной, — воскликнул Джермин, решительно поворачиваясь к матросам.

— За борт обоих! — заорал плотник, бросаясь вперед; но остальных мужественное поведение Джермина заставило отступить; в тот же миг Бембо, целый и невредимый, очутился опять на палубе.

— Проваливай на корму! — крикнул ему спаситель и повел прямо сквозь толпу матросов, предусмотрительно следуя вплотную за ним. Не давая команде времени опомниться, он толкал маори перед собой, довел до люка каюты и, закрыв за ним крышку люка, остался на палубе. За все это время Бембо не вымолвил ни слова.

— А теперь отправляйтесь к себе на бак! — гаркнул старший помощник матросам, которые уже пришли в себя и вовсе не собирались упустить свою жертву.

— Маори! Маори! — орали они.

Тут доктор в ответ на повторные вопросы старшего помощника выступил вперед и рассказал о поступке Бембо; из буйных призывов к расправе помощник прежде лишь очень смутно понял суть дела.

Несколько секунд Джермин, казалось, колебался; наконец, повернув ключ в висячем замке на крышке люка, он проговорил сквозь стиснутые зубы:

— Вы его не получите; я передам его консулу. Проваливайте на бак, говорю вам; если понадобится кого-нибудь утопить, я вам сообщу, а пока убирайтесь, кровожадные пираты!

Ни просьбами, ни угрозами матросы ничего не добились. Джермин, хотя еще далеко не протрезвившийся, мужественно стоял на своем; через некоторое время матросы разошлись и вскоре забыли обо всем случившемся.

Хотя нам не довелось выслушать собственное признание Бембо в намерении нас погубить, сомневаться в этом не приходилось. Единственным мотивом, которым он мог руководствоваться, было желание отомстить за оскорбление, нанесенное ему прошлой ночью.

Во время этих событий доктор делал все возможное, чтобы спасти маори. Я же, хорошо зная, что мои попытки вмешаться окажутся бесполезными, продолжал стоять за штурвалом. Конечно, кроме Джермина, никто не смог бы предотвратить убийство.

Глава XXV

ДЖЕРМИН ВСТРЕЧАЕТ СТАРОГО ТОВАРИЩА ПО ПЛАВАНИЮ

Утро последовавшего за описанным происшествием дня мы держались под ветром у входа в гавань, ожидая прибытия консула, который обещал старшему помощнику приехать на береговой шлюпке, чтобы с ним повидаться.

К этому времени матросы заставили купора открыть свой секрет, после чего тому пришлось без конца спускаться в задний трюм. Старший помощник об этом, вероятно, знал, но ничего не говорил, несмотря на пляски, а иногда и драки, возвещавшие об обильном потреблении писко.

От умиротворяющего влияния, которое прежде оказывали доктор и я, теперь не осталось почти ни следа.

Уверенные в том, что при сложившихся обстоятельствах судно в конце концов будет вынуждено войти в бухту, и прослышав, будто бы и старший помощник подтвердил это, матросы, по-видимому, не торопились на берег, ибо ведро Затычки снабжало их щедрым угощением.

Насчет Бембо нам было сказано, что старший помощник надел на него ручные и ножные кандалы и запер в капитанской каюте; в качестве дополнительной предосторожности он держал люк каюты все время на замке. Мы больше никогда не видели маори; почему так получилось, выяснится из последующего повествования.

Наступил полдень, но консул не появлялся. Время шло, а с берега не было никаких известий, и старший помощник справедливо пришел в негодование, тем более что в ожидании приезда Уилсона он приложил все старания к тому, чтобы оставаться совершенно трезвым.

За два-три часа до захода солнца из гавани вышла небольшая шхуна, взявшая курс на соседний остров Эймео, или Муреа, отчетливо различимый милях в пятнадцати. Ветер стих, и течение пронесло шхуну мимо самого носа «Джулии», так что мы смогли ясно рассмотреть находившихся на ее палубе туземцев.

Их было, вероятно, человек двадцать; они полулежали на разостланных циновках и курили трубки. Пройдя так близко и услышав пьяные крики наших матросов и заметив их буйное поведение, островитяне, должно быть, приняли нас за пиратов; во всяком случае они

схватились за свои длинные весла и стали изо всех сил грести прочь. Вид наших двух шестифунтовых орудий, которые мы шутики ради выдвинули из пушечных портов, заставил их удвоить усилия. Но они еще не успели отойти далеко, когда на палубе появился белый, подпоясанный красным кушаком, и туземцы немедленно перестали грести.

Он громко окликнул нас и сказал, что явится к нам на борт; после некоторой суматохи на палубе шхуны с нее спустили маленькую пирогу, и через две-три минуты он очутился среди нас. Гость оказался старым товарищем Джермина, неким Винером, которого тот считал давно умершим и который, как оказалось, на самом деле жил последнее время на Таити.

Такие встречи — один из многочисленных примеров совпадений, которые в романе показались бы неправдоподобными, но тем не менее часто происходят в полной приключений действительности.

Лет пятнадцать назад Джермин и Винер вместе служили помощниками капитана на барке «Джен» из Лондона, совершавшем плавание в Южных морях. Где-то вблизи Новых Гебрид они ночью наткнулись на неизвестный риф, и в несколько часов «Джен» была разбита в щепы. Шлюпки, однако, удалось спасти, так же как и немного продовольствия, квадрант и еще кое-что. Но часть матросов погибла, прежде чем их успели снять с тонувшего судна.

Три шлюпки под командованием капитана, Джермина и третьего помощника пустились в путь к маленькому английскому поселению в Бей-оф-Айлендс на Новой Зеландии. Само собой понятно, пока было возможно, они держались вместе. После того как они пробыли в море с неделю, матрос-индеец в капитанской шлюпке сошел с ума; его присутствие грозило опасностью остальным, и его попытались выбросить за борт. Во время возникшей суматохи парус перебрало, и шлюпка опрокинулась. В море стояло довольно большое волнение, и две другие шлюпки находились дальше, чем обычно; поэтому удалось подобрать только одного человека. В ту же ночь разразился сильный шторм; команды уцелевших шлюпок, убрав паруса, связали пачкой весла, бросили их за борт и, вытравив побольше троса, отстаивались на этих плавучих якорях. Когда наступило утро, Джермин и его люди оказались одни среди океана; шлюпка третьего помощника, как можно было предполагать, затонула.

После многих тяжелых испытаний оставшиеся в живых моряки увидели бриг, который подобрал их и впоследствии высадил в Сиднее.

С тех пор наш старший помощник много раз выходил в плавание из этого порта, но никогда не слышал о своих исчезнувших товарищах и, конечно, считал их давно погибшими. Вообразите теперь его состояние,

когда Винер, пропавший третий помощник, едва ступив на палубу, бросился к нему и принялся горячо жать руки.

Оказалось, что во время шторма его трос оборвался, и шлюпка, быстро увлекаемая в подветренную сторону, к утру была уже далеко. Пережив затем большие лишения, моряки в надежде раздобыть плодов пристали к неизвестному острову. Сначала туземцы приняли их дружелюбно; но как-то один матрос затеял ссору из-за женщины, остальные стали на его сторону, и всех их убили — кроме Винера, находившегося в это время в соседней деревне. Он прожил на острове больше двух лет; в конце концов ему удалось убежать в шлюпке одного американского китобойца, который высадил его в Вальпараисо. После этого он продолжал плавать по морям, нанимаясь простым матросом, пока полтора года назад не обосновался на Таити; теперь он владелец виденной нами шхуны и ведет торговлю с близлежащими островами.

Сразу после захода солнца снова поднялся ветер, и Винер покинул нас, пообещав своему старому товарищу еще раз навестить его через три дня в бухте Папеете.

Глава XXVI

МЫ ВХОДИМ В ГАВАНЬ. ЛОЦМАН ДЖИМ

Усталые от не прекращавшейся целый день попойки, матросы почти все ушли спозаранку вниз. На палубе оставались лишь юнга и двое вахтенных; старший помощник с Балтиморой и Датчанином обещал их сменить в полночь. В это время судно, державшееся под убавленными парусами на некотором расстоянии от берега, надо будет повернуть на другой галс.

Вскоре после полуночи нас в кубрике разбудил львиный рык Джермина, отдававшего команду выбрать кливер-фал; немного спустя аншпуг забарабанил по люку, и всех вызвали наверх для ввода судна в гавань.

Это явилось для нас полной неожиданностью; впрочем, мы тотчас же сообразили, что старший помощник, не рассчитывая больше на консула и отбросив всякую надежду уговорить матросов, внезапно сам принял новое решение. Он собирался, лавируя против ветра, подойти к входу в гавань с тем, чтобы еще до восхода солнца поднять сигнал вызова лоцмана.

Несмотря на это, матросы наотрез отказались выполнять какие бы то ни было работы на судне и оставались глухи ко всем увещаниям моим и доктора. Будь что будет, но они клянутся, что и пальцем не двинут больше на борту «Джулии». Такое ничем не оправданное упрямство можно было в значительной мере отнести за счет последствий недавней попойки.

При сильном ветре, под всеми парусами, вынужденные совершать все маневры с помощью четырех-пяти человек, измученных двухсуточной вахтой, мы оказались в довольно трудном положении, тем более что старший помощник вел себя еще более беспечно, чем всегда, а нам предстояло несколько раз менять галс в непосредственной близости от земли.

Я прекрасно понимал, что, случись с «Джулией» до утра что-нибудь неладное, виновной сочтут команду, и если дойдет до суда, последствия могут оказаться самыми неприятными. Поэтому я обратился к тем, кто был на палубе, и во всеуслышание заявил: теперь, когда судно направляется в гавань (это было единственное, за что лично я до сих пор боролся), я буду делать все от меня зависящее, чтобы оно благополучно вошло в нее. Ко мне

присоединился доктор.

Время тянулось тревожно до самого утра, когда, очутившись как раз с наветренной стороны от входа в гавань, мы стали спускаться под ветер, подняв на фок-мачте английский флаг. Однако никаких признаков шлюпки с лоцманом мы не заметили; мы несколько раз приближались к самому входу, потом подняли флаг на бизань-рее, а на фок-мачте приспустили в знак бедствия. Но и это оказалось бесполезно.

Приписав такое необъяснимое невнимание со стороны берегового начальства проискам Уилсона, Джермин в полном бешенстве решил войти в гавань на свой страх и риск, полагаясь исключительно на те сведения, что сохранились у него в памяти после посещения Таити много лет назад.

Такое решение было характерно для нашего старшего помощника. Вход в бухту Папезте считается опасным даже при наличии опытного лоцмана. Образованная крутым изгибом берега, эта бухта со стороны моря защищена коралловым рифом, о который с огромной силой разбиваются буруны. Отгораживая бухту, коралловый барьер тянется дальше к мысу Венеры^[52] в округе Матаваи, лежащему в восьми или десяти милях оттуда. Там тоже существует проход; войдя в него, суда по спокойному глубокому каналу между рифом и берегом попадают в гавань. Впрочем, капитаны обычно предпочитают подветренный проход, так как за рифом ветер чрезвычайно изменчив. Этот последний вход представляет собой просвет между рифами как раз напротив бухты и деревни Папезте. Он очень узок; из-за переменных ветров, течений и подводных скал суда то и дело цепляются килем за коралловое дно.

Но старшего помощника ничто не могло утратить. Итак, поставив имевшихся в его распоряжении людей у брасов, он вскочил на фальшборт и, велев всем быть начеку, приказал положить руль на ветер. Через несколько мгновений мы уже шли в сторону берега. Так как приближался полдень, то ветер вскоре стих, и к тому времени, когда «Джулия» очутилась среди бурунов, она едва слушалась руля. Но мы плавно скользили вперед, искусно избегая смутно зеленевших препятствий, тут и там возникавших на нашем пути. Время от времени Джермин, сохраняя полнейшее спокойствие, всматривался в воду, затем оглядывался по сторонам и не говорил ни слова. Так, медленно подвигаясь вперед, мы через несколько минут миновали все опасности и очутились в спокойном внутреннем водоеме. Это было наивысшее достижение в навигационном искусстве, какое когда-либо продемонстрировал перед нами старший помощник.

Мы шли по направлению к фрегату и торговым судам, как вдруг из-за них показалась пирога и стала приближаться к нам. В ней находились

мальчик и старик — и тот и другой островитяне; первый почти голый, второй в старом морском сюртуке. Оба гребли изо всех сил; время от времени старик выхватывал весло из воды и слегка ударял им своего спутника по голове, после чего оба с новыми силами принимались за дело. Как только пирога подошла достаточно близко, старикан, вскочив на ноги и размахивая веслом, принялся выделять самые странные прыжки, все время что-то тараторя. Вначале мы ничего не могли понять, но затем кое-как разобрали следующее:

— А! Вы пеми, а! вы пришел! Для чего вы пришел? Вы платить штраф, что пришел без лоцман. Я говорю, вы слышит? Я говорю, вы ита маитаи (плохие). Вы слышит? Вы не лоцман. Да, черт вас возьми, вы вовсе не лоцман; черт вас задери, вы слышит?

Эта тирада, ясно показывавшая, что куда бы ни гнул старый язычник-мошенник, он говорил вполне серьезно, вызвала на «Джулии» взрыв смеха. Тогда старик, по-видимому, окончательно вышел из себя, и мальчик, который озирался по сторонам, держа весло над водой, получил здоровенный удар по голове, заставивший его в мгновение ока приняться за работу и подгрести почти вплотную. Когда теперь оратор снова заговорил, выяснилось, что его пылкая речь была адресована старшему помощнику, все еще стоявшему на виду на фальшборте.

Однако Джермину было не до шуток, а потому, выругавшись по-матросски, он велел старику убираться. Тогда тот пришел в настоящее бешенство и осыпал нас такими проклятиями и руганью, каких мне не приходилось слышать ни от одного цивилизованного существа.

— Вы саббе^[53] меня? — кричал он. — Вы знаете меня, а? Так вот, мой — Джим, мой — лоцман... Лоцман давно-давно.

— А, — воскликнул Джермин, очень удивленный, как и все мы, — а, так ты лоцман, ты, старый язычник? Почему ты раньше не явился?

— Ах! мой саббе, мой знать, вы пирати (пираты)... Мой видит вас давно, но мой не пришел... Я саббе вас... Вы ита маитаи нуи (самые плохие).

— Отгребай к черту, — заорал Джермин в бешенстве. — Убирайся! Или я запушу в тебя гарпуном!

Однако Джим, вместо того чтобы повиноваться приказу, схватил весло, подогнал пирогу к самому трапу и в два прыжка очутился на палубе. Надвинув засаленный шелковый платок еще ниже на лоб и резким жестом оправив на себе сюртук, он решительно подошел к старшему помощнику и в еще более цветистом стиле, чем прежде, дал ему понять, что перед ним находится сам грозный «Джим», что судно, пока якорь не брошен,

находится в его распоряжении и что ему хотелось бы услышать, какие у кого имеются возражения против этого.

Поскольку теперь не оставалось почти никакого сомнения, что островитянин был именно тем, за кого он себя выдавал, «Джулия», наконец, капитулировала.

Итак, почтенный джентльмен приступил к исполнению своих обязанностей и повел нас к якорной стоянке; прыгая среди недгедсов, он покрикивал: «К ветру! К ветру! Отводи! Отводи», — и требовал, чтобы штурвальнй каждый раз почтительно докладывал об исполнении. К этому времени судно уже почти не слушалось руля, однако норовистый старичок своими приказаниями создавал не меньшую суматоху, чем тропический шквал на борту «Летучего Голландца».

Оказалось, что Джим служит портовым лоцманом; эта должность, надо сказать, приносила немалый доход и была, во всяком случае в его глазах, чрезвычайно важной.^[54] Поэтому наш бесцеремонный вход в бухту Джим рассматривал, как страшное оскорбление, умалявшее к тому же и его достоинство, и прибыльность его профессии.

В старике было что-то от колдуна. Он заключил соглашение со стихиями, и некоторые явления природы служили специально ему на пользу. Необыкновенно ясная погода с хорошим ровным ветром — несомненный признак приближения какого-нибудь «купца»; если из бухты видны фонтаны, пускаемые китом, то это означает, что вот-вот появится китобойное судно; а гром и молния, бывающие здесь так редко, служат бесспорным доказательством того, что на подходе какой-то военный корабль.

Короче говоря, лоцман Джим в своем роде замечательная личность, и все, кому пришлось побывать на Таити, слышали о нем немало забавных историй.

Глава XXVII

ОБЩИЙ ВИД ПАПЕЭТЕ. НАС ОТПРАВЛЯЮТ НА ФРЕГАТ

Деревня Папеэте показалась всем нам очень приветливой. Расположенные полукругом по берегу бухты изящные дома вождей и иностранцев придают поселению характерное для тропиков очарование, которое еще больше усиливают покачивающиеся тут и там пальмы и темно-зеленые рощи хлебных деревьев на заднем плане. Убогие хижины простолюдинов не видны, и ничто не портит впечатления.

Вокруг всей бухты тянется широкая полоса ровного берега, покрытого галькой и обломками кораллов. Это самая оживленная улица деревни; на нее выходят наиболее красивые дома; высота прилива здесь настолько незначительна,^[55] что он не причиняет никаких неудобств.

По одну сторону бухты находится резиденция Причарда — огромное великолепное здание; зеленая лужайка спускается к морю, а на крыше развевается английский флаг. На противоположной стороне трехцветный и полосатый со звездами флаги отмечают резиденции других консулов.

Особую живописность придавал бухте в это время остов большого старого судна, выброшенный на берег в дальнем конце гавани; его корма низко сидела в воде, а нос лежал на суше. С того места, где мы стали на якорь, казалось, что деревья, росшие позади, смыкали свои покрытые листвой ветви прямо над его бушпритом, который торчал почти отвесно вверх.

Это был американский китобоец, очень ветхий. Однажды в море он дал течь и на всех парусах поспешил к Таити, чтобы там починиться, но оказался совершенно непригодным к дальнейшему плаванию; поэтому китовой жир выгрузили и отправили на родину на другом судне, и разоруженный корпус продали за бесценок.

Прежде чем покинуть Таити, я любопытствовал посетить этот бедный старый корабль, выброшенный на берег чужой земли. Какое волнение охватило меня, когда я увидел на его корме название городка на реке Гудзон! Он пришел сюда с благородного потока, на берегах которого я родился, в водах которого купался сотни раз. На какое-то мгновение пальмы и вязы, пироги и ялики, церковные шпили и стволы бамбука — все

смешалось в одно видение настоящего и прошлого.

Но вернемся к «Джульеточке».

Наконец-то исполнилось желание большинства матросов, и ее ржавый маленький якорь запутался в коралловых рощах на дне бухты Папэте. Это произошло дней через сорок с лишним после того, как мы покинули Маркизские острова.

Паруса не были еще убраны, как к борту подошла шлюпка с нашим почтенным другом, консулом Уилсоном.

— Как же это так, как же это так, мистер Джермин? — начал он с самым свирепым видом, едва ступив на палубу. — Почему вы вошли без распоряжений?

— Вы не приехали к нам, как обещали, сэр; и нечего было болтаться дальше, когда на судне некому работать, — последовал резкий ответ.

— Так эти чертовы негодяи упорствуют, а? Чудесно, я задам им жару, — и с неожиданным бесстрашием он окинул взглядом хмурые лица матросов. Дело тут, конечно, было в том, что теперь он чувствовал себя в большей безопасности, чем тогда, когда находился по ту сторону рифов.

— Соберите мятежников на шканцах, — продолжал Уилсон. — Гоните их на корму, сэр, больных и здоровых. Я кое-что скажу им.

— Итак, матросы, — обратился он к нам, — вы думаете, как я вижу, что добились своего. Вы хотели, чтобы судно вошло в гавань, вот оно и вошло. Капитан Гай на берегу, и вам туда же захотелось. Но насчет этого еще посмотрим... Я вас горько разочарую. — Так он доподлинно выразился. — Мистер Джермин, вызовите тех, кто не отказывался выполнять свои обязанности, и пусть они отойдут на штирборт.

После этого был составлен список «мятежников», как заблагорассудилось консулу назвать остальных. В их число попали и мы с доктором, хотя мой ученый друг вышел вперед и решительно потребовал восстановления в должности, которую он занимал, когда судно покинуло Сидней. А за меня вступился старший помощник, всегда относившийся ко мне дружелюбно; он рассказал об услуге, оказанной мною в позапрошлую ночь, а также о том, как я вел себя, когда он объявил о намерении войти в гавань. Сам же я упорно настаивал, что по смыслу заключенного мною с капитаном Гаем договора время моего пребывания на судне истекло — ибо по той или иной причине, но кампания была фактически окончена — и требовал расчета.

Но Уилсон ничего не желал слышать. Обратив, однако, внимание на то, как я себя держал, он спросил мою фамилию и национальность, а затем заметил с ехидной усмешкой:

— А, понимаю, вы тот самый парень, что написал «раунд-робин»? Уж о вас-то, милый юноша, я позабочусь как следует... отойдите, сэр.

Беднягу Долговязого Духа он обозвал «сиднейским живоглотом»; что он хотел выразить этим благозвучным прозвищем, я, впрочем, при всем желании объяснить не могу. В ответ доктор высказал ему все, что он о нем думал, и консул в бешенстве приказал ему придержать язык, не то он немедленно распорядится привязать его к мачте и выпороть. Обоим нам ничто не могло помочь — о нас судили по той компании, в которой мы находились.

Затем консул отослал всех на бак, ни словом не обмолвившись о своих дальнейших намерениях по отношению к нам.

Поговорив со старшим помощником, он покинул «Джулию» и направился на французский фрегат, стоявший на расстоянии одного кабельтова. Мы стали догадываться о его планах и при создавшемся положении обрадовались им. Через день-два французский военный корабль должен был уйти в Вальпараисо, обычное место встреч английских тихоокеанских эскадр; несомненно, Уилсон собирался перевезти непокорную команду на фрегат, чтобы тот доставил ее в Вальпараисо и передал в руки военно-морских властей. Если такое предположение окажется правильным, то, по мнению наших наиболее опытных товарищей, нас ожидает лишь не слишком приятное плавание на одном из кораблей ее величества и скорое освобождение по прибытии в Портсмут.

И вот мы принялись надевать на себя всю одежду, какую только могли — куртку поверх куртки и штаны поверх штанов, чтобы быть готовыми к отправке в тот самый момент, когда поступит распоряжение. На военных кораблях не разрешают держать ничего лишнего на палубе, а потому, если нас повезут на фрегат, сундуки с их содержимым придется оставить.

Через час первый катер с «Королевы Бланш» подошел к «Джулии», имея на борту восемнадцать или двадцать матросов, вооруженных тесаками и абордажными пистолетами, несколько офицеров, конечно при шпагах, и консула в официальной треуголке, у кого-то позаимствованной для такого случая. Шлюпка была выкрашена в «пиратский черный цвет», ее команда состояла из смуглолицых мрачных парней, а офицеры оказались необыкновенно свирепыми на вид французиками. Все было рассчитано на то, чтобы устрашать, для чего, несомненно, консул их и привез.

Нас снова собрали на корме и стали вызывать по одному; каждому торжественно напоминали, что ему предоставляется последняя возможность избежать наказания, а затем задавали вопрос, продолжает ли он отказываться от выполнения своих обязанностей. Ответ следовал

мгновенно: «Да, сэр, отказываюсь». Кое-кто пускался было в пояснения, но Уилсон прерывал их и приказывал преступнику спуститься в катер. В большинстве случаев это распоряжение немедленно исполнялось, причем некоторые матросы принимались прыгать и скакать, как бы показывая, что они не только полностью сохранили свои физические силы, но и готовы подчиниться любым разумным требованиям.

Все больные, за исключением двух, отобранных для отправки на берег, открыто заявили о своей решимости никогда больше не дотрагиваться до снастей «Джулии», если бы даже они сразу совершенно поправились, и последовали за нами в катер. Они были в прекрасном настроении, в столь прекрасном, что кем-то было высказано сомнение, так ли уж они больны, как утверждают.

Купора выкликнули последним; мы не слышали его ответа, но он остался. О маори никто не вспомнил.

Как только мы отвалили от судна, раздалось троекратное громкое ура, за что Жулик Джек и другие получили строгий нагоняй от консула.

— Прощай, «Джультеточка», — воскликнул Адмиралтейский Боб, когда мы огибали нос нашего судна.

— Не свались за борт, Каболка, — сказал кто-то несчастному сухопутному растяпе, который вместе с Ваймонту, Датчанином и другими, оставшимися на судне, смотрел на нас с бака.

— Прокричим в ее честь еще трижды! — воскликнул Салем, вскакивая на ноги и размахивая шапочкой над головой.

— Эй, ты, проклятый негодяй, — заорал командир отряда, ударив его плашмя шпагой по спине, — веди себя смирно!

Мы с доктором, как наиболее благоразумные, спокойно сидели на носу катера; хотя я не жалел о содеянном, меня одолевали далеко не веселые мысли.

Глава XXVIII

ПРИЕМ, ОКАЗАННЫЙ ФРАНЦУЗАМИ

Через несколько минут мы уже поднимались по трапу фрегата; старший офицер, пожилой желтолицый моряк в плохо сшитом сюртуке с потускневшими золотыми галунами, стоял на палубе и неодобрительно смотрел на нас.

Голова этого господина представляла собой сплошную лысину; ноги у него были как палочки, и вообще вся его физическая мощь, казалось, исчерпала себя в создании огромных усов. Старый Гуммигут, ^[56] как его немедленно окрестили, взял у консула бумагу и, развернув ее, принялся сверять доставленный товар с накладной.

После того как нас тщательно сосчитали, старший офицер вызвал скромного маленького мичмана, и вскоре мы были переданы на попечение полудюжины солдат морской пехоты — молодцов в матросской форме и с ружьями. Предшествуемые каким-то напыщенным служакой (в котором мы по трости и золотому галуноу на рукаве признали матросского старшину), мы направились затем под конвоем вниз по трапам в жилую палубу.

Там нам всем вежливенько надели ручные кандалы, причем человек с бамбуковой тростью проявил о нас исключительную заботу, подобрав каждому кандалы по руке из большой корзины, где их имелся полный набор всех размеров.

Не ожидавшие столь любезного приема, некоторые из нас пытались вежливо отклонить его услуги; но в конце концов их застенчивость была преодолена, а затем и наши ноги засунули в тяжелые железные кольца, расположенные вдоль металлической полосы, прикрепленной болтами к палубе. После этого мы сочли себя окончательно обосновавшимися на новой квартире.

— Черт бы побрал их ржавое железо! — воскликнул доктор. — Знал бы я, так остался бы на «Джулии».

— То-то! — закричал Жулик Джек, — потому-то вас и заковали, доктор Долговязый Дух.

— Не дух, а только руки и ноги, — последовало в ответ.

К нам приставили часового, настоящего оболтуса, который расхаживал взад и вперед со старым зазубренным тесаком самых невероятных размеров. По длине тесака мы решили, что он специально предназначался

для поддержания порядка в толпе — так как им можно было достать через головы, скажем, пяти-шести человек и ударить стоявшего позади.

— Господи помилуй! — с дрожью произнес доктор. — Представляю, каково это, если тебя укокошат подобным орудием.

Мы постились до вечера, когда появился юнга с двумя бачками, содержащими жидкую похлебку шафранного цвета с плавающими по поверхности частицами жира. Молодой шутник сказал нам, что это суп, на самом деле это оказалась всего лишь маслянистая теплая вода. Так или иначе, но нам пришлось ею поужинать, для чего часовой любезно снял с нас наручники. Бачки переходили из рук в руки и вскоре опустели.

На следующее утро, когда часовой стоял к нам спиной, кто-то (мы решили, что это какой-то матрос-англичанин) бросил нам несколько апельсинов; их корки впоследствии служили нам чашками.

На второй день ничего достойного упоминания не произошло. На третий нас позабавила следующая сцена.

Какой-то человек, которого по серебряному свистку, свисавшему с шеи, мы сочли боцманматом, спустился к нам, подталкивая перед собой двух рыдавших юнг; за ними шла целая толпа заливавшихся слезами мальчишек. Эта пара, по-видимому, была по приказу офицера прислана вниз для наказания; остальные сопровождали ее из сочувствия.

Боцманмат без промедления принялся за дело, схватив бедных провинившихся юнцов за их широкие куртки и безжалостно орудуя бамбуковой тростью. Остальные юнги плакали, умоляюще сжимали руки, становились на колени, но все напрасно; боцманмат и до них дотягивался палкой, и тогда они принимались кричать еще в десять раз громче.

Посреди этого шума спустился мичман и с важным видом приказал творившему расправу моряку отправиться на палубу; затем, ринувшись на юнг, он заставил их разбежаться во все стороны.

Адмиралтейский Боб наблюдал за всем происходившим с бесконечным презрением; много лет назад он служил фор-марсовым старшиной на борту линейного корабля. По его мнению, все это была никудышная работа; в английском военном флоте поступают не так.

Глава XXIX

ФРЕГАТ «КОРОЛЕВА БЛАНШ»

Я не могу воздержаться от кратких размышлений по поводу сцены, описанной в конце предыдущей главы.

Нешадное избиение молодых провинившихся моряков, хотя и говорит о плохой дисциплине на французских военных кораблях, может в то же время рассматриваться в качестве явления, до некоторой степени характерного для французского народа.

На американском или английском корабле юнгу, когда его порют, привязывают к казенной части пушки, либо прямо кладут на решетку, как и всех матросов. Но обычно наказание не бывает непосильным. Редко случается, если вообще случается, чтобы молодой проказник издал крик. Он закусывает губы и героически переносит наказание. Если удастся (что бывает не всегда), он старается даже улыбаться. А его товарищи не только не сочувствуют ему, но всегда насмеваются над его несчастьем. Окажись он сопляком и заплачь, они впоследствии наверняка избили бы его втихомолку в каком-нибудь темном закоулке.

Такая суровая школа приносит бесспорные результаты.^[57] Юнга со временем становится настоящим моряком, одинаково готовым отбиваться от дюжины врагов на борту своего корабля или же с тесаком в руке очертя голову броситься на палубу неприятельского. Между тем из молодого француза, как известно всему миру, моряк получается весьма посредственный, и хотя сражается он большей частью довольно хорошо, все-таки по той или иной причине он редко сражается настолько хорошо, чтобы победить.

Как мало морских битв выиграли французы! И больше того, как мало кораблей взяли они на абордаж, а ведь это истинное мерило отваги моряков. Впрочем, ни слова сомнения по поводу храбрости французов — у них ее предостаточно, но не той, какая нужна. Французы успешней сражаются на суше, и пусть на ней и остаются, ибо они в сущности не морская нация. Они лучшие в мире кораблестроители, но не моряки.

Вернемся для примера к «Королеве Бланш», прекраснейшему образцу того, что может быть сделано из дерева и стали, когда-либо плававшему по морю.

Это был новый корабль, совершавший свой первый дальний переход.

В его постройку вложили очень много труда, и он считался первоклассной боевой единицей французского флота. Это один из тех тяжелых шестидесятипушечных фрегатов, которые теперь в моде во всем мире и которые первыми начали строить мы, американцы. В сражении они самые смертоносные корабли из всех, когда-либо сходявших со стапелей.

Пропорции «Королевы Бланш» отличаются тем изяществом, какое можно увидеть только у прекрасных боевых кораблей. Однако на фрегате много ненужных украшений, столь любимых французами, — бронзовых пластин и других пустяков, повсюду назойливо бросающихся в глаза, подобно безделушкам на красивой женщине.

Так, на нем имеется кормовой балкон, поддерживаемый воздетыми руками двух кариатид размерами больше натуральной величины. Вы попадаете на него из каюты командира. При виде роскошных драпировок, зеркал и красного дерева вы почти ждете, что вот-вот появится общество дам, вышедших подышать свежим воздухом.

Но стоит вам очутиться на пушечной палубе, как подобного рода мысли немедленно исчезают. Что за батареи, изрыгающие молнии!.. В каждой батарее одна-две шестидесятисемифунтовые пушки. На спардеке также каронады огромного калибра.

Построенный совсем недавно, этот корабль, конечно, снабжен всеми последними усовершенствованиями. Я очень удивился тому, сколько высокого мастерства было вложено в изготовление исключительно простых вещей. Французы ко всему относятся по-научному; для того, что другие делают при помощи нескольких энергичных ударов, они с наслаждением применяют сложные приспособления из ворота, рычага и винта.

Сколько прихотливости во французских мелодиях! Однажды при обмене принятыми на флоте любезностями мне удалось услышать, как французский оркестр исполнял «Янки Дудл»^[58] с таким обилием вариаций, что только очень сообразительный янки мог бы догадаться, какая вещь игралась.

На французском военном флоте нет морской пехоты; там люди носят ружья по очереди и бывают то матросами, то солдатами; парень, сегодня быстро карабкающийся на мачты в своей парусиновой куртке, завтра стоит часовым у дверей адмиральской каюты. Это роковым образом сказывается на том, что можно назвать подлинной матросской гордостью. Чтобы сделать из кого-нибудь настоящего моряка, его нельзя принуждать к выполнению других обязанностей. В самом деле, истинный моряк ни для чего другого не пригоден; даже больше, именно это обстоятельство лучше всего доказывает, что он настоящий матрос.

На борту «Королевы Бланш» кормили не досыта и не тем, чем надо. Вместо того чтобы заставлять матросов оттачивать зубы о твердые морские сухари, там хлеб пекли ежедневно в виде жалких булочек. Затем команда не получала «грога»; бедняг пичкали слабым кислым вином — соком нескольких виноградин, разведенных в пинте воды. Кроме того, матросы нуждаются в мясе, а им давали суп; замена, как они хорошо понимали, жульническая.

С тех пор как французские матросы покинули родину, они находились на «неполном рационе». В настоящее время те из них, кто прикреплен к шлюпкам (и, стало быть, имеет возможность попадать иногда на берег), продают свой паек хлеба менее счастливым товарищам в шесть раз дороже его истинной стоимости.

Еще одно обстоятельство вызывало недовольство команды: капитан у них был сущий дьявол. Он принадлежал к числу ужасных флотских педантов — больших любителей дисциплины. В порту он постоянно заставлял команду упражняться с реями и парусами, спускать и поднимать шлюпки; а в море матросы вечно занимались учениями, выкатывая и откатывая огромные пушки, словно их руки только для этого и были созданы. На борту находился еще и адмирал; несомненно, он тоже проявлял отеческую заботу о моряках.

Мы не могли не поражаться тому безразличию и той неряшливости, с какими французы относились к исполнению своих повседневных обязанностей. В их движениях не было и следа свойственной этому народу живости; ни следа той быстроты и точности, какие обычно наблюдаются на палубе военного корабля, если там действительно царит образцовый порядок. Впрочем, когда мы узнали причину всего этого, мы перестали удивляться; три четверти экипажа были завербованы насильственно. Старых матросов торговых судов иногда хватали в тот самый день, как они высаживались на берег после далекого плавания; что касается новичков, которых было множество, то их толпами пригоняли из деревень и отправляли в море.

Тогда я был поражен, услышав об отрядах вербовщиков в относительно мирное время; но эта странность объясняется тем, что в последние годы французы строили большой военный флот взамен потопленного Нельсоном в битве при Трафальгаре.^[59] Будем надеяться, что они строят свои корабли не для того, чтобы их захватил народ, живущий по другую сторону Ла-Манша. Сколько французских флагов заполощется на морском ветру, если начнется война!

Хотя я и утверждаю, что французы не моряки, я очень далек от

недооценки их как нации. Они талантливый и доблестный народ. И как американец я горд, что могу сказать это.

Глава XXX

НАС ОТПРАВЛЯЮТ НА БЕРЕГ. ЧТО ПРОИЗОШЛО ТАМ

Если память мне не изменяет, на фрегате мы провели пять дней и пять ночей. На пятые сутки днем нам сказали, что на следующее утро «Королева Бланш» уходит в Вальпараисо. Очень обрадованные, мы молили бога о быстром переходе. Оказалось, однако, что консул и не думает так легко расстаться с нами. К немалому нашему удивлению, под вечер явился офицер и приказал снять с нас кандалы. Затем нас собрали у трапа, погрузили в катер и повезли на берег.

На берегу нас встретил Уилсон и тут же передал в распоряжение большого отряда туземной стражи, которая немедленно отвела нас к какому-то дому, расположенному поблизости. Нам приказали сесть снаружи в тени, а консул и два пожилых европейца проследовали в дом.

Пока там шли приготовления, мы очень забавлялись веселым добродушием нашей стражи. Но вот одного из нас вызвали и велели войти внутрь.

Вернувшись через несколько минут, он сообщил, что ничего особенного нас там не ожидает. Его лишь спросили, продолжает ли он держаться своего прежнего решения; когда он дал утвердительный ответ, на листе бумаги что-то записали и сделали ему знак удалиться. Пригласили всех по очереди и, наконец, дело дошло до меня.

Уилсон и два его приятеля сидели, как судьи, за столом; чернильница, перо и лист бумаги придавали помещению вполне деловой вид. Эти три господина в сюртуках и брюках имели весьма респектабельный облик, во всяком случае в стране, где так редко можно встретить человека в полном костюме. Один из присутствующих пытался напустить на себя важность; но так как у него была короткая шея и полное лицо, то его старания привели лишь к тому, что он казался совершенным глупцом.

Этот джентльмен снизошел до проявления ко мне отеческого интереса. После того как я заявил, что мое решение относительно судна осталось неизменным, и собирался уже по знаку консула уходить, незнакомец вдруг повернулся к нему со словами:

— Подождите, пожалуйста, минуту, мистер Уилсон; дайте мне поговорить с этим юношей. Подойдите сюда, мой молодой друг; меня

крайне огорчает, что вы связались с такими дурными людьми; вы знаете, чем это кончится?

— О, это тот парень, что написал «раунд-робин», — вмешался консул. — Он и мошенник доктор заварили всю кашу... Выйдите, сэр.

Я удалился, пятясь и отвешивая многочисленные поклоны, словно находился в присутствии августейших особ.

Явное предубеждение Уилсона и против доктора и против меня было достаточно понятным. Капитаны всегда недружелюбно относятся к мало-мальски образованному человеку, попавшему к ним матросом; и каким бы мирным характером тот ни обладал, все равно, если возникают волнения, ему приписывают — вследствие его умственного превосходства — тайное подстрекательство против офицеров.

Как ни мало пришлось мне встречаться с капитаном Гаем, уже через неделю после того, как я очутился на «Джулии», он бросал на меня взгляды, достаточно ясно говорившие о его неприязни; усилению этого чувства способствовала моя открытая дружба с Долговязым Духом, которого он одновременно боялся и от всего сердца ненавидел. Отношения, существовавшие между Гаем и консулом, легко объясняют враждебность последнего.

Когда опрос закончился, Уилсон и его приятели подошли к двери; напустив на себя суровый вид, консул принялся распространяться о нашей порочности и крайней безрассудности. Никакой надежды больше у нас не оставалось; последний шанс получить прощение упущен. Теперь, если бы мы даже раскаялись и стали умолять о разрешении вернуться к своим обязанностям, нам все равно не разрешили бы.

— Ну! Катись-ка ты отсюда, консулишка, — воскликнул Черный Дан, пришедший в полное негодование от подобного оскорбления здравого смысла.

Уилсон в ярости велел ему замолчать; затем подозвал толстого старого туземца и, заговорив с ним по-таитянски, отдал ему распоряжение увести нас и засадить в надежное место.

После этого нас построили, и под предводительством старика мы с громкими криками тронулись в путь по красивой тропе, которая уходила вдаль среди широко раскинувшихся роц кокосовых пальм и хлебных деревьев.

Остальные конвоиры в прекрасном настроении торопливо шагали по сторонам, болтая на ломаном английском языке и всячески давая нам понять, что Уилсон не принадлежит к числу их любимцев и что мы ведем себя как настоящие молодцы. По-видимому, они знали всю нашу историю.

Ландшафт вокруг был очаровательный. Тропический день быстро близился к концу; солнце казалось громадным красным костром, горящим в лесу, — его косые лучи пробивались сквозь бесконечные ряды деревьев, и каждый лист трепетно пламенел. Расставшись с тесными палубами фрегата, мы дышали теперь напоенным пряностями воздухом; слышалось журчание ручьев, тихо покачивались зеленые ветви. А далеко в глубине острова, залитые закатом, поднимались спокойные крутые горы.

По мере того как мы подвигались, я все больше и больше восхищался живописностью широкой тенистой дороги. В нескольких местах прочные деревянные мосты были перекинуты через большие потоки; берега других соединяла каменная арка. В любом месте по дороге могли проехать три всадника рядом.

Эту чудесную аллею — самое лучшее, что дала острову цивилизация, — иностранцы по неизвестной мне причине называют «Ракитовой дорогой». Проложенная первоначально для облегчения поездок миссионеров, она тянется вокруг почти всего большого полуострова, миль по крайней мере на шестьдесят, по прибрежной плодородной низменности. Но вблизи от Таирапу, меньшего из полуостровов, дорога сворачивает в узкую уединенную долину и по ней пересекает остров в этом направлении.

Необитаемую внутреннюю часть страны, куда почти невозможно проникнуть из-за густо поросших лесом ущелий, ужасных пропастей и совершенно недоступных крутых горных хребтов, даже сами туземцы знают очень плохо; поэтому, вместо того чтобы двигаться напрямик из одной деревни в другую, они предпочитают идти в обход по Ракитовой дороге.^[60]

Впрочем, по ней путешествуют не только пешком, так как теперь на острове вполне достаточно лошадей. Их завезли из Чили; обладая веселым живым покладистым нравом, свойственным испанской породе, они вполне соответствуют вкусам островитян высших сословий, ставших прекрасными наездниками. Миссионеры и вожди путешествуют только верхом; в любое время дня вы можете видеть, как знатные таитяне мчатся во весь опор. Подобно жителям Сандвичевых островов, они скачут на манер индейцев-поуни.^[61]

Много миль прошел я по Ракитовой дороге, и мне никогда не надоедало любоваться постоянно менявшимся пейзажем. Но куда бы она ни вела вас — по лесистой ли равнине, или вдоль поросших травой ущелий, или через холмы с покачивающимися на ветру пальмами, яркое синее море с одной стороны и зеленые вершины гор с другой никогда не

исчезали из виду.

Глава XXXI

«КАЛАБУСА БЕРЕТАНИ»

Пройдя от деревни с милю, мы остановились.

Это было чудесное место. Здесь у подножия покрытого зеленью склона протекала горная речка. В одном направлении она журча стремилась под уклон и вдали, разлившись по усеянному мелкими блестящими раковинами пляжу, тонкими струями впадала в море; в другом тянулось длинное ущелье, в котором глаз с трудом мог проследить сверкающую извилистую нить, теряющуюся в тени и зелени.

Участок возле дороги был огорожен низким каменным забором грубой кладки, а позади на верхнем краю склона стояла большая туземная хижина овальной формы с ослепительно белой тростниковой крышей.

— Калабуса! Калабуса беретани! (английская тюрьма^[62]) — крикнул наш провожатый, указывая на здание.

Так оно называлось в отличие от подобных же учреждений в деревне Папэте и ее окрестностях, потому что в течение последних нескольких месяцев консул приспособил его в качестве места заключения для проштрафившихся матросов с английских судов.

Несмотря на романтический вид, здание при ближайшем знакомстве оказалось очень мало пригодным для жилья. Коротко говоря, это был просто недавно построенный и еще не законченный остов, со всех сторон открытый ветру. Тут и там, даже под крышей, пучками росла трава. Единственной мебелью были «колодки» — неуклюжая машина для предупреждения побега, которая, насколько мне известно, в большинстве стран уже вышла из моды. Она сохранилась, однако, у испанцев в Южной Америке; оттуда таитяне, по-видимому, и позаимствовали это приспособление, так же как и название, которым они обозначают все места, где содержатся заключенные.

Колодки представляли собой не что иное, как два толстых деревянных бруса длиной футов в двадцать и совершенно одинаковых. Один лежал на земле, а второй клался сверху; в обоих через равные промежутки имелись совпадавшие между собой полукруглые вырезы, назначение которых было понятно с первого взгляда.

Тем временем наш провожатый сообщил, что его зовут «капин Боб» (капитан Боб); он оказался милейшим и добродушнейшим созданием. Это

имя ему очень подходило. С самого начала старик нам так понравился, что мы с радостью признали его своим начальником.

Когда мы вошли в помещение, он заставил нас натаскать охапки сухих листьев и устроить из них ложе позади колодок. Затем ствол небольшой кокосовой пальмы пристроили в качестве изголовья — довольно жесткого, но туземцы к такому привыкли. Вместо подушки они пользуются чуркой с выдолбленным в ней углублением, стоящей на четырех низких ножках — чем-то вроде скамеечки для головы.

Закончив все приготовления, капитан Боб приступил к «устройству» нас на ночь. Верхний брус с одного конца приподняли и уложили нас так, что лодыжки очутились в полукруглых выемках нижнего бруса, после чего верхний опустили; наконец, оба бруса скрепили, надев на них по краям старые железные кольца. Все эти манипуляции совершались под громкий смех туземцев и немало позабавили даже нас.

Капитан Боб принялся хлопотать, как старая бабушка, укладывающая детей спать. Принесли корзину печеного «таро»,^[63] или индийской репы, и нам всем дали по штуке. Затем на всю компанию натянули покрывало из грубой коричневой таппы, и после всяческих увещеваний, чтобы мы «мой-мой» и были «маитаи» — иначе говоря, засыпали и были хорошими ребятами, нас, уложенных в постель и заботливо покрытых одеялом, предоставили самим себе.

Сразу же начались оживленные толки относительно того, что нас ожидает; лишь доктор и я (мы лежали рядом), считая, что наше положение располагает скорее к раздумью, чем к разговорам, хранили молчание. Вскоре и остальные приумолкли и, усталые от беспокойных дней, проведенных на фрегате, крепко заснули.

Очнувшись от мыслей, перескакивавших с одного на другое, я слегка ущипнул доктора, но он спал и, решив последовать его примеру, я больше не тревожил его.

Не знаю, как другим, но мне заснуть оказалось очень трудно. Сознание, что нога пригвождена и невозможно переложить ее в какое-нибудь другое место, было очень неприятно.

Но это еще не все: вы могли лежать только на спине, если, конечно, нога у вас в лодыжке не вращается, как на шарнире. Не приходится удивляться, что когда я погрузился в дремоту, от такого неудобного положения мне привиделся кошмар. Мне приснилось, будто я собираюсь выполнять какое-то гимнастическое упражнение, и, изо всех сил дернув злосчастной ногой, я пробудился с мыслью, что кто-то пытается утащить колодки.

Капитан Боб и его подручные жили в деревушке поблизости. Когда на востоке занялась заря, оттуда же появился и старый джентльмен; выйдя из рощи, он приближался, громко приветствуя нас на ходу. Убедившись, что все уже проснулись, он освободил нас из колодок и, подведя к берегу реки, велел раздеться и выкупаться.

— Все наверх, ребята, ханна-ханна, мыться! — крикнул Боб. Он знал много английских слов и выражений и в молодости, как он нам впоследствии рассказывал, плавал в море.

В это время он был с нами один, и нам ничего не стоило бы от него удрать. Но подобная мысль, казалось, даже не приходила ему в голову; в самом деле, он относился к нам с такой открытой душой и так сердечно, что если бы мы даже и подумывали о побеге, то постыдились бы что-нибудь предпринять в этом направлении. Впрочем, он прекрасно знал (как и мы сами вскоре поняли), что по многим причинам всякая попытка к бегству наверняка окончится неудачей, если заранее не будет подготовлено все необходимое для того, чтобы покинуть остров.

Так как Боб был во всех отношениях необыкновенной личностью, я должен описать его поподробней. На нем лежала какая-то «печать своеобразия»; короче говоря, это был здоровенный гигант больше шести футов ростом, толстый, как сорокаведерная бочка. Путешественники часто упоминали об исключительной дородности многих таитян.

Будучи тюремщиком английского консула, капитан Боб одновременно вел небольшое таитянское хозяйство, то есть был владельцем нескольких рощиц хлебных деревьев и кокосовых пальм и никогда не препятствовал созреванию плодов. Поблизости у него имелся участок земли под таро, на который он иногда навещался.

Земля редко давала Бобу какой-нибудь доход, все шло на собственное потребление. В самом деле, по части обжорства он мог бы перещеголять трех муниципальных советников, налегающих на еду во время публичного банкета.

Один из друзей Боба рассказал мне, что из-за свойственной тому прожорливости в других деревнях островитяне бывают очень недовольны, когда он приходит в гости, ибо таитянский обычай обязывает бесплатно кормить всех пришельцев, и хотя в большинстве случаев в результате взаимных угощений получается одно на одно, с Бобом об этом не могло быть и речи. За один утренний визит он наносил кладовой островитянина такой ущерб, который тот не смог бы возместить, проведя у него все праздники.

Как я уже упоминал, когда-то старик совершил несколько плаваний на

китобойном судне; поэтому он очень гордился своими познаниями в английском языке. Научившись ему в кубрике, он знал в основном лишь матросские выражения, звучавшие довольно забавно в его устах.

Однажды я спросил его, сколько ему лет.

— Лет? — воскликнул он, с глубокомысленным видом задумавшись над такой сложной проблемой. — О, много лет... Тысяча лет... Больше... Большой человек, когда капин Тути (капитан Кук) высел на траверз (на морском языке, показался в виду острова).

Это было невероятно; но, желая поддержать разговор, я сказал:

— Вот как, ты видел капина Тути... Ну, как он тебе понравился?

— О, он маитаи (хороший) друг мне и знать мой жена.

Когда я принялся настойчиво убеждать Боба, что в то время его еще и на свете не было, он объяснил, что имел в виду не себя, а своего отца, который действительно вполне мог видеть Кука.

Любопытный факт — все таитяне, молодые и старые, обязательно скажут вам, что на их долю выпала честь быть лично знакомыми с великим мореплавателем; и если вы будете слушать, они войдут во вкус и начнут вспоминать бесконечные анекдоты. Это происходит исключительно от желания угодить, ибо, как они хорошо знают, для белых нет более приятной темы. Что касается явных несовпадений во времени, то об этом они совершенно не думали: дни и годы для них одно и то же.

После купания на заре Боб снова посадил нас в колодки, причем сам чуть не плакал, подвергая нас такому жестокому обращению; но иначе поступать с нами он, по его словам, не мог из боязни вызвать недовольство консула. Сколько времени нам предстояло пробыть в заключении, он не знал, как не знал и того, что с нами в конце концов сделают.

Приближался полдень, но никаких признаков обеда не было заметно; кто-то из нас поинтересовался, предстоит ли нам не только жить, но и питаться в гостинице «Калабуса».

— Стоп спиль (стоп шпиль, то есть подожди немного), — сказал Боб, — коу-коу (еда) вот-вот прийти с судна.

И вскоре действительно появляется Каболка с деревянной бадьей отвратительных сухарей с «Джулии». Ухмыляясь, он сказал, что это подарок от Уилсона; на сегодня больше ничего нам не полагается. Тут поднялся невероятный крик, и счастье сухопутного растяпы, что у него была пара ног, а матросы своими пользоваться не могли. Мы все единодушно решили, будь что будет, к сухарям не притрагиваться; так мы и заявили туземцам.

Исключительные любители морских сухарей — чем тверже, тем

лучше, — островитяне страшно обрадовались и предложили каждый день давать нам немного печеных плодов хлебного дерева и индийской репы в обмен на сухари. Мы на это согласились, и впоследствии каждое утро, как только появлялась бадья, ее содержимое немедленно вручалось Бобу и его приятелям, и они до самого вечера не переставая жевали.

После того как мы кончали чрезвычайно скромный обед из плодов хлебного дерева, капитан Боб вперевалку подходил к нам с двумя длинными жердями, загнутыми с одного конца, и несколькими корзинами, сплетенными из листьев кокосовой пальмы.

Невдалеке находилась большая роща апельсиновых деревьев, изобиловавших спелыми плодами. По распоряжению Боба, я и еще один человек шли с ним и набирали апельсинов для всей компании. Великолепие этого фруктового сада превосходило все, когда-либо виденное мною; мы с восхищением вдыхали аромат, который распространялся от тихо покачивавшихся ветвей.

Местами деревья давали густую тень, образуя над головой темный шелестящий свод из переплетенных ветвей, украшенный тут и там спелыми плодами, напоминавшими позолоченные шары. Кое-где ветви под их тяжестью сгибались до самой земли, так что ствол прятался в шатре листвы. Очувтившись в глубине рощи, мы уже больше ничего не видели; повсюду вокруг были лишь одни апельсины.

Чтобы плоды не бились, Боб, зацепляя ветку жердью, стряхивал их в подставленную корзину. Но такой способ был не для нас. Ухватив сук, мы обрушивали на землю град плодов, и нашему старому приятелю приходилось от него спасаться.

Не обращая внимания на его протесты, мы устраивались затем в тени и наедались всласть. После этого мы наполняли корзины и возвращались к товарищам, которые встречали наше появление громкими рукоплесканиями; в невероятно короткое время от принесенных апельсинов ничего не оставалось, кроме кожуры.

Пока мы были узниками Калабусы, мы ели фруктов вдоволь. Это послужило одной из причин быстрой поправки наших больных, чье здоровье вскоре более или менее восстановилось.

Апельсины на Таити чудесные — мелкие и сладкие, с тонкой сухой кожурой. Теперь они растут в изобилии, но их совершенно не знали до прихода кораблей Кука, которому островитяне и обязаны такой великой благодатью. Он завез и другие фрукты, в том числе инжир, ананасы и лимоны, теперь встречающиеся редко. Мелкие лимоны еще растут, и некоторые более бедные туземцы выжимают из них сок для продажи

морякам торговых судов. Он очень ценится как противочинготное средство. Польза, принесенная местному населению первыми мореплавателями, посетившими острова Товарищества, не ограничивалась только плодами и овощами, завезенными ими. Во многих местах они оставили также коров и овец. Но о них я подробнее расскажу в дальнейшем.

Таким образом, несмотря на все, что было сделано для островитян за последние годы, Кук и Ванкувер могут считаться, во всяком случае в одном отношении, их величайшими благодетелями.

Глава XXXII

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАНЦУЗОВ НА ТАИТИ

Так как мне довелось попасть на остров в очень интересный период его политической жизни, стоит, пожалуй, сделать небольшое отступление и вкратце остановиться на деятельности французов.

Мои сведения почерпнуты из молвы, ходившей тогда среди туземцев; кое-что я узнал также во время своего следующего посещения Таити и из достоверных отчетов, впоследствии прочитанных мною на родине.

Незадолго до того французы несколько раз пытались основать на Таити католическую миссию. Неизменно подвергаясь оскорблениям, они иногда сталкивались с открытым насилием; и всякий раз тем, кто принимал в затее непосредственное участие, приходилось в конце концов уезжать. В одном случае два католических священника, Лаваль и Казе, претерпев множество гонений, были захвачены туземцами; с ними плохо обращались, а затем доставили на маленькую торговую шхуну, которая впоследствии высадила их на острове Уоллис — очень диком месте, находящемся примерно в двух тысячах миль к западу.

Живущие на Таити английские миссионеры сами не отрицают того факта, что изгнание католических священников произошло с их ведома и согласия. Как мне не раз рассказывали, своими пламенными речами они подстрекали к беспорядкам, предшествовавшим отплытию шхуны. Во всяком случае несомненно, что благодаря неограниченному влиянию на туземцев англичане легко могли бы при желании предотвратить все случившееся.

Как ни печален подобный пример нетерпимости со стороны протестантских миссионеров, он не представляет собой исключения и ни в коей мере не является самым вопиющим. О других случаях я упоминать, однако, не стану, так как о них довольно откровенно писали путешественники, недавно посетившие Таити, и повторять здесь все эти истории нет смысла. К тому же в последнее время миссионеры, в особенности на Сандвичевых островах, стали вести себя в этом отношении лучше.

Возмутительная история с двумя священниками послужила главной (и единственно оправданной) причиной, на основании которой дю Пти-Туар

потребовал удовлетворения и затем захватил остров. Среди прочих он выдвинул также обвинение, что флаг Меренхоута, консула, неоднократно оскорбляли и что собственность одного из французских поселенцев была насильственно отнята гаитянскими властями. В последнем случае туземцы поступили совершенно правильно. В то время закон, запрещающий торговлю спиртными напитками (то и дело отменяемый и вновь восстанавливаемый), был как раз в силе; обнаружив, что Виктор, низкопробный мошенник-авантюрист из Марсея, в большом количестве продает распивочно водку, таитяне объявили его имущество конфискованным.

За эти и другие вымышленные убытки французы потребовали крупное денежное возмещение (10.000 долларов), и так как таитянская казна подобной суммой не располагала, захватили остров, воспользовавшись мнимым договором, продиктованным вождям на пушечной палубе фрегата дю Пти-Туара. Но, несмотря на эту формальность, теперь, по-видимому, можно считать несомненным, что ниспровержение династии Помаре^[64] было решено в Тюильри.

Установив так называемый протекторат, контр-адмирал отплыл, оставив губернатором Брюа, которому помогали чиновники Рэн и Карпепь, назначенные членами Правительственного совета; консул Меренхоут стал теперь королевским комиссаром. Войска, впрочем, были высажены лишь несколько месяцев спустя. К Рэну и Карпеню как к людям туземцы не питали особой неприязни, но Брюа и Меренхоута жестоко ненавидели. Во время нескольких свиданий с несчастной королевой бесчувственный губернатор пытался застрашать ее и добиться согласия на свои требования, хватаясь за шпагу, размахивая кулаком перед ее лицом и ругаясь вовсю. «О король великого народа, — писала Помаре Луи-Филиппу, — освободи нас от этого человека; я и мои подданные не можем больше терпеть его злодеяний. Он бесстыдный человек».

Хотя после отъезда контр-адмирала волнения среди туземцев полностью не прекратились, к открытому насилию они первое время не прибегали. Королева убежала на Эймео, а распри между вождями наряду с неблагоприятным поведением миссионеров мешали объединиться вокруг какого-нибудь единого плана сопротивления. Но большая часть народа, как и его королева, доверчиво рассчитывала на скорое вмешательство Англии — страны, связанной с Таити многочисленными узами и не раз торжественно гарантировавшей его независимость.

Что касается миссионеров, то они открыто не признавали французского губернатора, наивно предсказывая появление эскадр и войск

из Великобритании. Но какое значение имеет благополучие столь крошечной страны, как Таити, для могущественных интересов Франции и Англии! Одна сторона заявила протест, другая ответила, и на том дело кончилось. На этот раз вечно ссорившиеся между собой святой Георгий и святой Денис оказались заодно; и они не собирались скрестить шпаги из-за Таити.

Во время моего пребывания на острове, насколько я мог судить, мало что указывало на какие-либо перемены в управлении. Существовавшие там раньше законы оставались в силе; миссионеров никто не трогал, и повсюду восстановилось относительное спокойствие. Все же иногда мне приходилось слышать, как туземцы нещадно ругали французов (кстати сказать, не пользующихся любовью по всей Полинезии) и горько сожалели, что королева с самого начала не оказала сопротивления.

В доме вождя Адии часто шли споры о том, могут ли таитяне справиться с французами; подсчитывалось количество людей, способных принять участие в военных действиях, и количество ружей у туземцев, обсуждалась также возможность укрепления некоторых высот, господствующих над Папезте. Относя эти симптомы лишь за счет возмущения недавними обидами, а не решимости к сопротивлению, я никак не предполагал, что вскоре после моего отъезда вспыхнет доблестная, хотя и безуспешная война.

В период между моим первым и вторым посещением остров, прежде делившийся на девятнадцать округов, во главе каждого из которых в качестве правителя и судьи стоял туземный вождь, был разделен Брюа на четыре. Во главе их он поставил четырех изменивших своему народу вождей — Китоти, Тати, Утамаи и Парайта; каждому он платил по 1000 долларов, чтобы обеспечить их содействие в проведении своих злокозненных планов.

Первая кровь пролилась при Маханаре на полуострове Таиарапу. Стычка возникла из-за того, что моряки с одного французского корабля захватили нескольких женщин из прибрежного поселения. В этой битве островитяне сражались отчаянно и убили около пятидесяти врагов, потеряв девяносто человек своих. Французские матросы и солдаты, которые, по рассказам, были тогда пьяны и разъярены, не давали пощады; остались в живых лишь те, кому удалось убежать в горы. В дальнейшем произошли битвы при Харарпарпи и при Фараре, которые не принесли захватчикам решающего успеха.

Вскоре после сражения при Харарпарпи обозленные туземцы подстерегли на перевале и убили трех французов. Один из них, Лефевр,

был известный негодяй и шпион, посланный Брюа для того, чтобы провести некоего майора Фергюса (по слухам, поляка) в убежище, где скрывались четыре вождя, которых правитель хотел захватить и казнить. Это событие резко усилило ожесточение обеих сторон.

Примерно в то же время Китоти, продавшийся вождь и послушное орудие в руках Брюа, по наущению последнего, устроил большое празднество в долине Парее и пригласил на него всех своих соплеменников. Цель правителя состояла в том, чтобы переманить на свою сторону возможно больше народу; он в изобилии снабдил приглашенных вином и спиртом, и дело, естественно, кончилось картиной скотского опьянения. Впрочем, пока до этого еще не дошло, несколько островитян выступило с речами. Одна из них, произнесенная пожилым воином, прежним главой знаменитого общества ареоев,^[65] была чрезвычайно показательна.

— Это очень хороший праздник, — сказал нетвердо стоявший на ногах старик, — и вино тоже очень хорошее; но вы, злые Ви-Ви (французы), и вы, вероломные мужи Таити, вы все очень плохие.

По последним сообщениям, бóльшая часть островитян все еще отказывается подчиниться французам, и трудно предугадать, какой оборот могут принять события. Во всяком случае, эти неурядицы должны ускорить окончательное истребление таитянского народа.

Наряду с должностными лицами, назначенными дю Пти-Туаром, на острове осталось несколько французских священников; одна из статей договора обеспечивала им беспрепятственную деятельность по распространению своей религии. Но никто не считал себя обязанным заботиться об их удобствах, а тем более о том, чтобы накормить завтраком в первый день, как они высадились. Правда, у них имелось много золота; но в глазах туземцев оно было проклятием (табу), и до поры до времени они к нему не прикасались. Какой островитянин рискнул бы загубить душу и накликать болезнь на свои хлебные деревья, вступив в сношения с чужеземцами, в которых он видел посланцев папы и дьявола — запах серы еще до сих пор не выветрился из их рясы! В то утро священникам пришлось устроить пикник в роще кокосовых пальм; но до наступления ночи в одном из стоявших поблизости домов им было оказано христианское гостеприимство, оплаченное звонкими долларами.

Английских миссионеров, не пожелавших надлежащим образом принять этих господ, можно, пожалуй, упрекнуть в недостатке вежливости, но последние безусловно повинны в том, что без всякой необходимости поставили себя в такое неудобное положение. Вместо того чтобы

насильственно вторгаться на остров, где население уже приняло христианство, они могли бы с гораздо большими надеждами на успех поселиться на одном из тысяч островов Тихого океана, еще оставшихся языческими.

Глава XXXIII

МЫ ПРИНИМАЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ГОСТИНИЦЕ КАЛАБУСА

Так как место нашего заключения было открыто со всех сторон и находилось вблизи от Ракитовой дороги, все прохожие, конечно, прекрасно видели нас. Поэтому мы не могли пожаловаться на недостаток посетителей из числа такой праздной и любопытной публики, как таитяне. В течение нескольких дней они непрерывно приходили и уходили, между тем как мы, с позорно зажатой в колодке ногой, были вынуждены принимать их лежа.

В это время мы были знаменитостями всей округи; жителей отдаленных поселков, конечно, водили смотреть «кархо-ури» (белых людей), подобно тому как в большом городе приезжих из деревень сопровождают в зоологический сад.

Все это давало нам полную возможность изучать островитян. Мне грустно было видеть, что среди туземцев встречается так много больных и уродов — то были жертвы какой-то опасной болезни, которая при местном лечении в конце концов почти неизбежно поражает мышцы и кости. Особенно часто наблюдается искривление спины, придающее человеку очень безобразный вид и являющееся следствием крайне тяжелой формы этого заболевания.

Описанный телесный недуг, как и многие другие, не был здесь известен до открытия архипелага белыми, но зато среди туземцев встречаются случаи «фа-фа», или элфантиазиса, — местной болезни, широко распространенной здесь с древнейших времен. Она поражает только ноги, которые распухают иногда до размеров человеческого туловища и покрываются чешуей. Можно было бы предположить, что люди с таким недугом не в состоянии ходить; однако, по всей видимости, они подвижны не меньше других, не испытывают, вероятно, никакой боли и переносят свое несчастье с поистине изумительной бодростью.

«Фа-фа» развивается чрезвычайно медленно, и проходят годы, прежде чем нога полностью распухнет. Туземцы называют несколько причин элфантиазиса, или слоновой болезни, но в общем создается такое впечатление, что в большинстве случаев она возникает от употребления в пищу незрелых плодов хлебного дерева и таро.^[66] Насколько я мог

установить, по наследству она не передается. Ни на одной стадии с болезнью не пытаются бороться, считая ее неизлечимой.

Заговорив о «фа-фа», я вспоминаю одного беднягу — матроса, которого я видел впоследствии на Руруту, уединенном островке в двух днях пути от Таити.

Остров очень маленький, и население его почти вымерло. Мы отправили к берегу шлюпку узнать, не удастся ли раздобыть ямс, так как прежде ямс с Руруту славился на окрестных островах не меньше, чем сицилийские апельсины по всему Средиземному морю. Когда я сошел на берег, к величайшему моему удивлению, близ маленькой жалкой церквушки со мной заговорил белый человек, приковылявший из полуразрушенной хижины. Волосы и борода были у него неострижены, лицо мертвенно бледно и измождено, одна нога распухла от «фа-фа» до чудовищных размеров. Раньше мне никогда не приходилось видеть или слышать, чтобы элэфантиазисом болели приезжие, и зрелище это сильно потрясло меня.

Он жил на острове уже много лет. Когда появились первые симптомы, он не хотел верить, что его поразил именно этот ужасный недуг, и надеялся на скорое их исчезновение. Через некоторое время он, однако, понял, что единственный шанс на выздоровление — немедленная перемена климата, но тогда уже ни один капитан не соглашался взять его в свою команду; о том, чтобы уехать пассажиром, не приходилось и думать. Это плохо рекомендует человеколюбие капитанов, но, по правде говоря, тем из них, что плавают в Тихом океане, оно мало свойственно. В наши дни, когда к ним так часто обращаются с призывами быть милосердными, они стали безжалостными.

Я от всего сердца посочувствовал бедняге, но ничего не мог для него сделать, так как наш капитан оставался неумолим.

— Ну и что, — заявил он, — мы только начали шестимесячное плавание... Не могу же я вернуться назад; а ему на острове лучше, чем в море. Пусть уж умирает на Руруту.

Так, вероятно, и случилось.

Позже мне довелось слышать продолжение этой печальной истории от двух матросов. Попытки бедняги покинуть остров все еще ни к чему не повели, и роковая развязка быстро приближалась.

Несмотря на физическое вырождение таитян в целом, среди вождей до сих пор часто можно увидеть людей с очень привлекательной внешностью; иногда встречаются величественные мужчины и миниатюрные женщины, по красоте не уступающие тем нимфам, которые около ста лет назад

плавали вокруг кораблей Уоллиса. Прелесть этих таитянок столь же обольстительна, какой она казалась команде «Баунти»; молодые девушки, кроткие пухленькие существа с мечтательными глазами, в точности соответствуют созданному поэтами идеалу женщины тропиков.

Природный цвет кожи у туземцев обоого пола довольно светлый, но у мужчин, много бывающих на солнце, она значительно темнее. Впрочем, у мужчин смуглая кожа считается большим достоинством — доказательством как физической, так и нравственной силы. Отсюда очень древняя поговорка, распространенная среди таитян:

Если у матери темные щеки,
Сын будет трубить в раковину воина;
Если стан ее крепок, он будет законодателем.

При таком представлении о мужественности, не удивительно, что таитяне считают всех бледных и вялых на вид европейцев слабыми и женственными и только моряка, у которого щеки напоминают цветом грудку жареной индейки, признают за силача или, пользуясь их собственным выражением, за «таата тона» — человека с широкими костями.

Кстати о костях; мне вспоминается отвратительный обычай полинезийцев, ныне вышедший из употребления, изготовлять рыболовные крючки и буравчики из костей своих врагов. В этом отношении они превзошли скандинавов, употреблявших человеческие черепа в качестве чаш и мисок.

Но вернемся к «Калабуса беретани». Велик был интерес, который мы возбуждали у навещавших нас толпами островитян; они могли часами стоять, разговаривая, приходя без всякой причины в большое возбуждение и танцуя вокруг нас со всей живостью, свойственной их племени. Они неизменно принимали нашу сторону, ругали консула и называли его «ита маитаи нуи», то есть очень плохим. Должно быть, они имели против него зуб.

Не отставали по части посещений и женщины, милые создания. В сущности они выказывали даже больше интереса, чем мужчины, и, устремив на нас взор своих красноречивых глаз, что-то говорили с изумительной быстротой. Но, увы! хотя они были любопытны и несомненно испытывали к нам мимолетное сострадание, искреннего чувства проявлялось очень мало и еще меньше сентиментальности. Многие

из них откровенно смеялись над нами, обращая внимание лишь на смешные стороны нашего положения.

Помнится, на второй день заключения какая-то красивая, несколько дикая на вид девушка примчалась к Калабусе и остановилась в некотором отдалении, дерзко уставившись на нас. Она оказалась бессердечной: умирала со смеху, глядя на Черного Дана, который поглаживал свою натертую лодыжку и высказывал при этом кое-какие соображения насчет нравственности консула и капитана Гая. Посмеявшись над ним вволю, девушка затем удостоила своим вниманием остальных, переводя взгляд с одного на другого самым методическим и вызывающим образом. Если что-либо казалось ей комичным, она тут же давала это понять — немедленно тыкала пальцем и, откинувшись назад, закатывалась странным глухим смехом, звучащим наподобие басовых нот музыкального ящика, играющего с закрытой крышкой какую-то веселую мелодию.

Я знал, что и в моей наружности не было ничего, что могло бы обезоружить насмешницу; по правде говоря, трудно было в таких обстоятельствах сохранить хоть сколько-нибудь героический вид. И все же я испытывал большую досаду при мысли, что и до меня дойдет очередь подвергнуться осмеянию со стороны этой озорной чертовки, хотя она и была всего лишь островитянкой. Скажу по секрету, некоторое отношение к такого рода переживаниям имела ее красота; пригвожденный к бревну, одетый весьма неподходящим образом, я тем не менее становился сентиментальным.

Прежде чем ее взгляд упал на меня, я бессознательно принял самую грациозную позу, какую только мог, подпер голову рукой и напустил на себя задумчивый вид. Хотя я отвернулся, но вскоре почувствовал, что у меня начинают гореть щеки, и понял, что она смотрит на меня; щеки мои горели все сильнее, а смеха не слышалось.

Восхитительная мысль! В ней пробудилось сочувствие. Больше я не мог выдержать и поднял взор. И что же! Вот она; ее огромные карие глаза, точно две звездочки, все округлялись и округлялись, тело дрожало от смеха, а на губах играла улыбка, которая могла убить наповал всякое чувство.

Через мгновение она быстро повернулась и, заливаясь смехом, выбежала из Калабусы. На мое счастье, она больше никогда не возвращалась.

Глава XXXIV

ЖИЗНЬ В КАЛАБУСЕ

Прошло несколько дней, и, наконец, наше послушание было вознаграждено кое-какими поблажками со стороны капитана Боба.

Он разрешил всей компании разгуливать целый день на свободе, но велел держаться поблизости, чтобы нас можно было в случае чего окликнуть. Подобное послабление, само собой разумеется, находилось в полном противоречии с распоряжениями Уилсона, а потому он ничего не должен был об этом знать. Вряд ли приходилось опасаться, что туземцы ему расскажут, но иностранцы, проезжавшие по Ракитовой дороге, могли рассказать. Предосторожности ради вдоль дороги были расставлены дозорные. При виде белого человека они поднимали тревогу; тогда мы все устремлялись к своим колодкам (их намеренно оставляли открытыми), затем брус опускался, и мы снова становились узниками. Как только путник исчезал из виду, нас, конечно, освобождали.

Капитан Боб и его приятели ежедневно снабжали нас едой, но ее было очень мало, и мы часто испытывали нестерпимый голод. Мы не могли упрекать их в том, что они не приносили нам больше; как мы вскоре убедились, им приходилось себя урезать, чтобы снабжать нас и этим немногим; к тому же, за свою доброту они ничего не получали, кроме бадьи сухарей каждый день.

У такого народа, как таитяне, «тяжелые времена» в нашем понимании проявляются лишь в недостатке съестного; и все же среди простолюдинов столько нуждающихся, что это наиболее бедственное последствие цивилизации для них, можно сказать, постоянный бич. Правда, туземцы, живущие около Калабусы, имеют в изобилии лимоны и апельсины; но какой от них прок, если они лишь еще сильнее возбуждают аппетит, удовлетворить который нечем? В те периоды года, когда созревают плоды хлебного дерева, островитяне питаются лучше; но в остальное время спрос, предъявляемый экипажами торговых судов, истощает природные ресурсы острова. И так как земля принадлежит главным образом вождям, таитяне низких сословий страдают от их алчности. Если бы простой народ лишили рыболовных сетей, многие умерли бы с голоду.

Капитан Боб постепенно ослаблял свою бдительность, мы стали уходить все дальше и дальше от Калабусы и умудрялись до некоторой

степени восполнять недостаток продовольствия, систематически устраивая фуражировки по всей округе. К счастью, хижины более зажиточных туземцев были открыты для нас так же, как и хижины самых обездоленных; и в тех и в других мы встречали одинаково радушный прием.

Иногда мы попадали к вождю, когда у него во дворе закалывали свинью; пронзительные звуки, которые она издавала, слышны были издали. В таких случаях собирались все соседи, и устраивалось что-то вроде пира, на котором чужестранец был всегда желанным гостем. Поэтому громкий визг звучал в наших ушах музыкой. Он указывал, что где-то по соседству происходит небезынтересное событие.

Неожиданно нагрянув с обычным для нас шумом, мы всегда производили на присутствующих большое впечатление. Иной раз мы приходили, когда свинья была еще жива и сопротивлялась; тогда о ней при нашем приближении и думать забывали. На такой несчастный случай Жулик Джек имел обыкновение являться к месту действия с большим ножом в зубах и с дубинкой в руке. Другие матросы наперебой старались принять участие в опаливании щетины и потрошении. Только мы с доктором Долговязым Духом никогда не вмешивались в приготовления, а приходили к самому пиршеству с нерастраченными силами.

Как и все высокие и тощие люди, мой долговязый приятель обладал исключительным аппетитом. Другие, случалось, мешкали, выбирая, что бы им съесть, но он не терял даром ни секунды.

Он с большой изобретательностью выходил из затруднения, которое мы все по временам испытывали. Островитяне редко солят свою пищу; поэтому он попросил Каболку принести ему с судна немного соли, а если можно, то и перцу. Его просьба была выполнена. Он всыпал все в маленький кожаный мешочек — «обезьянью котомку» (как его называют матросы), который обычно носят на шее, как кошелек.

— По моему скромному разумению, — сказал Долговязый Дух, пряча мешочек, — иностранцу на Таити следует держать нож наготове и солонку на весу.

Глава XXXV

НАС НАВЕЩАЕТ СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Мы прожили на берегу всего несколько дней, когда нам донесли, что по Ракитовой дороге движется доктор Джонсон.

Мы и раньше слышали о замышляемом визите и догадывались о его цели. Так как мы находились в ведении консула, то все расходы по нашему содержанию, конечно, оплачивались им из казенных сумм; поэтому его приятель портовый врач, уверенный в хорошем заработке, надумал дать нам возможность пользоваться его услугами. Правда, было несколько неудобно предлагать нам лекарства, в которых на судне, по его утверждениям, мы совершенно не нуждались. И все же он решил отбросить всякое стеснение и навестить нас.

О его приближении нас предупредил один из дозорных. Кто-то предложил дать ему войти, а затем засадить в колодки. Но Долговязый Дух придумал лучшую шутку. В чем она заключалась, мы вскоре увидели.

Доктор Джонсон подошел с самым вежливым и дружелюбным видом и, положив свою трость на колодки, стал переводить взгляд о одной лежавшей перед ним фигуры на другую.

— Ну, ребята, — начал он, — как вы сегодня себя чувствуете?

Напустив на себя полную серьезность, моряки что-то ответили, и он продолжал:

— А те бедняги, которых я на днях смотрел... я имею в виду больных... как они? — и он принялся испытующе оглядывать всю компанию.

Наконец, он остановил взор на одном матросе, придавшем своему лицу самое страдальческое выражение, и сказал, что у того чрезвычайно больной вид.

— Да, — грустно произнес матрос, — боюсь, доктор, скоро я *отдам концы!* (морское выражение, означающее расставание со здешней жизнью) — Он закрыл глаза и застонал.

— Что он говорит? — спросил Джонсон, с живостью обернувшись.

— Ну, — воскликнул Жулик Джек, взявший на себя обязанности переводчика, — он хочет сказать, что скоро *загнется* (умрет).

— *Загнется!* А что это значит в применении к больному?

— О, понимаю, — сказал он, когда ему объяснили значение этого

слова; и, переступив через колодки, он пощупал у матроса пульс.

— Как его фамилия? — спросил врач, обернувшись на этот раз к старому Адмиралтейскому Бобу.

— Мы называем его Звонарь Джо, — ответила эта почтенная личность.

— Так вот, ребята, вы должны как следует заботиться о бедном Джозефе, а я пришлю ему порошки с указанием, как их принимать. Кто-нибудь из вас, полагаю, умеет читать?

— Вот тот малец умеет, — ответил Боб, махнув рукой в мою сторону, словно указывал на парус в открытом море.

Осмотрев остальных (некоторые были действительно больны, но уже поправлялись, другие только притворялись, будто страдают различными недугами), Джонсон вернулся на прежнее место и обратился к нам со следующими словами:

— Ребята, — сказал он, — если еще кто-нибудь из вас заболит, дайте мне знать. По распоряжению консула я буду навещать вас каждый день; вообще, если кто расхворается, моя обязанность прописать лекарство. Резкое изменение питания после высадки на берег для вас, моряков, чертовски опасно, а потому будьте осторожны при употреблении в пищу фруктов. До свидания! Завтра утром я первым делом пришлю вам лекарства.

Как я склонен подозревать, Джонсон, хотя и не отличавшийся особой сообразительностью, все же смутно догадывался, что мы над ним издеваемся. Однако он решил не обращать внимания на наше поведение, коль скоро оно соответствовало его планам; итак, если он и видел своих пациентов насквозь, то не показывал этого.

В назначенное время действительно появился подросток туземец с маленькой, сплетенной из пальмовых листьев корзинкой, наполненной порошками, коробочками с пилюлями и пузырьками; к каждому лекарству была прикреплена бумажка с фамилией и указанием способа употребления, написанными крупным круглым почерком. Матросы, почему-то решившие, что в некоторых бутылочках содержатся настойки на спирту, сразу набросились на корзинку. Однако доктор Долговязый Дух настаивал на своем праве в качестве врача первым прочесть этикетки, и в конце концов корзина с общего согласия оказалась у него в руках.

Прежде всего была извлечена большая бутылка с наклейкой: «Для Уильяма — хорошенько втирать».

От бутылки определенно пахло спиртным; передавая ее больному, доктор наскоро проверил, годится ли ее содержимое для употребления

внутри, и был ошеломлен результатом.

Тут все страшно взволновались. Порошок и пилюли единодушно признали неходким товаром, а обладателей пузырьков объявили счастливыми. Должно быть, Джонсон достаточно знал матросов, и некоторые лекарства приготовил по их вкусу — так во всяком случае предполагал Долговязый Дух.^[67] Как бы там ни было, к бутылочкам приложились все; и если аромат был приятный, то предписание оставляли без внимания, а содержимое отправлялось по одному и тому же пути.

На самой большой посудине, настоящей бутылки, от которой шел запах жженого бренди, надпись гласила: «Для Даниэля, пить без ограничения, пока не выздоровеет». Черный Дан немедленно к этому приступил и прикончил бы все в один присест, если бы бутылку не удалось после жестокой борьбы вырвать у него из рук и пустить в круговую подобно пиршественному кубку. Старый моряк пожаловался Джонсону на последствия неумеренного поглощения фруктов.

Наведистив нас на следующее утро, наш врач увидел, что его драгоценные пациенты полулежат в ряд за колодками и чувствуют себя «как и следовало ожидать, лучше».

Однако порошки и пилюли, как выяснилось, не принесли никакой пользы — надо думать, потому, что никто их не принимал. Было внесено предложение, чтобы в будущем для усиления их действия вместе с ними присылалась бутылка писко. Как заявил Жулик Джек, ничем не одобренные лекарственные смеси в лучшем случае чересчур сухи, и их необходимо запивать чем-нибудь вкусным.

До поры до времени наш собственный ученый врач, доктор Долговязый Дух, затеявший всю эту проделку, дальнейшего участия в ней не принимал; но при третьем посещении Джонсона он подозвал его и имел с ним приватный разговор. О чем шла у них речь, мы в точности не знали, но по выразительным жестам и мимике я предполагал, что мой приятель описывал симптомы каких-то таинственных нарушений деятельности организма, которые вот-вот должны были наступить. Благодаря знакомству с медицинской терминологией ему, по-видимому, удалось произвести сильное впечатление. В конце концов Джонсон отправился восвояси, пообещав вслух прислать Долговязому Духу то, что он просил.

На следующее утро, как только появился мальчик с лекарствами, доктор первый бросился к нему и отошел с маленькой бутылочкой какой-то пурпурной жидкости. На этот раз в корзинке почти ничего не было, кроме фляги жженого бренди для поддержания сердечной деятельности; после долгих споров одному из пациентов поручили, наконец, наливать ее

содержимое в скорлупу кокосового ореха, и все желавшие смогли пропустить по рюмочке. Когда веселящего снадобья больше не осталось, матросы разбрелись.

Прошло часа два, прежде чем Жулик Джек обратил внимание на моего долговязого друга, о котором со времени ухода мальчика с лекарствами никто не вспоминал. Тот лежал с закрытыми глазами за колодками; Джек поднимал его руку и опускал — она безжизненно падала. Подбежав вместе с остальными, я сразу же связал это явление с таинственной бутылочкой. Поискав в кармане доктора, я нашел ее и, поднеся к носу, убедился, что то был настой опия. Жулик Джек в восторге вырвал пузырек у меня из рук и немедленно сообщил присутствующим о моем открытии; он радостно предложил всем малость вздремнуть. Так как некоторые не поняли его как следует, то в качестве иллюстрации достоинств этого лекарства мы поворочали с боку на бок Долговязого Духа, который казался совершенно бесчувственным и лежал так спокойно, что я несколько заподозрил подлинность его сна. Мысль очень понравилась; все поспешно улеглись, и чудодейственное снадобье пошло по рукам. Каждый, полагая само собой разумеющимся, что он сразу же должен впасть в бесчувственное состояние, отхлебнув немного лекарства, откидывался назад и закрывал глаза.

Опасаться за последствия почти не приходилось, так как наркотик распределили поровну. Однако, желая понаблюдать за его действием, я через некоторое время осторожно приподнялся и осмотрелся по сторонам. Было около полудня, стояла глубокая тишина; так как мы привыкли днем отдыхать, то я не очень удивился тому, что все лежали не шевелясь. Впрочем, кое-кто, как мне показалось, потихоньку подсматривал.

Вскоре я услышал шаги и увидел приближавшегося доктора Джонсона.

Ну и растерянная у него была физиономия, когда он узрел распростертые тела своих больных, погруженных в какой-то загадочный сон.

— Даниэль, — крикнул он, наконец, ткнув тростью в бок названную особу. — Даниэль, приятель, проснитесь! Вы слышите?

Но Черный Дан оставался недвижим, и доктор принялся расталкивать следующего.

— Джозеф, Джозеф! Ну же, проснитесь! Это я, доктор Джонсон.

Однако Звонаря Джо, лежавшего с открытым ртом и закрытыми глазами, нельзя было расшевелить.

— Господи помилуй! — воскликнул Джонсон, воздев к небу руки и трость. — Что с ними? Эй, послушайте, ребята, — кричал он, бегая взад и

вперед, — очнитесь, ребята! Что с вами, черт побери? — Он стучал по колодкам и орал все громче и громче.

Наконец, он успокоился, оперся руками на набалдашник трости и принялся буравить нас глазами. Звуки носового оркестра то усиливались, то затихали, и Джонсону пришла в голову новая мысль.

— Так, так, негодяи, конечно, просто перепились. Ну, это меня не касается... Я ухожу. — И он ушел.

Лишь только он скрылся из виду, как все повскакали на ноги, и раздался веселый смех.

Подобно мне, большинство матросов наблюдало за всем происходившим сквозь неплотно прикрытые веки. К этому времени и доктор Долговязый Дух окончательно проснулся. Какие причины побудили его принять опий, если он действительно его принял, известно только ему; и так как ни меня, ни читателя они не касаются, то не будем больше об этом говорить.

Глава XXXVI

МЫ ПРЕДСТАЕМ ПЕРЕД КОНСУЛОМ И КАПИТАНОМ

Мы были узниками «Калабуса беретани» уже около двух недель, когда однажды утром капитан Боб, вернувшись в чем мать родила после купания, вошел в помещение, держа в охапке кусок старой таппы, и принялся одеваться для выхода.

Процедура была очень простая. Длинное тяжелое полотнище таппы — самого грубого сорта — он прикрепил одним концом к стволу дерева хибискус, поддерживавшему крышу Калабусы, затем отошел на несколько шагов и, обернув другой конец вокруг талии, крутясь приблизился к самому столбу. В этой своеобразной одежде, напоминавшей юбку с фижмами,^[68] он казался еще толще, что особенно бросалось в глаза при его переваливающейся походке. Впрочем, он лишь придерживался обычаев своих предков; в прежние времена «кипи», то есть большой кушак, был в моде и у мужчин и у женщин. Боб с презрением относился ко всяким новшествам и одевался на старинный лад. Он держался старины, этот один из последних «Кихи».^[69]

Боб сказал, что имеет распоряжение доставить нас к консулу. Мы охотно построились; предводительствуемые стариком, который вздыхал и пыхтел, как паровая машина, и под охраной двух десятков туземцев, шествовавших по бокам, мы двинулись к деревне.

Когда мы прибыли в канцелярию консула, то застали там Уилсона и еще нескольких европейцев; они сидели в ряд напротив нас, вероятно для того, чтобы как можно больше походить на судей.

Сбоку стояла кушетка, на которой полулежал капитан Гай. У него был вид выздоравливающего, и, как выяснилось, он предполагал вскоре вернуться на судно. Он ничего не говорил и предоставил действовать консулу.

Тот встал, вытащил какую-то бумагу из большого свертка, перевязанного красной тесьмой, и начал читать вслух.

Это оказалось «данное под присягой письменное показание Джона Джермина, старшего офицера английского колониального барка „Джулия“, командир капитан Гай», представлявшее собой длинный перечень событий,

начиная с того времени, как мы покинули Сидней, и до прибытия в бухту Папее. В этом документе, очень хитро составленном и содержавшем материал против каждого из нас, излагались в общем вполне правильно разные подробности; впрочем, в нем полностью умалчивалось о неоднократных нарушениях долга самим старшим помощником — обстоятельство, придававшее особое значение заключительной фразе: «И больше свидетель ничего не может показать».

Никаких замечаний не последовало, хотя мы все искали глазами старшего помощника, желая убедиться, действительно ли он разрешил использовать подобным образом свое имя. Но Джермина не было.

Следующий прочитанный документ оказался свидетельством под присягой самого капитана. Впрочем, как всегда, он мало что мог сообщить, и с этим делом было скоро покончено.

Третье показание принадлежало матросам, оставшимся на «Джулии», в том числе предателю Затычке, который, как видно, стал доносчиком. Оно состояло с начала до конца из чудовищных преувеличений; подписавшие его, видно, сами не понимали, что городили. Ваймонту, конечно, не понимал, хотя и приложил свою руку. Консул тщетно призывал к тишине, когда читался этот документ; каждый пункт вызывал громкие протесты.

После того как показания были оглашены, Уилсон, все время державшийся чрезвычайно чопорно, с торжественным видом извлек из железного ящика судовой договор — выцветший, заплесневелый, пожелтевший документ, который с трудом можно было разобрать. Кончив читать, консул повернул его, поднял и, указав на подписи команды, стоявшие внизу, спросил всех нас по очереди, признаем ли мы их за свои.

— К чему спрашивать? — заявил Черный Дан. — Капитан Гай не хуже нас знает, что это наши подписи.

— Молчать, сэр! — произнес Уилсон; он рассчитывал произвести впечатление придуманной им смехотворной церемонией и был немало раздосадован прямотой старого матроса.

На несколько мгновений воцарилась тишина; коллегия судей шепотом совещалась с капитаном Гаем, а матросы строили догадки, зачем понадобилось консулу собирать все зачитанные нам показания.

Общее мнение сводилось к тому, что это было сделано с целью «взять нас на пушку», то есть запугать и заставить подчиниться. Так оно и оказалось, ибо Уилсон снова встал и обратился к нам со следующими словами:

— Вы видите, матросы, что приняты все меры для отправки вас в Сидней на суд. «Роза» (маленькая австралийская шхуна, стоявшая на якоре

в гавани) пойдет туда не позже чем через десять дней. «Джулия» отправляется в плавание через неделю. Вы по-прежнему отказываетесь от выполнения своих обязанностей?

Мы отказались.

Консул и капитан переглянулись, и лицо последнего выразило горькое разочарование.

Тут я заметил, что Гай смотрит на меня; в первый раз он заговорил и велел мне подойти. Я сделал несколько шагов.

— Это вас мы подобрали на острове?

— Да, меня.

— Стало быть, это вы обязаны жизнью моему человеколюбию? Вот какова благодарность моряка, мистер Уилсон!

— Вы неправы, сэр. — И я сразу же выложил ему, что прекрасно знаю, почему он послал шлюпку в бухту; у него сильно поредела команда, и он просто хотел пополнить матроса, которого надеялся там найти. Своим избавлением я был обязан судну, и доброта его капитана тут ни при чем.

Доктор Долговязый Дух также пожелал кое-что сказать. Двумя мастерски составленными фразами он обрисовал личность капитана Гая — к полному удовольствию всех присутствующих матросов.

Дело стало принимать серьезный оборот; моряками овладел мятежный дух, и они заговорили о том, не захватить ли им консула и капитана вместе с собой в Калабусу.

Остальные судьи пришли в волнение и принялись призывать к тишине. Наконец, она восстановилась, и Уилсон, обратившись к нам в последний раз, снова упомянул о «Розе» и Сиднее и в заключение напомнил нам, что до отхода «Джулии» осталась неделя.

Предоставив брошенным намекам самим оказывать действие, он отпустил команду, приказав капитану Бобу и его приятелям отвести нас обратно туда, откуда мы пришли.

Глава XXXVII

ФРАНЦУЗСКИЕ СВЯЩЕННИКИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ СВОЕ ПОЧТЕНИЕ

Через несколько дней после только что описанных событий мы бездельничали в «Калабуса беретани», как вдруг нас почтили посещением три французских священника. Единственным знаком внимания к нам со стороны английских миссионеров была присылка ими своих визитных карточек в виде пачки душеспасительных брошюр, а потому мы невольно пришли к заключению, что французы, навестившие нас лично, во всяком случае лучше воспитаны.

В это время они обосновались очень близко от нашего жилья. Небольшая приятная прогулка по Ракитовой дороге, и сквозь деревья уже можно было различить грубый крест; вскоре вы оказывались в самом очаровательном уголке, какой только можно вообразить. На пологом холме росли старые хлебные деревья; впереди саванна, спускавшаяся к роще кокосовых пальм, а в просветах между ними виднелось голубое, залитое солнцем море.

На вершине холма стояла построенная из бамбука простая, очень маленькая часовня, увенчанная крестом. В сумерки туземцы украдкой заглядывали сквозь щели в плетеных стенах и любовались небольшим переносным алтарем с распятием, позолоченными подсвечниками и кадилами. Но дальше любопытство их не шло, и ничто не могло заставить их посещать богослужение. Какое забавное представление создалось у таитян о ненавистных чужестранцах! Мессы и песнопения были не чем иным, как дьявольскими заклинаниями. Что касается самих священников, то они казались им не лучше злых колдунов, подобных тем, какие в старину устрашали их отцов. Близ часовни стояли уютные туземные домики, арендованные у вождя. Здесь, наслаждаясь всеми удобствами, жили священники. На людях они принимали довольно набожный вид, но это ничего не значило; у себя дома они составляли настоящий орден Веселых монахов, устраивали достойные их сана попойки за бесчисленными чашами красного бренди и поздно валялись по утрам в постели.

Прискорбно, что они не могли жениться — прискорбно, я хочу сказать, для местных дам и для нравственности. Ибо для чего было старым холостякам духовного звания держать при себе целый штат нарядных молоденьких туземок-служанок? Эти барышни были первыми их прозелитками — и очень ревностными!

Католических священников, как я уже говорил, считали чародеями; у двоих из наших трех посетителей внешность вполне могла бы оправдать такое мнение.

Это были высохшие французики в длинных прямых рясах черного сукна и уродливых треуголках — таких несообразно больших, что от преподобных отцов, когда они их надевали, как будто ничего не оставалось.

Их товарищ был одет по-иному. На этом широком в кости, дородном пятидесятилетнем здоровяке было что-то вроде желтого фланелевого шлафрока^[70] и широкополая соломенная шляпа. Яркий цвет лица, напоминавший осенний лист, красивые голубые глаза, превосходные зубы и характерный кельтский акцент выдавали в нем ирландца. Это был отец Мэрфи — хорошо известный и очень нелюбимый во всех протестантских миссиях в Полинезии. Юношей его отправили в духовную семинарию во Францию; приняв там пострижение, он после этого лишь два раза побывал на родине.

Отец Мэрфи быстро подошел к нам и первым делом осведомился, нет ли среди нас его земляков. Их оказалось двое. Один был шестнадцатилетний парень — рыжий курчавый мошенник; как полагается молодому ирландцу, его звали Пат. Второго, безобразного и довольно унылого на вид мерзавца, звали Мак-Ги; его жизненная карьера потерпела крушение из-за преждевременной отправки на каторгу в Сидней. Так во всяком случае гласила молва, хотя, возможно, все это было только сплетнями.

Большинство моих товарищей по плаванию обладало какими-нибудь положительными качествами, искупавшими их недостатки, но Мак-Ги представлял исключение; вынужденный общаться с ним, я тысячу раз имел случай пожалеть о том, что он до сих пор не угодил на виселицу. Природа, как бы против своей воли посылая Мак-Ги в этот мир, сделала все возможное, чтобы каждому было ясно, что он за человек. Взглянув ему в глаза, вы уже не могли ошибиться; они противно косили и, казалось, подозревали друг друга.

Сразу же отвернувшись от него, добродушный священник остановил свой взгляд на веселом лице Пата, который с невинно проказливым видом рассматривал огромные шляпы, из-под которых, точно улитки,

выглядывали два маленьких француза.

Пат и священник оба были родом из одного и того же городка в графстве Мит; когда это выяснилось, Мэрфи прямо засыпал юношу вопросами. Пат казался ему как бы весточкой с родины и говорил его сердцу в сто раз больше любого письма.

Земляки долго беседовали, французы сказали несколько слов на ломаном английском языке, а затем наши гости попрощались; но, не пройдя и сотни шагов, отец Мэрфи вернулся и спросил, не нужно ли нам чего-нибудь.

— Нужно, — крикнул кто-то, — чего-нибудь поесть.

Тогда он пообещал прислать немного свежего пшеничного хлеба собственной выпечки; на Таити это была большая роскошь.

Мы все поздравляли Пата с приобретением такого друга и говорили, что теперь его судьба обеспечена.

На следующее утро появился француз, слуга священника, с узелком одежды для нашего молодого ирландца и обещанным хлебом для всей компании. Так как Пат совершенно обносился, а все мы ощущали пустоту в желудке, то приношения оказались очень кстати.

Днем пришел сам отец Мэрфи и в добавление к прежним подаркам дал Пату множество советов; он сказал, что очень огорчен, видя его в тюрьме, и что поговорит с консулом о его освобождении.

Несколько дней мы не видели отца Мэрфи, но затем он снова навестил нас и сообщил Пату о неумолимости консула, отказавшегося выпустить его на свободу, если только он не согласится вернуться на судно. Священник стал убеждать Пата, чтобы он уступил и тем избежал наказания, на которое Уилсон, должно быть, намекнул в беседе с заступником. Молодой ирландец, однако, остался глух к этим просьбам и со всей горячностью едва вкусившего морской жизни матроса заявил о своем намерении держаться до конца. Прямодушный юноша уже больше не походил на маленького кроткого мальчика и так разошелся, что его с трудом удалось успокоить. Священник больше не настаивал.

Как это произошло — то ли в результате разговора Мэрфи с консулом, то ли по другой причине, не знаю, но на следующий день Уилсон прислал за Патом; в сопровождении нашего славного старого стража тот отправился в деревню и вернулся лишь через три дня.

В надежде повлиять на юношу его привели на судно и хорошо угостили в каюте; убедившись, что это ни к чему не повело, его заковали по рукам и по ногам и посадили в трюм на хлеб и воду. Ничего не помогло, и он был отправлен обратно в Калабусу. Уилсон и Гай рассчитывали, что на

него — совсем еще мальчика — суровые меры подействуют скорее, чем на остальных.

Внимание, которое проявлял к Пату его благожелательный земляк, пошло на пользу и всем остальным, в особенности после того, как мы все превратились в католиков и стали каждое утро посещать мессу — к величайшему ужасу капитана Боба. Узнав об этом, он пригрозил не выпускать нас из колодок, если мы еще раз пойдем в часовню. Впрочем, дальше слов дело не пошло, а потому каждые несколько дней мы совершали прогулку к резиденции священника, где нам давали вволю поесть и кое-что выпить. Доктор Долговязый Дух и я особенно полюбились другу Пата; много раз он угощал нас из забавного на вид погребца, хранившегося в одном из углов его жилища. В погребце лежали четыре фляжки, в которых всегда почему-то оставалось как раз столько, что необходимо было их опорожнить. В общем старый ирландец оказался неплохим парнем, хоть и носил рясу. Лицо и душа у него всегда горели. С моей стороны, пожалуй, неблагородно выдавать его слабости, но все же я должен упомянуть, что у него часто заплетался язык, а походка иногда становилась явно нетвердой.

Я никогда не пью французского бренди, но провозглашаю тост за отца Мэрфи. Еще раз за его здоровье! И да обратит он в христианство многих прелестных полинезийцев!

Глава XXXVIII

«ДЖУЛЬЕТОЧКА» УХОДИТ БЕЗ НАС

Чтобы оправдать слова, брошенные в заключение комедии свидетельских показаний, консул по истечении указанного им срока снова распорядился привести нас к себе.

Все началось сначала. Он ничего не добился и отослал нас обратно, чрезвычайно раздосадованный нашим решительным поведением.

Приглядываясь к происходящему, мы представили себе, что Уилсон, ознакомившись впервые с положением на борту «Джулии», обратился к своему больному приятелю, капитану, примерно с такими словами:

— Гай, бедный друг, можете теперь не беспокоиться об этих негодях — ваших матросах. Я их обломаю. Предоставьте все мне и не думайте больше о них.

Но кандалы и колодки, важный вид, угрозы, туманные намеки и показания под присягой — все оказалось тщетным.

Уверенные, что при сложившихся обстоятельствах ничего серьезного для нас не может проистечь, и прекрасно понимая, что в действительности никто никогда и не думал об отправке нас на родину для отдачи под суд, мы видели Уилсона насквозь и потешались над его стараниями.

С тех пор как мы покинули «Джулию», старший помощник ни разу не попался нам на глаза, но мы часто слышали о нем.

Говорили, что он оставался на борту и жил в каюте вместе с Винером, который исполнил свое обещание еще раз навестить его и получил приглашение остаться гостем. Теперь два закадычных друга неплохо проводили время, попивая вино из капитанских бочонков, играя в карты и устраивая вечерние балы для местных дам. Короче говоря, они здорово накуролесили, и миссионеры пожаловались на них консулу; Джермин получил строгий нагоняй.

Это так подействовало на него, что он стал пить еще больше прежнего и как-то днем, будучи сильно навеселе, разбиделся на туземцев, проплывавших в пироге мимо «Джульеты»; он их окликнул, предложив подняться к нему на борт и предъявить документы, а те испугались и стали грести к берегу. Немедленно спустив шлюпку, Джермин вооружил Ваймонту и Датчанина тесаками, сам схватил тесак, и они втроем пустились в погоню, с развевающимся на корме шлюпки судовым флагом.

Перепуганные островитяне вытащили пирогу на берег к с громкими криками помчались по деревне, а старший помощник бежал за ними, яростно размахивая обнаженным оружием. Сразу же собралась толпа, и «кархоури тунни», или сумасшедшего чужестранца, быстро доставили к Уилсону.

Случилось так, что в соседнем туземном доме консул и капитан Гай в это время мирно играли в крибидж,^[71] а со стола не сходил графин. Разбушевавшегося Джермина ввели туда; увидев обоих за таким приятным занятием, он сразу успокоился и стал настаивать, чтобы его допустили к участию в игре и угостили бренди. Так как консул был почти столь же пьян, как и он, а капитан не решился возражать из боязни обидеть старого моряка, они втроем принялись за дело и просидели весь вечер. О проступке старшего помощника лишь вскользь упомянули, а задержавших его отослали прочь.

Это забавное происшествие послужило причиной события, о котором стоит рассказать.

В это время в окрестностях Папеэте скиталась ссохшаяся от преклонного возраста англичанка, настоящее страшилище, известное среди матросов под прозвищем «старая матушка Тот». Она объездила все Южные моря от Новой Зеландии до Сандвичевых островов, устраивая в простых хижинах кабачки для моряков, где те могли получить ром и игральные кости. На островах, на которых обосновались миссионеры, такое поведение считалось строго наказуемым; заведения матушки Тот закрывали, а владелицу заставляли покинуть остров с первым судном, какое только удавалось нанять, чтобы ее куда-нибудь сплавить. Однако с несокрушимым упорством матушка Тот, где бы ни очутилась, принималась опять за старое и в результате повсюду пользовалась большой популярностью.

Опутанный какими-то злыми чарами, за ней повсюду следовал терпеливый одноглазый низенький сапожник, который чинил обувь для белых, стряпал на старуху и безропотно сносил всю ее ругань. Может показаться странным, но он редко расставался с затрепанной библией; как только у него появлялся досуг, а хозяйка отворачивалась, он погружался в чтение священной книги. Эта склонность к благочестию обычно приводила старую каргу в невероятное бешенство; частенько она колачивала его книгой по щекам и даже пыталась ее сжечь. Матушка Тот и ее супруг Джози представляли собой поистине забавную пару.

Но вернемся к моему рассказу.

Примерно через неделю после нашего прибытия в гавань старуху опять поймали на месте преступления и заставили на время отказаться от

своего гнусного промысла. На этом настоял в основном Уилсон, который, по какой-то неизвестной причине, питал жесточайшую ненависть к матушке Тот, отвечавшей ему полной взаимностью.

И вот, проходя вечером мимо дома, где веселились консул и его компания, она заглянула сквозь бамбуковые стены и немедленно решила удовлетворить жажду мщения.

Ночь стояла очень темная; запасшись большим корабельным фонарем, обычно висевшим у нее в хижине, она ожидала, пока кутилы выйдут. Около полуночи Уилсон, наконец, появился в сопровождении двух туземцев, которые вели его под руки. Эта троица шла впереди, и как только она вступила в густую тень, на расстоянии какого-нибудь дюйма от носа Уилсона вспыхнул яркий свет. Старая ведьма стояла перед ним на коленях, держа фонарь в поднятых руках.

— Ха, ха! Мои прекрасный консулишка, — завопила она, — вы подвергаете гонениям одинокую старую женщину за продажу рома, не так ли? А вот теперь вас самого ведут домой пьяного... Тьфу! Вы негодяй, я вас презираю! — И она плюнула в него.

Пораженные ужасом бедные туземцы, непритворно верившие в привидения, бросили дрожавшего консула и разбежались в разные стороны. Излив свою злобу, матушка Тот заковыляла прочь, а трое собутыльников, пошатываясь, побрели кое-как домой.

На другой день после нашей последней встречи с Уилсоном мы узнали, что капитан Гай отправился на борт своего судна и будет набирать новую команду. Нанявшимся обещали хорошее вознаграждение; и тяжелый мешок испанских долларов вместе с судовыми бумагами «Джулии», готовыми для подписи, лежал на голове шпигля.

На берегу обреталось немало безработных матросов; бóльшая часть их составляла организованную шайку во главе с шотландцем Маком, которого они называли коммодором. По законам братской солидарности, ни одному из ее участников не разрешалось наниматься на судно без согласия остальных. Таким образом шайка держала в своих руках весь порт, и всем получившим расчет матросам приходилось присоединяться к ней.

Мак и его ребята прекрасно знали нашу историю; они даже несколько раз приходили к нам в гости. Конечно, как моряки и родственные нам души, они сильно недолюбливали капитана Гая.

Считая вопрос серьезным, они в полном составе явились в Калабусу и пожелали узнать, как мы отнесемся, учитывая все обстоятельства, к тому, если кто-нибудь из них наймется на «Джулию».

Мы хотели только как можно скорей выпроводить судно и ответили,

что никаких возражений не имеем. Некоторые даже стали превозносить «Джулию» до небес, называя ее самым лучшим и самым быстроходным судном на свете. Не забыли отдать должное и Джермину, хорошему парню и моряку до мозга костей; что до капитана, то это человек тихий и никого не побеспокоит. Коротко говоря, мы изощрялись в придумывании любых приманок, а Жулик Джек кончил тем, что торжественно заверил бродяг, будто теперь, когда мы все поправились, только принцип мешает нам самим вернуться на «Джулию».

В результате новая команда, наконец, была набрана; наняли также спокойного уроженца Новой Англии на должность второго помощника и трех бывалых китоловов в качестве гарпунщиков. Пополнили отчасти и судовую баталер-камеру.

Повреждения, полученные «Джулией», починили, насколько это оказалось возможно в таком месте, как Таити. Что касается маори, то власти не разрешили высадить его на берег, и он, закованный в кандалы, отправился в трюме в дальнейшее плавание. Что с ним случилось впоследствии, мы так никогда и не узнали.

Каболка, бедный, бедный Каболка, за несколько дней до того заболевший, остался на берегу в матросском госпитале в Тауноа — маленьком поселении на побережье между Папеете и Матаваи. Там через некоторое время он испустил последний вздох. Никто не знал, чем он хворал, должно быть, он умер от тяжелой жизни. Кое-кто из нас присутствовал при том, как его зарыли в песок, и я поставил простой столб там, где он покоится вечным сном.

Купор и остальные, с самого начала остававшиеся на судне, вошли, конечно, в состав новой команды «Джулии».

Поведение консула и капитана, все время всячески старавшихся, чтобы мы изменили свое решение и вернулись на судно, достаточно понятно, если учесть следующее. Кроме аванса в пятнадцать — двадцать пять долларов, который пришлось выплатить каждому матросу, нанятому на Таити, за каждого завербованного человека следовало внести правительству острова дополнительную сумму в виде портового сбора. Кроме того, новые матросы — за единичными исключениями — нанялись лишь на одно плавание, и, стало быть, их обязаны были рассчитать до того, как судно вернется на родину; поэтому со временем возникнет необходимость раздобыть других людей, понеся такие же затраты. Между тем финансы «Джулии» находились в весьма печальном состоянии, и ее денежный ящик был пуст; чтобы покрыть расходы, пришлось продать за бесценок купцу из Папеете бóльшую часть того ничтожного количества китового жира,

который имелся на борту.

На Таити стояло великолепное воскресное утро, когда капитан Боб вошел переваливаясь в Калабусу и сообщил нам поразительную новость:

— Ах, мой мальчик... Васа судно спесить... ставить паруса...

Другими словами, «Джулия» снялась с якоря.

Берег находился совсем близко и в этом районе был почти необитаем. Мы побежали к морю и увидели на расстоянии кабельтова «Джульеточку», медленно проходившую мимо, — брамсели были поставлены, и какой-то парень на мачте, перекинув ногу через рей, отвязывал фор-бом-брамсель. На палубе царили оживление и суматоха; матросы на баке с пением «Навались веселее, ребята!» крепили якорь, а доблестный Джермин, как всегда с непокрытой головой, взобравшись на бушприт, отдавал приказания. Около рулевого стоял капитан Гай, со спокойным видом джентльмена покуривая сигару. Вскоре судно приблизилось к рифу; изменив курс, оно проскользнуло сквозь проход и ушло своим путем.

Так, простояв в гавани около трех недель, скрылась, наконец, «Джульеточка» за горизонтом; больше никогда я о ней ничего не слышал.

Глава XXXIX

ДЖЕРМИН ОКАЗЫВАЕТ НАМ БОЛЬШУЮ УСЛУГУ. ДРУЖБА В ПОЛИНЕЗИИ

Избавившись от «Джулии», мы горели нетерпением поскорее узнать, как собираются теперь поступить с нами. Капитан Боб об этом ничего не мог сказать, разве лишь то, что он по-прежнему считает себя обязанным сторожить нас. Впрочем, он перестал укладывать нас спать, и мы были полностью предоставлены самим себе.

На следующий день после ухода «Джулии» старик явился сильно опечаленный и сообщил, что Уилсон отказался присылать нам что-либо взамен бадьи с сухарями, которая больше не будет доставляться. Мы все как один приняли это за намек, что можем спокойно разойтись и заняться своими делами. Но так легко от нас не должны были избавиться; находя злобное удовольствие в том, чтобы досадить нашему заклятому врагу, мы решили пока оставаться на месте.

Роль, которую консул сыграл в нашем деле, сделала его посмешищем в глазах всех белых, живших на побережье, и они без конца издевались над ним по поводу его многообещающих подопечных из «Калабуса беретани».

Мы не имели никаких средств к существованию, а потому, пока оставались на острове, трудно было рассчитывать на лучшее пристанище, чем у капитана Боба. К тому же мы искренне полюбили старика и не представляли себе, как расстанемся с ним. Итак, сказав ему, чтобы он больше не заботился об одежде и пище для нас, мы решили сами снабжать себя всем необходимым, расширив и придав систематический характер нашим фуражировочным операциям.

Большую помощь нам оказал неожиданный подарок, оставленный на прощание Джермином. Ему мы были обязаны тем, что наши сундуки со всем их содержимым отправили на берег. Их передали на хранение одному второстепенному вождю, обитавшему поблизости; консул распорядился, чтобы сундуки нам не отдавали, но мы могли когда угодно приходить и брать что-либо из своей одежды.

Мы отправились к старому вождю Махини; капитан Боб пошел с нами и решительно потребовал выдачи нашего имущества. Наконец, это было

сделано, и туземцы торжественно принесли сундуки в Калабусу. Там мы их расставили со вкусом, и помещение приобрело столь изысканный вид, что в глазах старого Боба и его приятелей «Калабуса беретани» стала самым пышным салоном на Таити.

Все время, пока она была так обставлена, в ней происходили заседания туземного суда здешнего округа; судья Махини и его коллеги сидели на одном из сундуков, а обвиняемые и зрители лежали на земле, растянувшись во весь рост, кто внутри здания, а кто снаружи в тени деревьев. Нагнувшись над колодками, словно с галереи, почтенная команда «Джулии» наблюдала за происходившим, оживленно обмениваясь мнениями.

Я забыл упомянуть, что до отплытия судна матросы выменяли на пищу всю одежду, без которой могли хоть как-нибудь обойтись, но теперь они решили быть более бережливыми.

Чего только не было в наших сундуках: принадлежности для шитья, свайки, лоскуты ситца, обрывки веревки, складные ножи — одним словом почти все, что может понадобиться моряку. Но из одежды не сохранилось ничего, кроме старых курток, остатков фланелевых рубашек, отдельных штанин и — кое у кого — рваных чулок. Все это представляло, впрочем, определенную ценность, так как более бедные из таитян очень падки на любые европейские вещи. Их привозят из «Беретани, фенуа парари» (Британии, страны чудес), и этого достаточно.

Самые сундуки считались большой драгоценностью, в особенности если замок не был сломан, исправно щелкал и владелец мог разгуливать с ключом. Всякие царапины и вмятины рассматривались, однако, как крупные изъяны. Одного старика, очарованного принадлежавшим доктору большим сундуком красного дерева (кстати, изрядно набитым) и испытавшего бесконечное удовольствие, если ему просто удавалось посидеть на нем, как-то застали за тем, что он прикладывал целебную мазь к ужасной царапине, портившей красоту крышки.

Трудно передать, какую любовь питают таитяне к матросским сундукам. Они служат лучшим украшением домашней обстановки, и каждая женщина с утра до вечера пилит своего мужа, чтобы тот не сидел сложа руки, а достал ей в подарок столь замечательную вещь. Когда сундук удастся раздобыть, женщины приходят в такой восторг, какого никогда не вызывает ни одна консоль,^[72] только что поставленная в гостиной. Вот по этим-то причинам возвращение нам нашего имущества оказалось важным событием.

Островитяне мало чем отличаются от других народов; новость о том,

что мы разбогатели, доставила нам кучу «тайо», или друзей, по национальной традиции жаждавших заключить с нами союз и исполнять малейшие наши желания.

Поистине любопытное обыкновение полинезийцев вступать в тесную дружбу при первом же знакомстве заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее. Хотя у такого народа, как таитяне, уже испорченного развращающим влиянием, этот обычай в большинстве случаев выродился в чисто корыстные связи, тем не менее в его основе лежит прекрасное, подчас героическое чувство, которое прежде было свойственно их отцам.

В анналах острова имеются примеры необыкновенной дружбы, не уступающие истории Дамона и Финтия,^[73] пожалуй, даже еще более изумительные. Ибо во имя дружбы жертвовали всем — подчас жизнью, хотя нередко дружеские чувства возникали с первого взгляда и притом к незнакомому человеку с другого острова.

Полинезийцы проникались к первым посетившим их европейцам такой любовью, так восхищались ими, что немедленно проявляли всю полноту своих чувств предложением дружбы. Поэтому в описании старинных путешествий мы читаем о вождях, которые приезжали на пирогах с берега и странными ужимками выражали свое желание подружиться. Их подданные подобным же образом приветствовали матросов. Такой обычай сохранился на некоторых островах до нашего времени.

На расстоянии нескольких дней пути от Таити расположен островок, редко посещаемый европейскими и американскими моряками; как-то туда пристало судно, на котором я тогда плывал.

Разумеется, у каждого из нас сразу завелся друг среди простодушных туземцев. Моим другом был красивый юноша по имени Поки; что бы он ни делал для меня, ему все казалось мало.

Каждое утро на заре появлялась его пирога, нагруженная всевозможными плодами; разгрузив, он привязывал ее к бушприту, где она покачивалась весь день, всегда готовая к тому, чтобы доставить своего хозяина на берег для выполнения какого-нибудь поручения.

Убедившись в неослабной приязни Поки, я как-то сказал ему, что я большой любитель раковин и всякого рода редкостей. Этого оказалось достаточно: он отправился на лодке в глубь бухты и целые сутки не появлялся. На следующее утро показалась его пирога, медленно скользившая вдоль берега; большая ветка, покрытая густой листвой, служила ей парусом. Чтобы не подмочить груз, он построил ближе к носу

пироги нечто вроде помоста с перилами, сплетенными из прутьев; на помосте лежала куча желтых бананов, раковины каури, молодые кокосовые орехи и ветвистые стволы красных кораллов; кроме того, там было несколько кусков дерева с резьбой, маленький карманный идол, черный как смоль, и свертки набивной таппы.

Когда команде дали день отдыха и я съехал на берег, Поки, конечно, сопровождал мне и служил провожатым. Никто на свете не мог исполнять эту обязанность лучше, чем он; его родной остров был невелик, и он знал на нем каждую пядь. Сопровождая меня повсюду, он останавливал всех встречных и торжественно представлял своему «тайо кархоури», или лучшему белому другу.

Он показал мне всех местных львов, а главное, повел меня посмотреть на очаровательную львицу — молодую девушку, дочь вождя, слава о красоте которой распространилась на соседние острова и даже оттуда привлекала поклонников. К числу последних относился Тубои, наследник Таматоя, короля Рапатеа — одного из островов Товарищества. Девушка была действительно хороша собой. Взгляд ее лучистых глаз приводил в восхищение, а гибкая тонкая рука, выглядывавшая из-под причудливого одеяния из таппы, казалась воплощением красоты.

Хотя услугам Поки не было конца, он ни разу не заикнулся о вознаграждении, но подчас выражение его лица выдавало питаемые им надежды.

Наконец, наступил день отплытия, и пирога моего друга явилась нагруженная доверху запасами плодов. Я отдал ему все, что мог выделить из моего сундука, а затем вышел на палубу и занял свое место у шпигеля, так как уже приступали к подъему якоря. Поки последовал за мной и стал толкать ту же вымбовку, что и я.

Вскоре якорь был поднят, и мы направились к выходу из бухты, таща за собой на буксире свыше двадцати лодок. Наконец, они нас покинули; но пока пирога Поки не исчезла окончательно из виду, я мог различить его одинокую фигуру, неподвижно стоявшую на носу.

Глава XL

МЫ ОБЗАВОДИМСЯ ДРУЗЬЯМИ

Прибытие сундуков сделало моего друга доктора самым богатым человеком в нашей компании. Это было очень кстати для меня, ибо я сам почти ничего не имел; однако благодаря моим приятельским отношениям с Долговязым Духом туземцы добивались моей благосклонности столь же рьяно, как и его.

На дружбу со мной претендовал среди прочих Кулу; это был довольно красивый юноша, истинный щеголь в своем роде, и я принял его предложение. Таким путем я избежал приставаний остальных; надо сказать, что таитяне, не очень склонные к ревности в делах любви, не терпят соперников в дружбе.

Перечисляя свои достоинства как друга, Кулу прежде всего сообщил мне, что он «миконари», подразумевая под этим приобщение к христианству.

Для выражения своей привязанности ко мне мой «тайо» без конца повторял, что любит меня «нуи, нуи, нуи», то есть безгранично. По всем Южным морям слово «нуи» означает большое количество, и его повторение равносильно приписыванию нолей справа от цифры; чем больше вы их наставите, тем больше будет число. Судите же, как относился ко мне Кулу. Упоминание о нолях не так уж здесь неуместно, поскольку выражения чувств Кулу сами по себе оказались ничего не значащими. Он был, увы, медью звенящей и кимвалом бряцающим^[74] — одним из тех, кто откликается музыкой только на звон серебра.

За несколько дней у матросов, как и у меня с доктором, выманили последние пожитки, и наши «тайо» все без исключения заметно охладели. Они стали так нерадиво относиться к своим обязанностям, что мы не могли больше рассчитывать на ежедневную доставку провизии, торжественно обещанную ими.

Кулу, хорошенько поживившись за мой счет, как-то утром разыграл роль охладевшего любовника, сообщив мне, что его чувства изменились: он полюбил с первого взгляда франтоватого матроса, который недавно высадился на острове с набитым кошельком после удачной охоты на китов.

Это было трогательное свидание, положившее конец нашим отношениям. Впрочем, охватившая меня печаль немедленно рассеялась бы,

если бы моя чувствительность не была задета неделикатным поведением Кулу: очень скоро, после того как он перенес свою привязанность на другого, он стал щеголять в моих подарках. Почти не проходило дня, чтобы я не встретил его на Ракитовой дороге, разгуливающим в полосатой фуфайке, которую я отдал ему в более счастливые времена.

Кулу проходил неторопливой фланирующей походкой, с приятной улыбкой смотрел мне в глаза, и мы обменивались на ходу лишь холодным приветствием «здорово», как говорят при встрече с шапочным знакомым. После нескольких таких случаев я стал к Кулу относиться с некоторым уважением, как к вполне светскому человеку. Действительно, он и был человек светский; через неделю он уже меня не замечал и проходил мимо, даже не кивнув, принимая меня, должно быть, за какую-то подробность ландшафта.

Прежде чем сундуки совершенно опустели, мы устроили в реке большую стирку нашей лучшей одежды — хотели принять более опрятный вид и посетить европейскую церковь в деревне. Каждое воскресенье по утрам там происходило богослужение, которое совершал кто-нибудь из членов миссии. Это был первый случай, когда мы явились в Папеэте, не сопровождаемые стражей.

В церкви присутствовало человек сорок, в том числе офицеры нескольких судов, стоявших в гавани. Проповедник говорил очень горячо, то и дело стуча кулаком по кафедре. На почетном месте в этом божьем доме сидел прямой, как палка, наш любимый опекун Уилсон. До конца дней моих не забуду изумленного лица консула, когда любезные его сердцу подопечные вошли в церковь и заняли места как раз против него.

По окончании службы мы подождали снаружи, надеясь еще раз увидеть Уилсона; но, глубоко огорчившись при виде нас, он наблюдал за нами в окно и не вышел до тех пор, пока мы не отправились домой.

Глава XLІ

МЫ ВЗИМАЕМ КОНТРИБУЦИЮ С СУДОВ

Не прошло и недели после ухода «Джулии», как некоторые из нас, объятые духом беспокойства, каким славятся повсюду моряки, стали уже скучать в «Калабуса беретани»; они решили отправиться в порт на суда предлагать свои услуги.

Сказано — сделано: несмотря, однако, на настойчивые рекомендации commodора береговых бродяг, капитаны, к которым наши матросы обращались, в конце концов неизменно говорили, что они не подходят, потому что пользуются в порту не слишком хорошей репутацией. Подобных отказов было получено немало, поэтому мы отбросили почти всякую надежду покинуть остров таким способом, и, снова став домоседами, спокойно жили у капитана Боба.

Примерно в это время, завершив промысловый сезон, в бухту Папееэте начали прибывать китобойные суда, и, конечно, их команды частенько навещали нас. Это обычная история по всему Тихому океану. Едва матросы сходят на берег, как отправляются прямо в Калабусу, где почти наверняка застают какого-нибудь беднягу, попавшего в заключение за дезертирство или по обвинению в мятеже, или еще за что-нибудь в этом роде. Посетители не скупятся на сочувствие, а в случае нужды и на табак. Последний, впрочем, пользуется бóльшим спросом — в качестве утешения он в тюрьме незаменим.

Так как мы одержали доблестную победу и над консулом и над капитаном, то эти филантропы проявляли по отношению к нам особенно большой интерес и от души одобряли наше поведение. Кроме того, они неизменно приносили с собой что-нибудь освежающее, иногда захватывая даже немного писко. Один раз, когда собралось много народу, пустили в круговую тыквенную бутылку и устроили денежный сбор в нашу пользу.

Как-то один из наших гостей предложил, чтобы двое или трое из нас тайком навести его ночью на судне, и обязался при расставании хорошенько нагрузить их провизией. Мысль была неплохая, и мы не замедлили ее осуществить. С тех пор каждую ночь мы навещали то одно, то другое из стоявших в гавани судов, заимствуя для этой цели пирогу капитана Боба. Так как мы делали это по очереди по двое, наступил черед и

для нас с Долговязым Духом; матросы всегда считали нас неразлучными. В таких делах я не слишком надеялся на доктора, ибо он не был моряком, зато обладал очень высоким ростом, а пирога — самое капризное из всех средств передвижения по воде; однако ничего нельзя было поделывать, и мы отправились.

Но прежде чем продолжать, надо сказать несколько слов о пирогах. На островах Товарищества мастерство их постройки, как и все туземные искусства, в большом упадке; теперь пироги там самые неизящные и самые ненадежные из всех, плавающих в Южных морях. Во времена Кука, как он сам пишет, королевский флот на Таити насчитывал семьсот двадцать больших военных пирог, покрытых красивой резьбой и имевших другие украшения. В наши дни в ходу лишь совсем маленькие — просто выдолбленные бревна, заостренные с одного конца и в таком виде спущенные на воду.

Чтобы придать лодкам некоторую устойчивость, таитяне, как и все полинезийцы, прикрепляют к ним так называемый «балансир». Он представляет собой жердь, лежащую на воде параллельно пироге и прикрепленную к ней двумя деревянными поперечинами длиной в ярд или несколько больше. Снабженная таким приспособлением пирога может опрокинуться лишь в том случае, если жердь перестанет держаться на воде или окажется полностью в воздухе.

«Гичка» капитана Боба была чрезвычайно мала, так мала и так причудлива по форме, что матросы окрестили ее «коробочкой для пилюль», и все ее знали под этим названием. На самом деле она представляла собой что-то вроде «одноместного экипажа», рассчитанного на одного гребца, в крайнем случае способного выдержать двоих или троих. Балансиром служила тонкая жердь, которая то выскакивала из воды, то погружалась в нее.

Приняв на себя командование экспедицией, я усадил долговязого доктора с веслом на носу, а затем, оттолкнувшись, вскочил на корму; таким образом, вся работа выпала на долю доктора, а для себя я сохранил почетную синекуру рулевого. Все шло бы хорошо, если бы мой гребец не орудовал так неуклюже, что вода взлетала фонтанами и непрерывно обдавала нас с головы до ног. Тем не менее доктор продолжал усердно работать веслом; решив, что через некоторое время у него дело пойдет, я не мешал ему. Вскоре, однако, насквозь промокнув от той маленькой бури, которую мы поднимали, и не видя никаких признаков ее прекращения, я стал умолять своего спутника ради всего святого остановиться и дать мне возможность выжать одежду. Тут он резко повернулся, пирога накрылась,

балансир взмыл вверх, в следующее мгновение задел его по черепу, и мы оба очутились в воде.

К счастью, мы находились как раз над коралловым рифом, и глубина там не достигала и полусажени. Наклонив набок затонувшую пирогу, мы быстро отпустили ее, она подпрыгнула и почти вся вода из нее вылилась; остальное мы без труда вычерпали и снова уселись. На этот раз мой товарищ скрючился, заняв очень мало места: я приказал ему не делать ни одного лишнего вздоха и принялся сам управлять с лодкой. Меня удивила покорность доктора, не произнесшего ни слова и не шевелившего ни рукой, ни ногой; дело, однако, было в том, что он не умел плавать, а в случае еще одной неудачи коралловых рифов под ногами могло не оказаться.

— Утонуть — это очень жалкий способ расставания с жизнью, — воскликнул он, когда я стал над ним подшучивать, — и я не собираюсь опозорить себя им.

Наконец, гребя с большой осторожностью, чтобы нас не окликнули со шканцев, мы приблизились к судну. Проскользнув под его носом, мы услышали тихий свист — условный сигнал — и вскоре нам был спущен мешок основательных размеров.

Перерезав конец, мы принялись как можно скорей грести к берегу и благополучно прибыли домой. Там нас с нетерпением поджидали остальные.

Мешок оказался плотно набитым вареным сладким картофелем, кусками соленой говядины и свинины и знаменитым матросским пудингом, который делается из муки и воды и по твердости несколько напоминает недостаточно обожженный кирпич. Запасшись такими тонкими кушаньями и хорошим аппетитом, мы вышли из Калабусы и при лунном свете устроили ночное пиршество.

Глава XLII

МОТУ-ОТУ. ТАИТЯНСКИЙ КАЗУИСТ

«Коробочкой для пилюль» мы иногда пользовались не только для тех целей, что были описаны в предыдущей главе. Иногда мы катались на ней для развлечения.

Как раз посередине бухты Папеете расположен веселый зеленый островок круглой формы — сплошная роща покачивающихся пальм, имеющая в поперечнике не больше сотни ярдов. Островок кораллового происхождения; вокруг на сотню футов бухта настолько мелка, что повсюду можно передвигаться вброд. В воде, прозрачной, как воздух, вы видите кораллы всевозможных оттенков и форм: олени рога, лазурные кусты, гибкие тростинки, которые напоминают стебли злака, бледно-зеленые бутоны и мхи. Местами сквозь колючие ветви вы различаете белоснежное песчаное дно, усеянное каменными выступами; среди них ползают какие-то странные создания: одни щетинятся шипами, другие одеты в блестящий панцирь; тут и там шевелятся шарики, целиком усеянные глазами.

Остров называется Моту-Оту; светлыми лунными ночами я часто плавал на пироге вокруг него, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться подводными садами.

Моту-Оту — частная собственность королевы; там находится ее резиденция — унылый ряд бамбуковых домов, стоящих без присмотра среди деревьев и постепенно разрушающихся.

Остров господствует над гаванью, и ее величество сделала все возможное, чтобы превратить его в крепость. Берег был поднят и выровнен, и на нем возвели низкий вал из обтесанных коралловых глыб. Позади вала выстроились на большом расстоянии друг от друга ржавые старые пушки различных образцов и калибров. Они стоят на покосившихся ветхих лафетах, готовых обрушиться под тяжестью бесполезного груза. Иные из лафетов уже покончили счеты с жизнью, и пушки, которые они прежде поддерживали, лежат полузасыпанные песком среди их побелевших костей. Часть пушек заряжена — вероятно, чтобы они казались более страшными, какими они, несомненно, и являются для всякого, кто попытался бы из них выстрелить.

Подаренные Помаре в разное время капитанами английских военных

кораблей, эти бедные старые «грозные силы войны» стоят здесь совершенно безобидные и обреченные на гибель, а ведь некогда они лаяли по всем морям целыми сворами боевых псов Старой Англии.

В Моту-Оту было что-то, поразившее мое воображение, и я дал обет вступить на его землю, несмотря на старого часового с непокрытой головой, который грозил мне при лунном свете своим безобразным ружьем. Так как моя пирога сидела в воде не глубже чем на три дюйма, я мог подгрести к самому валу, не опасаясь застрять на мели. Однако всякий раз как я приближался, старик бежал ко мне, держа ружье наперевес, но никогда не прикладывая его к плечу. Думая, что он только пугает меня, я в конце концов решился подогнать пирогу к самой стене и собирался прыгнуть. Это был самый опрометчивый поступок в моей жизни, ибо никогда еще человеческой макушке не грозила такая неминуемая опасность быть проломленной. Престарелый страж замахнулся прикладом ружья, и я едва успел уклониться от страшного удара; вынужденный обратиться в бегство, я кое-как отгреб на безопасное расстояние.

Страж этот, вероятно, был немой, так как за все время не проронил ни слова; с улыбкой до ушей, в белой хлопчатобумажной мантии, залитой лунным светом, он походил скорее на какого-то духа острова, чем на человека.

Я пытался достигнуть цели, атакуя стража с тыла, но он всегда вырастал передо мною, перебегая по берегу, пока я греб, и грозя мне своим проклятым ружьем, куда бы я ни двинулся. В конце концов мне пришлось отступить, и мой обет по сие время так и остался невыполненным.

Через несколько дней после неудачи, которую я потерпел под стенами Моту-Оту, я присутствовал при забавном споре, возникшем между одним из самых умных и сообразительных туземцев из всех виденных мною на Таити, человеком по имени Архиту, и нашим ученым мужем — доктором.

Речь шла о следующем: имеет ли право кто-либо, будучи туземцем, праздновать европейское воскресенье вместо дня, установленного миссионерами в качестве воскресенья для всех островитян.

Надо пояснить, что миссионеры со славного корабля «Дафф», которые свыше полувека назад ввели наше летосчисление на Таити, прибыли туда, следуя вокруг мыса Доброй Надежды; плывя на восток, они потеряли таким образом один драгоценный день своей жизни, обогнав примерно на сутки гринвичское время. Поэтому корабли, идущие вокруг мыса Горн (как это теперь чаще всего бывает), обнаруживают, что на Таити воскресенье приходится на день, по их мнению являющийся субботой. Но так как

исправлять даты в судовом журнале не полагается, то моряки празднуют свое воскресенье, а островитяне свое.

Эта путаница очень озадачивает бедных туземцев, но пытаться втолковать им столь непостижимое явление совершенно бесполезно. Однажды мне довелось наблюдать, как почтенный старый миссионер старался пролить некоторый свет в этом вопросе; хотя я почти ни слова не понимал, смысл его объяснений был мне вполне ясен. Они сводились примерно к следующему:

— Вот видите, — говорит миссионер, — этот круг, — он чертит палкой на земле большой круг. — Прекрасно; теперь видите вот это место, — ставит точку на окружности, — ну, это Беретани (Англия), и я плыву по кругу на Таити. Итак, вот я двигаюсь, — он идет по кругу, — а вот движется солнце, — он подбирает другую палку и поручает кривоногому туземцу путешествовать с ней по кругу в обратном направлении. — Итак, мы оба пустились в путь, и оба уходим все дальше друг от друга; и вот, видите, я прибыл на Таити, — внезапно останавливается, — а посмотрите теперь, где Кривые ноги!

Однако толпа слушателей упорно придерживалась того мнения, что Кривые ноги должен находиться где-то в воздухе над ними, ибо, по преданию, солнце стояло высоко над головами, когда люди с «Даффа» высадились на берег. Тут старый джентльмен, несомненно очень хороший человек, но не астроном, был вынужден отказаться от дальнейших попыток.

Хотя Архиту, упомянутый выше казуист, был членом церковной общины и очень тревожился по поводу того, какое воскресенье ему следует соблюдать, однако в других вопросах он не отличался особой щепетильностью. Узнав, что я был кем-то вроде «миконари» (в смысле человека, умеющего читать и искусного в обращении с пером), он выразил желание, чтобы я оказал ему небольшую услугу и подделал для него несколько бумажек; за это, сказал он, он будет мне очень благодарен и угостит меня в придачу хорошим обедом из жареной свинины и таро.

Архиту был одним из тех, кто осаждают суда в чаянии получить белье в стирку; так как соперников имелось множество (самые гордые вожди не считают для себя зазорным выпрашивать заказы, работу же выполняют их слуги), он решил прибегнуть к способу, который подсказал ему один его приятель, бывалый матрос. Архиту хотел, чтобы ему сфабриковали рекомендации якобы от имени капитанов военных и торговых кораблей, посетивших, как всем было известно, Таити; в этих документах он должен был именоваться лучшим во всей Полинезии специалистом по стирке

тонкого белья.

Хотя Архиту знал меня всего два часа, он без всяких околичностей изложил мне свою просьбу, но я счел ее достаточно наглой, что и высказал ему. Впрочем, заронить в нем хоть малейшую тень сомнения в допустимости такой проделки оказалось совершенно невозможно, и я не стал на него обижаться, а просто отказался.

Глава XLIII

О ЧЕЛОВЕКЕ СУДЯТ ПО ТОМУ, С КЕМ ОН ВОДИТСЯ

Хотя жизнь у капитана Боба благодаря своей новизне в течение некоторого времени казалась нам довольно приятной, с ней были связаны и неудобства, с которыми никак не могла примириться «чувствительная душа».

Предубежденные из-за недоброжелательных отзывов консула и других, многие почтенные иностранцы, жившие на острове, смотрели на нас, как на преступную шайку бродяг, несмотря на то что, говоря по правде, на здешний берег никогда не ступали матросы, которые вели бы себя лучше, чем мы, и причиняли бы так мало неприятностей туземцам. И все же, если мы встречали прилично одетого европейца, тот почти всегда старался избежать нас, перейдя на другую сторону дороги. Это было очень неприятно, по крайней мере мне; однако других это, конечно, не слишком угнетало.

Приведу пример.

На Таити в хороший вечер — впрочем, там все вечера хорошие — вы можете увидеть процессию шелковых капоров и зонтиков,двигающуюся по Ракитовой дороге, или группу бледных белых мальчишек, маленьких болезненных чужестранцев, а еще чаще — степенных пожилых джентльменов с тросточками. При их появлении туземцы скрываются в свои хижины. Это миссионеры с женами и детьми, совершающие семейную прогулку. Случается и так, что они берут лошадей и едут верхом до мыса Венеры и обратно, делая в оба конца несколько миль. Там жил в то время единственный оставшийся в живых из числа первых прибывших на Таити миссионеров — похожий на святого седовласый старик по фамилии Уилсон, отец нашего приятеля консула.

Небольшие компании, прогуливавшиеся пешком, встречались нам часто; они вызывали в моей памяти столько приятных воспоминаний о родине и о дамском обществе, что я просто мечтал о фраке и касторовой шляпе, которые дали бы мне возможность подойти и засвидетельствовать свое почтение. Но в том положении, в каком я находился, об этом не могло быть и речи. Однажды, впрочем, какая-то матрона в клетчатом платье бросила на меня пытливый доброжелательный взгляд. О, милая дама! Я ее

не забыл; платье на ней было из шотландки.

Но не все награждали меня такими взглядами, как она. Как-то вечером я проходил мимо дома одного миссионера. На веранде сидела дама, его жена, и хорошенькая белокурая девушка с локонами; они наслаждались морским бризом, который прилетал к ним с моря от разбивавшихся о рифы бурунов и был полон освежающей прохлады. Пока я приближался, старая дама суровым взглядом следила за мной, и даже ее чепчик, казалось, выражал чопорный упрек. Голубые английские глаза рядом с ней также смотрели на меня. Но, боже мой! Каким взглядом окинуло меня это прелестное создание! На домашний чепец мне было наплевать; но чтобы девушка с локонами принимала меня за молодого человека, не достойного ее общества, этого я совершенно не мог вынести.

Я решил вежливо приветствовать дам, чтобы показать хоть свою воспитанность. Однако так как на мне было что-то вроде тюрбана — впоследствии я о нем расскажу подробно, снять его и снова надеть с маломальски достойным видом представлялось абсолютно невозможным. Что ж, в таком случае следовало ограничиться поклоном. Но тут возникло другое затруднение: на мне была широкая куртка таких размеров, что я сомневался, будет ли заметен изгиб моей спины.

— Добрый вечер, леди, — воскликнул я, наконец, решительно двинувшись вперед. — Чудесный ветерок с моря, леди.

Истерики и нюхательная соль! Кто бы мог подумать? Юная леди визжала, а старая чуть не упала в обморок. Что до меня, то я поспешно ретировался и с трудом перевел дух, только благополучно добравшись до Калабусы.

Глава XLIV

СОБОР В ПАПОАРЕ. ЦЕРКОВЬ КОКОСОВЫХ ПАЛЬМ

По воскресеньям я всегда посещал главную туземную церковь на окраине деревни Папэте, неподалеку от «Калабуса беретани». Она считалась лучшим образцом таитянского зодчества.

В последние годы туземцы при постройке своих храмов стали больше заботиться о прочности, чем прежде. А раньше, бывало, настроят церквей сорок на одном острове — простых сараев, скрепленных гибкими стеблями, а через год-другой, глядишь, их уже и в помине нет.

Одна церковь, построенная в таком стиле много лет назад, представляла собой в высшей степени замечательное сооружение. Она была воздвигнута королем Помаре II, проявившим в этом случае рвение царственного прозелита. Здание имело в длину свыше семисот футов при соответствующей ширине; огромная коньковая балка поддерживалась тридцатью шестью цилиндрическими стволами хлебных деревьев, стоявшими в ряд на некотором расстоянии друг от друга; верхняя обвязка повсюду опиралась на стволы пальм. Крыша, круто спускавшаяся до высоты человеческого роста, была из листьев, а стен не существовало. Вот какой просторной была королевская церковь, построенная при миссии в Папоаре.

При торжественном открытии перед огромной толпой, собравшейся со всех концов острова, миссионеры произнесли одновременно три проповеди с трех кафедр.

Так как церковь сооружалась по распоряжению короля, то в ее строительстве принимало участие почти столько же народу, как и при возведении большого иерусалимского храма. Впрочем, времени потребовалось гораздо меньше. Не прошло и трех недель после установки первого столба, как последний ярус пальмовых листьев уже свисал с карнизов, и все было закончено.

Эту огромную работу распределили между несколькими вождями, которые приспособили к делу своих подданных; она значительно облегчалась тем, что каждый участник стройки приносил с собой столб или стропило, или жердь с укрепленными на ней пальмовыми листьями и немедленно пускал их в ход. Подготовленный таким образом материал

оставалось только скреплять прочными гибкими стеблями, так что буквально в доме, пока он строился, не слышалось «ни молотка, ни топора, ни какого-либо другого инструмента».^[75]

Но о самой замечательной особенности этого полинезийского собора я еще не рассказал. Островитяне любят селиться близ горных рек, руководствуясь при этом соображениями и красоты и преимуществ такого местоположения; и вот довольно большой ручей, спускавшийся с холмов и орошавший долину, перекрыли ниже ее в трех местах и направили прямо через церковь.

Проточная вода! Какой аккомпанемент к священным песнопениям; к ним примешивались хвала и благодарность всевышнему, принесенные из недоступных чаш [*так*], притаившихся в глубине острова.

Но храм полинезийского Соломона давно заброшен. Его тысячи стропил из хибискуса сгнили и упали на землю; и теперь они загромаждают русло ручья, который с журчанием пробегает над ними.

Нынешняя епархиальная церковь Таити совершенно не похожа на только что описанную. Она средних размеров, сплошь обшита досками и выкрашена в белый цвет. Оконные проемы не имеют рам, но закрываются ставнями; если бы не листовенная крыша, то она напоминала бы простую церковь в каком-нибудь американском городке.

Все деревянные части здания были сделаны приезжими плотниками, которых всегда можно встретить в Папеэте.

Внутренний вид церкви чрезвычайно своеобразен и не может не заинтересовать чужестранца. Стропила обернуты тонкими циновками пестрой расцветки; вдоль всего конька свисают украшения — то пучки кистей, то широкая бахрома из окрашенной травы. Пол настлан из нетесаных досок. Между рядами скамей туземной работы с плетеными сиденьями из волокон кокосовой пальмы и спинками идут прямые проходы.

Но больше всего поражает кафедра из темного блестящего дерева, стоящая в одном конце храма. Она несоразмерно высока; взобравшись на нее, вы можете окинуть паству взглядом с птичьего полета.

Есть в церкви и галерея, которая тянется с трех сторон и поддерживается колоннами из стволов кокосовых пальм. Тут и там она раскрашена в ярко-синий цвет; такие же пятна можно увидеть и в других местах (без малейшей заботы о симметрии). В своем рвении украсить святилище новообращенные, должно быть, раздобыли каждый по кисти, щедро обмакнутой в краску, и усердно малевали где попало.

Как я уже упоминал, церковь в общем производит весьма странное впечатление. Света в нее проникает мало, внутри все выдержано в темных

тонах и потому какой-то мрачный языческий сумрак царит в ее стенах. К тому же стоит вам войти, и вы сразу же ощущаете странный запах древесины, которым бывают пропитаны все большие строения в Полинезии. Он наводит на мысль об источенных червями идолах, спрятанных в чулане где-то поблизости.

Прихожане папоарской церкви принадлежат в основном к высшим и более зажиточным сословиям; это вожди и их вассалы, короче говоря — аристократия острова. Они значительно превосходят красотой и физическим развитием простой народ, или «маренхоар», так как на последних сильнее отразилось общение с иностранцами, которые завезли отвратительные, ведущие к вырождению болезни. По воскресеньям знатные люди неизменно наряжаются в самые пышные одеяния и появляются во всем великолепии. Их не приходится силой загонять в храм, как простолюдинов в другие церкви; напротив, имея возможность щегольнуть красивой одеждой и обладая более высоким умственным развитием, они сами охотно идут сюда.

Из-за древесной колоннады, поддерживающей галереи, я прозвал этот храм Церковью кокосовых пальм.

В ней я впервые увидел христианское богослужение на островах Полинезии; и впечатление, когда я вошел уже после начала службы, было очень сильное. Там собрались величественные вожди, чьи отцы бросали боевые дубинки, и старики, видевшие, как дымились жертвы на алтарях Оро.^[76] Но что это? Раздался звон колокола; он висит снаружи на ветви хлебного дерева, и юноша туземец ударяет по нему железным прутком. Когда-то на этом самом месте часто слышались трубные звуки раковин, призывавшие к войне. Но вернемся к тому, что происходит внутри.

Церковь полна. Повсюду взор встречает яркие ситцевые одеяния самых различных фасонов и цветов — воскресные наряды людей высших сословий. У некоторых они скроены так, чтобы возможно больше походить на европейские костюмы, и свидетельствуют об исключительно дурном вкусе. Тут и там можно увидеть куртки и брюки, но они как-то не к месту и нарушают общее впечатление.

Но больше всего поражают вас лица. У всех они раскраснелись от того особого возбуждения, в какое приходят полинезийцы, когда собираются толпой. Все одежды шелестят, все руки и ноги в движении, и непрерывный гул перекачивается по рядам сидящих. Шум так велик, что ровного голоса старого миссионера, поднявшегося на кафедру, почти не слышно. Относительная тишина, наконец, устанавливается благодаря стараниям полудюжины рослых парней в белых рубахах, но без брюк. Бегая взад и

вперед по проходам, они стараются убедить прихожан в недопустимости всякого шума, причем сами поднимают совершенно ненужный галдеж. Эта часть службы производила весьма комичное впечатление.

При церкви существует очень своеобразная воскресная школа; в тот день ее ученики, живая шаловливая компания, занимали часть галереи. Меня забавляла эта группа, разместившаяся в углу. На краю скамьи сидел учитель, а рядом с ним кроткий паренек. Когда другие нарушали порядок, этот юный мученик получал подзатыльник — очевидно, для примера остальным, чтобы те знали, что их ожидает, если они не угомонятся.

Посреди церкви стоял, прислонившись к столбу, какой-то старик, внешностью сильно отличавшийся от своих земляков. На нем ничего не было, кроме грубой короткой мантии из выцветшей таппы; по его изумленному и смущенному виду я понял, что это старый крестьянин из внутренней части страны, как говорится, совершенно неотесанный и непривыкший к странным зрелищам и шуму столицы. Кто-то сделал ему резкое замечание за то, что он стоит и мешает смотреть сидящим сзади. Почтенный старец не понял толком, чего от него хотят, и тогда один из одетых в белое молодцов бесцеремонно схватил его за плечи и силой заставил сесть на место.

Во время этой сцены старый миссионер на кафедре — как и его товарищи, стоявшие внизу, — не сделал никакой попытки вмешаться, предоставив распоряжаться туземцам. Только так и можно себя вести с островитянами Южных морей, когда они собираются более или менее значительной толпой.

Глава XLV

ПРОПОВЕДЬ МИССИОНЕРА И НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ЕЕ ПОВОДУ

Когда восстановился относительный порядок, служба продолжалась и приступили к пению. В хоре пели двенадцать-пятнадцать дам из миссии, занимавших длинную скамью слева от кафедры. Им подтягивали почти все прихожане.

Первая исполненная вещь сильно удивила меня; это была мелодия старинного славословия, приспособленная в качестве таитянского псалма. После непривлекательных сцен, которые недавно мне пришлось наблюдать, пение и вся сопровождавшая его обстановка показались мне глубоко трогательными.

У многих островитян были очень приятные голоса большого диапазона. Певцы, по-видимому, сами испытывали огромное удовольствие; некоторые из них время от времени умолкали и оглядывались, как бы стараясь глубже воспринять происходящее. По правде говоря, они пели очень весело, несмотря на торжественность мелодии.

Таитяне обладают от природы большими музыкальными способностями и очень любят петь во всех случаях жизни. Мне часто приходилось слышать, как молодые повесы мурлыкали про себя несколько строф псалма, словно какой-нибудь отрывок из оперы.

По части пения, как и во многом другом, таитяне сильно отличаются от жителей Сандвичевых островов, где церковная паства, можно сказать, скорее блеет, чем поет.

Когда псалом был закончен, приступили к молитве. Опытный старый миссионер предусмотрительно не затягивал ее, так как прихожане сразу же стали проявлять беспокойство и недостаток внимания.

Затем была прочитана глава из библии на таитянском языке, выбран текст и началась проповедь. Ее слушали с гораздо большим интересом, чем я ожидал.

Многие рассказывали мне, что проповеди, рассчитанные на то, чтобы увлечь простодушных слушателей, иностранцам, естественно, кажутся довольно забавными; миссионерам приходится подробно описывать

пароходы, кареты лорда-мэра и пускаемые в Лондоне фейерверки. Поэтому я позаботился запастись хорошим переводчиком в лице одного толкового матроса-гавайца, с которым недавно познакомился.

— Ну, Джек, — сказал я до того, как мы вошли в церковь. — Слушай каждое слово, когда миссионер начнет говорить, и переводи как можно подробнее.

Изложение Джеком проповеди не отличалось, вероятно, совершенством; к тому же, я тогда не записал ее. Тем не менее я попытаюсь воспроизвести то, что осталось у меня в памяти, пользуясь при этом по мере возможности выражениями самого Джека, чтобы ничего не потерялось от двойного перевода.

— Мои добрые друзья, я рад видеть вас и очень доволен, что могу сегодня с вами немного побеседовать. Добрые друзья, очень плохие времена в Таити; это заставляет меня плакать. Помаре ушла... остров больше не ваш, а ви-ви (французов). Злые патеры тоже здесь; и злые идолы в женской одежде и с медными цепочками.^[77]

— Добрые друзья, вы не говорите с ними, не смотрите на них... Да, я знаю, вы не будете... Они шайка разбойников, эти злые ви-ви. Вскоре этих плохих людей заставят очень быстро уйти. Явятся из Беретани корабли с громом, и они уйдут. Но пока хватит, погода я поговорю об этом еще.

— Добрые друзья, много теперь здесь китобойных судов, и много плохих людей пришло на них. Хороших матросов среди них нет — вы это прекрасно знаете. Они приезжают сюда, потому что таких плохих дома не держат.

— Мои дорогие девушки, не бегайте за матросами... не ходите, где они ходят; они причинят вам зло. Там, откуда они приехали, хорошие люди с ними не разговаривают... там они как собаки. Здесь они разговаривают с Помаре и пьют арва^[78] с великим Пуфай.^[79]

— Добрые друзья, этот остров очень маленький, но очень плохой и очень бедный; зло и бедность всегда идут рука об руку. Почему Беретани такая великая? Потому что тот остров хороший и посылает миконари^[80] к бедным канакам.^[81] В Беретани все богатые; много вещей покупают и много вещей продают. Дома больше, чем у Помаре, и наряднее. А еще, все ездят в каретах, которые больше, чем у нее,^[82] и каждый день носят тонкую таппу. (Затем были перечислены и описаны еще некоторые заманчивые достижения цивилизации.)

— Добрые друзья, в моем доме осталось мало еды. Шхуны из Сиднея не везут мешки с мукой, а канаки не приносят достаточно свиней и плодов.

Миконари много делают для канаков, канаки мало делают для миконари. Итак, добрые друзья, сплетите побольше корзин из листьев кокосовых пальм, наполните их и завтра принесите.

Такова суть большей части проповеди; и что бы о ней ни думали, она была специально приспособлена к образу мышления островитян, которые воспринимают лишь то, что осязаемо или ново и поражает их воображение. Для них сухая проповедь оказалась бы невероятно скучна.

Таитяне, можно сказать, почти никогда не размышляют: они — сплошной порыв. Поэтому миссионеры не пытаются втолковывать им догматы, а ограничиваются краткими разъяснениями простых истин, из числа тех, что печатаются в азбуках крупный шрифтом и в сопровождении забавных рисунков. В результате им никогда или почти никогда не удается пробудить в своей пастве что-либо похожее на стойкое религиозное чувство.

В сущности на земле, вероятно, нет народа, по своему характеру менее восприимчивого к христианскому учению, чем полинезийцы. Я утверждаю это, хотя мне хорошо известно так называемое «великое возрождение Сандвичевых островов» в 1836 году, когда в течение нескольких недель тысячи туземцев были приняты в лоно церкви. Но этого достигли отнюдь не нравственными убеждениями, о чем свидетельствовал очень быстрый возврат к прежней распущенности. Переход в христианство был закономерным следствием нездорового настроения, порожденного тяжелыми бедствиями и овладевшего умами, на редкость склонными к суеверию; оно явилось также следствием фантастической пропаганды, которая привела к горячей вере в то, что боги миссионеров мстили за царившее в стране беззаконие.^[83]

Нелишне упомянуть и о следующем обстоятельстве: те самые черты характера таитян, которые побудили Лондонское миссионерское общество признать их наиболее подходящим народом для обращения в христианство и заставили избрать Таити главной ареной деятельности миссионеров, впоследствии оказались наиболее серьезной помехой. Внешняя мягкость манер таитян, исключительная, на первый взгляд, бесхитрость и кротость вначале ввели в заблуждение; но эти качества прекрасно уживались с ленью, физической и умственной, врожденным сладострастием и отвращением к малейшему принуждению. Все это вполне гармонирует с роскошной природой тропиков, но служит величайшим препятствием для восприятия строгих моральных правил христианства.

Вдобавок ко всему полинезийцы обладают природным свойством,

которое ближе всего можно определить как лицемерие. Оно заставляет их делать вид, будто они очень горячо интересуются тем, что на самом деле для них вовсе или почти вовсе безразлично, но что может, на их взгляд, иметь значение для людей, чьего могущества они боятся или чьей благосклонности хотят добиться. Так, будучи язычниками, жители Сандвичевых островов выбивали себе зубы, вырывали волосы и наносили раны острыми раковинами в знак неутешного горя по поводу кончины знатного вождя или члена королевской семьи. Однако Ванкувер рассказывает, что в одном таком случае, при котором ему довелось присутствовать, туземцы, предававшиеся с виду самой горькой печали, сразу же повеселели, получив в подарок грошовый свисток или зеркальце. Подобные случаи наблюдал и я сам.

Вот как, например, проявлялась эта черта характера у обращенных в христианство полинезийцев.

На одном из островов Товарищества — кажется, на Раиатеа — туземцы из каких-то особых побуждений усердно старались заслужить расположение миссионеров. И поэтому — другого объяснения найти нельзя — многие из них вели себя во время богослужения в точности так, как в старое доброе языческое время. Они делали вид, будто проповедь, которую они слушают, приводит их в исступление. Закатывали глаза, пускали пену изо рта, падали и корчились в припадке; в таком состоянии их уносили домой. Как ни странно, но это признавалось за проявление силы всевышнего, о чем и возвещали всему свету.

Но вернемся к Церкви кокосовых пальм. Заключительная молитва произнесена, и прихожане расходятся; их развевающиеся мантии мелькают на Ракитовой дороге. Постепенно все скрываются из глаз, сворачивая на тенистые тропинки, которые ведут в обе стороны от главной дороги к спрятанным в рощах деревушкам или к маленьким домикам на берегу моря. Островитяне очень веселы; можно подумать, что они возвращаются со старинного «хевара», то есть праздничной языческой пляски. У тех, кто несет библию, она небрежно свисает с руки на шнурке.

Воскресенье для таитян день необычный. Оно ревностно соблюдается, поскольку дело касается того, чтобы не производить никаких работ. Пироги вытащены на берег, сети развешены для просушки. Проходя мимо похожих на курятники хижин, стоящих у дороги, вы замечаете, что их обитатели, которые как всегда бездельничают, в этот день и болтают гораздо меньше. После церковной службы над всем островом нависает покой; долины, тянущиеся в глубь страны, кажутся еще более тихими, чем всегда.

Коротко говоря, это воскресенье, «день табу» таитян; то самое слово,

которое раньше выражало священный характер их языческих обрядов, теперь служит для выражения святости христианского праздника.

Глава XLVI

КОЕ-ЧТО О «КАННАКИПЕРАХ»

Мой бывший друг, весьма достойный молодой человек (я говорю о Кулу со всей возможной вежливостью, так как к этому меня обязывает прежняя наша близость), этот достойный юноша, отдававший дань модной склонности к уединению, жил в «мару боро», то есть просто под сенью хлебного дерева, в прелестном укромном уголке среди леса на полпути между «Калабуса беретани» и Церковью кокосовых пальм, каковую он весьма усердно посещал.

Кулу был парень хоть куда. Стоя в церкви во всем великолепии полосатой ситцевой рубахи, франтовато выпущенной поверх белых матросских брюк, блестя обильно смазанными кокосовым маслом волосами, он с видом величайшего удовлетворения нежно посматривал на дам. Его взгляды не оставались без ответа.

Но если бы вы видели, какими взорами награждают таитянские красавицы друг друга, какой негодующий вид напускают они на себя, завидев на ком-нибудь новое хлопчатобумажное одеяние, недавно прибывшее на остров в сундуке любвеобильного матроса! Как-то я обратил внимание на группу девушек в засаленных туниках из грубой ткани, с возмущением указывавших на девицу в ярко-красном платье. «Ои тутаи оури!» — говорили они с невыразимым презрением. — «Итаи маитаи! (Ты негодная тварь, хуже некуда).

При всем том Кулу был ревностным прихожанином, так же как и эти строгие молодые девушки. Однако, как мне было известно, некоторые из них, причастившись плодом хлебного дерева, в тот же вечер совершали самые постыдные грехи.

Озадаченный всем этим, я решил установить, если окажется возможным, какое представление они имели о религии, если вообще его имели; но так как вмешательство постороннего человека в духовную жизнь дело довольно деликатное, то я приступил к нему со всей мыслимой осторожностью.

Ярдах в трехстах от владений капитана Боба в уютной маленькой хижине поселился старый туземец Фарноу, который недавно удалился на покой, оставив должность что-то вроде скорохода королевы. Возможно, он выбрал такое близкое соседство с нами ради тех преимуществ, какие оно

давало для приобщения его трех дочерей к хорошему обществу. Как бы то ни было, сестры (имейте в виду, ревностные христианки), нисколько не возражали против ухаживания такого услужливого и галантного кавалера, как доктор, и любезно дали ему разрешение дружески навещать их, когда ему вздумается.

Как-то вечером мы отправились к Фарноу и застали девиц дома. Мой долговязый приятель занялся с двумя младшими девушками, которые ему больше нравились, игрой в разыскивание камешка под тремя кучами таппы. Что до меня, то я сидел на циновке со старшей дочерью Айдией, забавляясь ее травяным веером и пополняя свои сведения о таитянах.

Случай оказался благоприятным, и я начал:

— Ну, Айдиа, ты миконари? — В более распространенном виде моя фраза звучала бы: — Между прочим, мисс Айдиа, вы принадлежите к церковной общине?

— Да, мой миконари, — ответила она.

Но за этим утверждением сразу же последовали некоторые оговорки, настолько любопытные, что я не могу не упомянуть о них.

— Миконари эна (член церковной общины здесь), — воскликнула она, приложив руку к губам и сделав сильное ударение на наречии. Подобным же образом и с теми же восклицаниями она прикоснулась к глазам и рукам. После этого весь ее вид мгновенно преобразился, и жестами она безошибочно дала мне понять, что в некоторых других отношениях она не совсем «миконари». Короче говоря, Айдиа была

Христианкой доброй сердцем,
Но подлинной язычницею плотью. [\[84\]](#)

Объяснение закончилось тем, что она прыснула со смеху, вслед за нею расхохотались ее сестры, и мы с доктором из боязни показаться глупыми тоже присоединились к ним. Как только позволила благовоспитанность, мы распрощались.

Лицемерие в вопросах религии, столь явное у всех обращенных в христианство полинезийцев, крайне необдуманно поощряется на Таити ревностным и во многих случаях насильственным проведением мер для поддержания духовного благополучия среди островитян. Правда, это относится лишь к низшим сословиям, а для знатных делается исключение.

Воскресными утрами, когда выясняется, что в маленьких церквах нет особой надежды на значительное стечение молящихся, во все стороны

рассылают группы здоровых парней с дубинками загонять паству. И это достоверный факт.^[85]

Эти молодчики представляют собой церковную полицию, их всегда можно узнать по большим белым шарфам, которые они носят. В будни они заняты не меньше, чем по воскресеньям; нагоняя ужас на жителей, они рыскают по всему острову и выслеживают, не совершил ли кто преступления против нравственности.

Они даже собирают штрафы, обычно взимаемые травяными циновками, за упорное уклонение от посещения церковной службы и за другие проступки, относящиеся к юрисдикции духовного суда миссионеров.

Старый Боб называл этих парней «каннакиперами», по-моему, это испорченное слово «констебль».

Он имел против них большой зуб. Однажды, возвращаясь домой, он узнал, что двое «каннакиперов» как раз в это время делают у него обыск, и спрятался за кустом; когда они вышли, два зеленых плода хлебного дерева, брошенные невидимой рукой, угодили им в спину. Свидетелями этого были матросы из Калабусы, а кроме того несколько туземцев; последние, когда непрошенные гости исчезли из виду, стали восторженно расхваливать капитана Боба за храбрость, в чем их горячо поддержали присутствовавшие местные дамы. Женщины особенно сильно ненавидят «каннакиперов», и этому не приходится удивляться: мерзкие наглецы заглядывают к ним в любой час и постоянно суют нос в их интимные дела.

Кулу временами охватывали патриотические настроения, и тогда он задумывался над окружающим, скорбел о том зле, под тяжестью которого стонала его страна, и часто ругал закон, разрешавший совершенно постороннему человеку вмешиваться в личную жизнь. Это нередко создавало неприятности и для него самого — изрядного ловеласа. Он считал «каннакиперов» очень надоедливými людьми.

Мало того, что они были чрезмерно любопытны, они еще завели себе привычку каждый день обедать в одной из хижин, расположенных в подведомственном им районе. Хозяин дома всегда относился к подобным вещам изумительно кротко. Но ему только и оставалось, что быть как можно гостеприимней.

Эти господа неутомимы. Глубокой ночью они рыскают вокруг домов, а днем выслеживают влюбленные пары в рощах. Однажды, впрочем, охота кончилась для них полной неудачей.

Дело было так.

За несколько недель до нашего прибытия на остров один женатый

мужчина и какая-то замужняя женщина, влюбленные друг в друга, отправились на прогулку. Поднялась тревога, и за ними пустились в погоню. Однако их так и не нашли. Месяца три о них не было ни слуху ни духу. Но вот как-то нас вызвали из Калабусы посмотреть на огромную толпу, окружавшую любовников и сопровождавшую их в деревню на суд.

Вид у них был весьма своеобразный; совершенно голые, если не считать набедренных повязок, с длинными, выгоревшими у концов до желтизны, спутанными, полными колючек волосами, сплошь покрытые царапинами и рубцами. Действуя, как видно, по принципу «с милым рай и в шалаше», они отправились прямо в глубь страны и, наспех построив хижину в необитаемой долине, жили там, пока их не заметили во время одной несчастной для них прогулки и не схватили.

Суд приговорил их проложить сто сажений Ракитовой дороги — работа, которая должна была отнять месяцев шесть, а то и больше.

Часто, сидя в чьем-нибудь доме и спокойно разговаривая с его обитателями, я видел, как они приходили в большое волнение, когда им неожиданно сообщали о приближении «каннакиперов». Попасть в донесение одного из этих полицейских и быть причисленными к «тутаи оури» (что в обычном словоупотреблении означает плохой человек или неверующий) островитяне боятся не меньше, чем боялись когда-то в Англии указующего перста Тайтуса Отса,^[86] направленного на человека, подозреваемого в папизме.

Но таитяне исподтишка по-своему мстят «каннакиперам». Войдя в чей-нибудь дом, эти лицемеры обычно прежде всего спешат устроить молитвенное собрание; поэтому их за глаза называют «бура артуа», что буквально означает «господи помилуй».

Глава XLVII

КАК ОДЕВАЮТСЯ НА ТАИТИ

За исключением тех случаев, когда изготовлением «таппы» приходится заниматься в наказание, звуки деревянной колотушки уже давно не разносятся по сонным долинам Таити. Когда-то здешние девушки все утро трудились, подобно нашим женщинам, склоняющимся над пядьцами; теперь они проводят время почти в полной праздности. Правда, островитянки в большинстве случаев сами мастерят себе одежду, но для этого достаточно нескольких стежков; однако дамам из миссии, кстати сказать, ставят в заслугу, что они научили их шить.

«Кихи уихени», то есть юбка, представляет собой просто полотнище белой хлопчатобумажной ткани или ситца, обернутое вокруг талии и свободно свисающее от пояса до ступней. Чтобы это одеяние не спадало, его закрепляют самым простым способом, подворачивая один конец или связывая верхние углы; конечно, оно часто приходит в беспорядок, давая возможность кокетливо поправлять его. Поверх «кихи» таитянки носят нечто вроде платья, открытого спереди, очень широкого и вообще накинутого крайне небрежно. К обеду дамы здесь никогда не переодеваются.

Но что можно сказать об этих ужасных шляпах! Представьте себе пучок соломы, сплетенный в форме ведерка для угля и торчащий дном вверх на макушке; несколько ярдов красной ленты развевается вокруг, точно хвосты бумажного змея.

Парижские модистки, что сказали бы вы о них! Хотя и сделанные руками островитянок, эти шляпы, как говорят, впервые были изобретены и рекомендованы женами миссионеров; впрочем, я уверен, что это лишь лживые сплетни.

Забавно, что подобные головные уборы считаются очень изысканными. Плетение соломы — одно из немногих занятий, к каким еще снисходят женщины высших сословий; и все это лишь для удовлетворения глупейшего тщеславия. Впрочем, девушки совершенно не признают шляп, предоставляя своим матерям, лишенным всякого вкуса старухам, изображать из себя огородные пугала.

Что касается мужчин, то те из них, кто жаждет быть одетым по-европейски, не имеют, должно быть, никакого представления о связи между

отдельными частями, составляющими костюм джентльмена. Владелец куртки, к примеру, вовсе не считает для себя обязательным надевать брюки, шляпа с тульей в виде колокола и набедренная повязка — вполне законченный наряд. Молодой моряк, ради которого Кулу покинул меня, подарил ему старую матросскую двубортную куртку из мохнатого грубого сукна. И Кулу, застегнувшись на все пуговицы, в полном восторге разгуливал в ней по Ракитовой дороге под тропическим солнцем. Доктор Долговязый Дух, увидев его в таком виде, решил было, что тот проходит курс лечения — как выражаются врачи-шарлатаны, «изгоняет болезнь потением».

Один холостяк, приятель капитана Боба, к величайшей своей радости, имел полный европейский костюм, в котором часто брал штурмом дамские сердца. Обладая военными склонностями, он украшал куртку алым лоскутом, прицепленным к груди; он пришивал к ней также тут и там форменные пуговицы, тайком срезанные с мундиров пьяных моряков, отпущенных на берег с военных кораблей. Однако, несмотря на все эти украшения, его костюм как-то не имел вида. Он был слишком узок в плечах, и локти торчали в стороны, как у неуклюжего всадника; а узкие брюки так обтягивали толстые ноги, что видны были нитки всех швов, и при каждом шаге можно было ждать катастрофы.

В общем какого-нибудь определенного стиля одежды для мужчин, по-видимому, не существует. Они носят все, что могут раздобыть, иногда безвкусно переделывая старинные одеяния, чтобы приспособить их к своим новым понятиям о моде.

А ведь таитяне, кажущиеся теперь смешными в чужеземных нарядах, имели совершенно иной вид в своих первобытных национальных костюмах, отличавшихся исключительным изяществом, скромностью — на взгляд всех, кроме чрезмерно стыдливых, — и прекрасно приспособленных к климату. Но короткие юбочки из крашеной таппы, набедренные повязки с бахромой и другие предметы одежды, которые носили прежде, в настоящее время запрещены законом, как нарушающие приличия. Почему женщинам не разрешается надевать ожерелья и венки из цветов, я так и не смог установить; говорят, что они каким-то образом связаны с забытыми языческими обрядами.

Многие веселые и как будто невинные игры и развлечения также находятся под запретом. В старину устраивались различные атлетические соревнования, как, например, в борьбе, беге, метании дротиков и стрельбе из лука. Во всем этом таитяне были очень искусны; состязания нередко сопровождалась великолепными празднествами. К числу повседневных

развлечений относились танцы, игра в ножной мяч, пускание змеев, игра на флейте и пение старинных легенд; теперь все эти забавы считаются наказуемыми деяниями; впрочем, от большинства из них давно отвыкли, так что о них почти никто и не помнит.

Точно так же был положен конец «опио», или празднику урожая плодов хлебного дерева, хотя, судя по описанию капитана Боба, он носил как будто совершенно невинный характер. Существует и строгий закон против всякого рода татуировок.

Отмене всех национальных развлечений и обычаев островитяне подчинились с большой неохотой, о чем свидетельствуют многочисленные случаи нарушения запрещающих их законов, в особенности та частота, с какой тайком устраиваются «хевары», или танцы.

Подавляя национальные традиции, миссионеры несомненно руководствовались искренним стремлением к благу, но результат оказался прискорбным. Не имея никаких развлечений взамен подвергнутых запрету, таитяне, нуждающиеся в увеселениях больше, чем какой-нибудь другой народ, погрузились в апатию или же стали предаваться чувственным удовольствиям, в сто раз более пагубным, чем все игрища, когда-либо устраивавшиеся в храме Тане.

Глава XLVIII

ТАИТИ БЕЗ ПРИКРАС

Так как в последних главах я мимоходом коснулся некоторых вопросов, имеющих отношение к общему положению туземцев, то было бы, пожалуй, целесообразно остановиться на этой теме более подробно, чтобы не возникло ошибочного впечатления. Итак, уделим ей несколько больше внимания.

Но прежде всего я должен решительно заявить, что во всех своих высказываниях по этому поводу (как здесь, так и в других местах) я не имею намерения опорочить миссионеров или дело, которому они служат; я просто хочу описать истинное положение.

Таити во многих отношениях несомненно может считаться наилучшим практическим примером того, к какому результату приводит общение иностранцев с полинезийцами, включая попытки миссионеров цивилизовать их и обратить в христианство. В самом деле, теперь мы вправе утверждать, что опыт обращения таитян в христианство и улучшения условий их жизни путем введения чужеземных обычаев был произведен в полном объеме. Современное поколение выросло под влиянием своих духовных наставников. И хотя некоторые будут утверждать, что трудам последних иногда в той или иной степени препятствовали беспринципные иностранцы, все же из-за этого Таити ни в коем случае не перестает быть прекрасной иллюстрацией; ведь с подобными трудностями приходится бороться в Полинезии всегда и повсюду.

Прошло почти шестьдесят лет, как миссионеры обосновались на Таити; все это время они непрерывно получали нравственную и материальную поддержку от своих друзей во всем мире. И ни одно начинание подобного рода не вызывало такого рвения со стороны тех, кто непосредственно его проводил.

Что за беда, если в начале работники на этом поприще при всей их добросовестности были в большинстве невежественными и во многих случаях отличались, к сожалению, фанатизмом: такими свойствами в известной мере обладали распространители всех религий. И хотя в смысле усердия и бескорыстия миссионеры, находящиеся в настоящее время на острове, пожалуй, уступают своим предшественникам, тем не менее и они,

на свой манер во всяком случае, много потрудились, чтобы сделать из своей паствы христиан.

Разберемся теперь, в чем состоят наиболее заметные перемены в положении островитян.

Со всей системой идолопоклонства покончено, равно как и с некоторыми варварскими обычаями, связанными с ней. Но этот результат нужно приписать не столько деятельности миссионеров, сколько цивилизирующему влиянию длительного и постоянного общения с белыми всех национальностей, для которых Таити уже много лет является одним из излюбленных мест в Южных морях. На Сандвичевых островах могучий институт табу, как и весь языческий уклад страны, был полностью уничтожен по доброй воле самих туземцев за некоторое время до прибытия к ним первых миссионеров.

Другая наиболее разительная перемена в жизни таитян заключается в следующем. Благодаря постоянному пребыванию на острове влиятельных и почтенных иностранцев, а также благодаря частым заходам военных кораблей, признающих национальный суверенитет острова, по отношению к его жителям больше не считают возможным допускать те жестокости, к каким прибегают, когда имеют дело с простыми дикарями; поэтому различные суда, не опасаясь мщения, совершенно спокойно заходят во все гавани Таити.

Но посмотрим, какие достижения могут быть приписаны исключительно миссионерам.

Во всяком случае, они усиленно старались смягчить то зло, которое неизбежно приносит общение с белыми. Эти попытки проводились, однако, довольно неразумно и часто оставались безуспешными; почти непреодолимое препятствие заключается в самых склонностях народа. Все же присутствие миссионеров привело к тому, что поведение островитян стало в общем менее безнравственным.

Но наиболее значительное достижение миссионеров, само по себе крайне обнадеживающее и преисполняющее удовлетворением, состоит в том, что они перевели всю Библию на таитянский язык; я знал нескольких туземцев, которые без труда могли ее читать. Были построены также церкви и учреждены школы для детей и для взрослых: должен с сожалением отметить, что теперь школам уделяют очень мало внимания, и это следует в значительной мере приписать неурядицам, возникшим в результате действий французов.

Вряд ли стоит останавливаться на проблемах, связанных с внутренним управлением таитянских церквей и школ. К тому же, мои сведения

недостаточно обширны, чтобы я считал себя вправе входить в подробности. Но в них и нет необходимости. Мы просто рассматриваем общие результаты, проявляющиеся в состоянии нравственности и религии на острове в целом.

Однако было бы слишком самонадеянным с моей стороны пытаться одному вынести решение по такому вопросу; поэтому я не стану излагать свои собственные случайные впечатления, о которых упоминаю в других местах, а приведу здесь наблюдения некоторых известных исследователей, сделанные ими при различных обстоятельствах и в разное время, вплоть до сравнительно недавнего. Несколько очень кратких выдержек дадут возможность читателю самому установить, произошли ли здесь какие-либо улучшения и если произошли, то какие именно.

Следует заметить, что первых двух по порядку из упоминаемых ниже авторитетов широко цитировал преподобный М. Рассел в своей работе, специально предназначенной для освещения деятельности христианских миссий в Полинезии. И он прямо признает, что это такие люди, мнение которых «не может не иметь большого значения для широкой публики».^[87]

Отметив все то зло, что принесли туземцам иностранцы, и крайнюю апатию таитян, осудив, пожалуй, слишком строго бесспорные ошибки миссии, русский мореплаватель Коцебу пишет:

«Подобного рода религиозные предписания, запрещающие всякое невинное удовольствие, полностью или почти полностью препятствующие умственному развитию, являются оскорблением божественного основателя христианства. Правда, наставления миссионеров, наряду со множеством зол, принесли и некоторую пользу. Они уменьшили воровство и распущенность, но зато породили невежество, лицемерие и ненависть ко всем другим верованиям, прежде чуждые открытому и добродушному характеру таитян».^[88]

Капитан Бичи пишет, что во время пребывания на Таити он видел сцены, которые должны были даже самого большого скептика убедить в исключительно аморальном состоянии туземцев и заставить его прийти к заключению, как пришел много лет назад Тернбулл,^[89] что общение с европейцами скорей ухудшило, чем улучшило их положение.^[90]

В 1834 году Даниэль Уилер, прямодушный квакер, движимый соображениями чистого человеколюбия, посетил на своем собственном судне большую часть поселений миссионеров в Южных морях. Он пробыл некоторое время на Таити, пользуясь гостеприимством местных миссионеров и от случая к случаю проповедуя туземцам.

Он описывает печальные условия их жизни, а затем откровенно высказывается об их религиозных устоях: «Виды на будущее, конечно, не обнадеживающие; и сколь ни прискорбен такой вывод, приходится признать, что принципы христианства соблюдаются очень редко».^[91]

Таковы свидетельства честных беспристрастных людей, побывавших в Полинезии. Но почему они так сильно отличаются от мнений, столь распространенных у нас на родине? По очень простой причине: вместо того чтобы составить себе представление о плодах миссионерских трудов по количеству язычников, которые действительно усвоили основы христианства и стали (хотя бы до некоторой степени) ими руководствоваться, об этих плодах совершенно неправильно судят по количеству тех, кто, ни в чем не разбираясь, под влиянием принуждения, отказался от идолопоклонства и стал исполнять некоторые внешние обряды.

Обращение полинезийцев в христианство большей частью было достигнуто не разумными доводами, а путем давления на туземцев при посредстве их вождей, которыми двигала надежда на всякого рода мирские выгоды.

Даже в тех нескольких случаях — так часто приводимых в качестве чудесных примеров божественного промысла, — когда туземцы по мгновенному побуждению сожгли своих идолов и приняли крещение, самая внезапность перемены указывает лишь на ее несерьезный характер. Уильямс, мученик Эрроманго, приводит случай, когда жители одного острова, исповедовавшие христианство, собрались по собственному почину и торжественно восстановили все языческие обычаи.

Факты всегда и повсюду красноречивее слов; приведенное ниже показывает, как расценивают сами миссионеры современное состояние христианства и морали среди обращенных полинезийцев.

На острове Эймео (обслуживаемом таитянской миссией) имеется школа исключительно для детей миссионеров; ею руководят преподобный мистер Симпсон и его жена. Там ученики (для завершения образования отправляемые в Англию, во многих случаях в очень раннем возрасте) получают лишь самые начатки знаний, не больше того, чему они могли бы научиться в туземных школах. Тем не менее принимаются все меры, чтобы две расы как можно меньше общались между собой и причиной этого открыто признается стремление предохранить белых детей от заражения безнравственностью. Для лучшего достижения этой цели всячески стараются воспрепятствовать тому, чтобы дети европейцев научились местному языку.

На Сандвичевых островах идут еще дальше; там несколько лет назад площадка для игр детей миссионеров была обнесена высоченным забором, чтобы надежно оградить ее от безнравственных маленьких гавайцев.

А между тем, сколь ни странным это может показаться, развращенность полинезийцев, делающая такие меры предосторожности необходимыми, была далеко не так велика до общения с белыми. Почтенный капитан Уилсон, доставивший на Таити первых миссионеров, утверждает, что жители этого острова обладали во многих отношениях «более утонченными понятиями о благопристойности, чем наши». [\[92\]](#) Интересные мысли о Сандвичевых островах высказывает также Ванкувер. [\[93\]](#)

Многочисленные суровые и постоянно нарушаемые законы против всякого рода распущенности, которые издаются на обоих архипелагах, ясно доказывают, что безнравственность из года в год возрастает.

Трудно ожидать от миссионеров, чтобы в посылаемых в Англию отчетах они сообщали о действительном положении дел. Поэтому капитан Бичи, упоминая о книге Эллиса «Полинезийские исследования», говорит, что ее автор дает читателям неправильное представление о моральном состоянии таитян и преувеличивает достигнутый ими уровень цивилизации; во всяком случае факты, которые ему самому пришлось наблюдать, ни того, ни другого не подтверждали. По словам Бичи, островитяне, с которыми он встречался, «не боялись его и, следовательно, руководствовались в своих поступках естественными побуждениями, а потому он скорее мог составить правильное мнение об их настроениях и привычках». [\[94\]](#)

Последнее утверждение, как показал опыт моего собственного тесного общения с туземцами, еще в большей степени применимо ко мне.

Глава XLIX

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Мы бросили беглый взгляд на состояние морали и религии; посмотрим теперь, как обстоит на Таити дело в социальном и других отношениях.

Как-то была высказана мысль, что единственный способ для приобщения к цивилизации какого-нибудь народа состоит в приучении его к труду. Если исходить из этого принципа, то таитяне теперь менее цивилизованны, чем прежде. Правда, их природная лень чрезмерна; однако, если они прониклись духом христианства, то, конечно, от столь несовместимого с ним порока они должны были бы хоть частично излечиться. На самом деле мы наблюдаем обратное. Вместо того чтобы приобрести новые занятия, они забросили старые.

Как я уже упоминал, изготовление таппы во многих частях острова почти прекратилось. То же самое относится к местным орудиям и домашней утвари; их теперь изготавливают очень мало, так как превосходство европейских изделий стало вполне очевидным.

В этом, пожалуй, не было бы ничего плохого, если бы туземцы принялись за такие занятия, которые дали бы им возможность обеспечивать себя тем немногим, в чем они нуждаются. Но они и не помышляют об этом, и большинство из них не в состоянии приобретать европейские товары взамен тех вещей, которые они прежде изготавливали сами; неизбежным следствием является та полная лишений и нужды жизнь, какую ведет теперь простой народ.

Мне, столь недавно покинувшему первобытную долину на одном из Маркизских островов, жилища большинства бедных таитян и общий уклад их жизни казались чрезвычайно убогими, и я не мог воздержаться от сравнения, которое было далеко не в пользу полуцивилизованных островитян.

Жителям Таити нечего делать, а праздность везде мать пороков. «Вряд ли есть на свете что-либо, — пишет старый почтенный квакер Уилер, — удивительнее и прискорбнее их бесцельного образа жизни, лишенной каких бы то ни было интересов».

Попытки вывести их из этого состояния бездействия делались неоднократно, но оказались тщетными. Несколько лет назад на острове стали культивировать хлопок; с обычной любовью ко всему новому

туземцы взялись за дело очень охотно, но интерес быстро прошел, и теперь здесь не выращивается ни одного фунта.

Примерно в это же время из Лондона прислали ткацкие станки и, в Афрехиту на острове Эймео, была пущена фабрика. Жужжание колес и веретен привлекло со всех концов острова добровольцев, считавших за честь быть допущенными к работе; но через шесть месяцев уже нельзя было нанять ни одного мальчишки. Станки разобрали и отправили в Сидней.

То же повторилось с возделыванием сахарного тростника — растения, которое встречается на острове в диком состоянии, особенно подходит к его почве и климату и отличается такими высокими качествами, что Блай захватил несколько побегов для доставки в Вест-Индию. Некоторое время все плантации процветали; туземцы копошились на полях, как муравьи, и относились к делу с огромным интересом. Немногие плантации, продолжающие существовать ныне, принадлежат белым и ими обрабатываются; хозяева предпочитают платить восемнадцать-двадцать испанских долларов в месяц какому-либо пьянице матросу, чем нанимать непьющего туземца за «рыбу и таро».

Вообще надо сказать, что все признаки цивилизации на островах Южных морей связаны с пребыванием иностранцев, хотя самый факт появления этих признаков обычно выставляют в доказательство возросшего благосостояния туземцев. Так, в Гонолулу, столице Сандвичевых островов, есть красивые жилые дома, несколько гостиниц, парикмахерские и даже бильярдные; однако, заметьте, все они принадлежат белым, и ими пользуются белые. Там вы встретите портных, кузнецов и плотников, но среди них ни одного туземца.

Дело в том, что работа на фабриках и полях, без которой немислима цивилизованная жизнь, требует слишком упорных и длительных усилий, совершенно не привычных для такого народа, как полинезийцы. Созданные, чтобы существовать в естественном состоянии — на лоне природы, в чудесном климате, они не могут приспособиться ни к каким переменам. Более того, в других условиях они как народ будут обречены на скорую гибель.

Следующие данные говорят сами за себя. В 1777 году капитан Кук определял население Таити примерно в двести тысяч человек.^[95] По очередной переписи, проведенной четыре-пять лет назад, оно составляло всего девять тысяч.^[96]

Такая поразительная убыль не только показывает, как велики

вызвавшие ее пороки, но и неизбежно приводит к выводу, что по сравнению с ними все войны, убийства детей и другие причины сокращения численности населения, будто бы широко распространенные в прежние времена, имели совершенно ничтожное значение.

Эти пороки, без сомнения, вызваны исключительно появлением чужестранцев. Оставляя в стороне результаты пьянства, периодических эпидемий оспы и других явлений, о которых можно было бы упомянуть, я ограничусь указанием на ту заразную болезнь, которая проникла в кровь по меньшей мере двух третей таитян-простолюдинов и в той или иной форме передается от отца к сыну.^[97]

Панический страх, охвативший островитян, когда они впервые столкнулись с сокрушительными ударами этого бича, вызывает чувство неимоверной жалости. Самое название, данное ему, представляет совокупность всего, что должно наполнить невыразимым ужасом цивилизованного человека.

Обезумев от своих мучений, они приводили больных к миссионерам, когда те произносили проповеди, и кричали: «Ложь, ложь! Вы говорите нам о спасении, а, смотрите, мы умираем. Мы не хотим иного спасения, кроме сохранения нашей жизни. Где те, кого спасли ваши речи? Помаре умер, и мы все умираем от ваших проклятых болезней. Когда вы оставите нас в покое?»

Теперь болезнь в отдельных случаях протекает не так тяжело, как раньше, но это ведет лишь к более широкому распространению заразы.

«Как ужасна, — вырывается у старого Уилера, — мысль о том, что общение с чужеземными народами навлекло на этих несчастных невежественных островитян неслыханное бедствие, не имевшее себе равного в анналах истории».

В свете этих фактов никто не может закрывать глаза на то, что участь таитян, если говорить о чисто мирском благополучии, сейчас гораздо тяжелее, чем прежде; и хотя присутствие миссионеров безусловно принесло им пользу, ее приходится считать крайне незначительной при сопоставлении с тем огромным злом, какое было им причинено прочими факторами.

Будущее таитян безнадежно. Самые ревностные старания не могут уже избавить их от уготованной им судьбы стать яркой иллюстрацией исторического закона, который всегда подтверждался. Вот уж много лет, как они пришли к такому состоянию, когда все, что есть отрицательного в варварстве и цивилизации, соединяется, а добродетели, присущие каждой из этих общественных формаций, оказываются утраченными. Подобно

другим первобытным людям, вступившим в общение с европейцами, таитяне обречены оставаться в этом положении до тех пор, пока окончательно не исчезнут с лица земли.

Островитяне сами с грустью наблюдают за приближением нависшей над ними гибели. Несколько лет назад Помаре II сказал Тайреману и Беннету, представителям Лондонского миссионерского общества: «Вы приехали ко мне в очень плохие времена. Ваши предки прибыли тогда, когда на Таити жили настоящие мужчины, а вы видите лишь остатки моего народа.».

Такой же смысл заключен в предсказании Тиармоара — верховного жреца Паре, — жившего свыше ста лет назад. Я часто слышал, как старые таитяне пели тихим печальным голосом:

А харри та фоу
А торо та фарраро,
А ноу та тарарта.

Пальма будет расти,
Коралл будет ветвиться,
Но человека больше не будет.

Глава I

СЛУЧАЙ С ДОЛГОВЯЗЫМ ДУХОМ

Но вернемся к нашему рассказу.

Накануне ухода «Джулии» доктор Джонсон нанес нам последний визит. Он вел себя не так вежливо, как обычно. Ему нужны были лишь подписи наших матросов на документе, подтверждавшем получение ими перечисленных в нем различных лекарств. Такая расписка, заверенная капитаном Гаем, обеспечивала Джонсону оплату. Если бы доктор или я присутствовали при этом, вряд ли ему удалось бы уговорить матросов дать собственноручные подписи.

Мой долговязый приятель не пылал любовью к Джонсону; напротив, по причинам, известным ему одному, ненавидел его от всего сердца, что до известной степени одно и то же, так как и та и другая страсть требует достойного объекта. Можно считать, что ненависть в каком-то смысле столь же лестна для нас, как и любовь, и, стало быть, глупо из-за нее огорчаться.

Что касается меня, то я относился к Джонсону просто с холодным безразличием и презрением, считая его себялюбивым корыстным лекарем. Поэтому я часто увещевал Долговязого Духа, когда тот ополчался на Джонсона и осыпал его всевозможными непристойными эпитетами. Впрочем, в присутствии своего собрата по профессии, он никогда не вел себя так и проявлял внешнее дружелюбие, чтобы с бóльшим успехом устраивать ему каверзы.

Я сейчас расскажу еще одну историю о моем долговязом приятеле и портовом враче. И тому и другому я не собираюсь уделять слишком много внимания, но так как этот случай действительно произошел, я должен о нем упомянуть.

Через несколько дней после того, как Джонсон представил счет, о чем я упоминал выше, доктор высказал мне свое сожаление по поводу того, что он (Джонсон), хотя мы и разыграли его для своего развлечения, все же умудрился на этом деле заработать. Интересно, добавил доктор, придет ли он к нам еще раз теперь, когда на дальнейшую оплату ему не приходится рассчитывать.

По забавному совпадению меньше чем через пять минут после этого замечания с самим Долговязым Духом произошел какой-то непонятный

припадок, и капитан Боб, присутствовавший при этом, никого не спросив, сразу же послал за Джонсоном мальчишку и велел ему бежать со всех ног.

Пока что мы перенесли доктора в Калабусу, и туземцы, собравшиеся толпой, стали предлагать различные способы лечения. Один сторонник энергичных мер стоял за то, чтобы больного держали за плечи, а кто-нибудь тянул его за ноги. Такой метод, способный, пожалуй, воскресить мертвеца, назывался «потата»; полагая, однако, что наш долговязый товарищ достаточно длинен и без дополнительного вытягивания, мы отказались «потатировать» его.

Вскоре нам доложили о появлении на Ракитовой дороге Джонсона; он шел так быстро и был так поглощен процессом движения, что позабыл, сколь неблагоприятно торопиться в тропическом климате. С него градом катился пот — должно быть, от теплоты чувств, а ведь мы считали его бессердечным человеком. Впрочем, впоследствии мы установили истинную причину такой самоотверженной спешки: Джонсона подгоняло просто профессиональное любопытство, желание увидеть небывалый в его полинезийской практике случай. При некоторых обстоятельствах матросы, обычно очень безалаберные, проявляют исключительную заботу о том, чтобы все делалось строго по правилам. Поэтому они предложили мне как ближайшему другу Долговязого Духа занять место у его изголовья, чтобы быть готовым выступить в роли «оратора» и отвечать на все вопросы врача, между тем как остальные будут молчать.

— В чем дело? — с трудом переводя дыхание, воскликнул Джонсон, влетая в Калабусу. — Как это случилось? Отвечайте быстро! — и он посмотрел на Долговязого Духа.

Я рассказал, как начался припадок.

— Странно, — заметил он, — очень странно; пульс довольно хороший. — И, перестав считать пульс, он положил руку на сердце больного.

— Но что означает эта пена на губах? — продолжал он. — Боже мой! Взгляните на живот!

Названная часть тела обнаруживала самые непонятные симптомы. Слышалось глухое урчание, и под тонкой хлопчатобумажной рубашкой можно было различить какие-то волнообразные движения.

— Колики, сэр! — высказал предположение один из зрителей.

— К черту колики! — крикнул врач. — Где это видано, чтобы от колик впадали в каталептическое состояние?

Все это время больной лежал на спине, неподвижно вытянувшись и не подавая никаких признаков жизни, кроме вышеупомянутых.

— Я пушу ему кровь! — воскликнул, наконец, Джонсон. — Пусть кто-нибудь сбегает за тыквенной бутылкой!

— Эй, там, — заорал Адмиралтейский Боб, словно увидел парус на горизонте.

— Что это, черт побери, происходит с ним! — воскликнул врач при виде того, как рот больного судорожно скривился на сторону и застыл в таком положении.

— Может быть, у него пляска святого Витта, — предположил Боб.

— Держите бутылку! — и в одну секунду был извлечен ланцет.

Но прежде чем Джонсон успел приступить к операции, гримаса на лице больного пропала, послышался тяжелый вздох, веки задрожали, глаза приоткрылись, снова закрылись, и Долговязый Дух, весь дернувшись, повернулся на бок и громко задышал. Постепенно он настолько оправился, что обрел способность говорить.

Попытавшись извлечь из него что-либо членораздельное, Джонсон удалился, явно разочарованный, так как случай не представлял научного интереса.

Вскоре после его ухода доктор сел, и когда его спросили, что же в конце концов с ним было, таинственно покачал головой. Затем он стал жаловаться, как тяжело ему, больному, находиться в таком месте, где для него нет сколько-нибудь подходящего питания. Это пробудило сочувствие в нашем добром старом страже, и тот предложил отправить его туда, где о нем будут лучше заботиться. Долговязый Дух согласился; четверо помощников капитана Боба сразу же взвалили его себе на плечи и торжественно понесли, как тибетского верховного ламу.

Я не берусь объяснить странный обморок моего приятеля, но сильно подозреваю, что причиной, заставившей его попытаться таким способом покинуть Калабусу, было желание обеспечить себе более регулярное питание; видимо он надеялся на хороший стол у того доброжелательного туземца, к которому направился.

На следующее утро мы все завидовали удаче доктора, как вдруг он ворвался в Калабусу; настроение у него было явно плохое.

— К черту! — кричал он. — Я чувствую себя хуже, чем когда-либо; дайте мне чего-нибудь поесть!

Мы сняли подвешенный к стропилам тощий мешок с добытой на судах провизией и протянули ему сухарь. С жадностью грызя его, Долговязый Дух поведал нам свою историю.

— Уйдя отсюда, они рысцой двинулись со мной в долину и оставили в хижине, где в одиночестве жила какая-то старуха. Это, наверно, моя

будущая кормилица, подумал я и попросил нарезать свинью и зажарить ее, так как аппетит ко мне вернулся. «Ита! ита! Ои матти... матти нуи» (Нет, нет; ты слишком болен)». — «Сама матти, дьявол тебя забери, — сказал я, — дай мне чего-нибудь поесть!» Но у нее ничего не оказалось. Наступила ночь, и мне пришлось остаться. Забравшись в угол, я попытался уснуть, но тщетно: у старой карги, наверно, была ангина или еще что-то в этом роде, и она всю ночь дышала так тяжело и с таким свистом, что я в конце концов вскочил и в темноте стал подбираться к ней; но она, точно домовой, кинулась, прихрамывая, прочь, и больше я ее не видел. Как только вошло солнце, я поспешил вернуться, и вот я здесь.

Доктор больше не уходил от нас, и припадки у него не повторялись.

Глава LI

УИЛСОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НАС. ОТЪЕЗД НА ЭЙМЕО

Недели через три после отплытия «Джулии» мы очутились в довольно неприятном положении. У нас не было постоянного источника пропитания, так как суда стали реже заходить в бухту, и, что еще хуже, всем туземцам, кроме доброго старого капитана Боба, мы становились уже в тягость. Этому не следовало удивляться; нам приходилось жить за их счет, между тем как им не хватало для себя. К тому же голод подчас толкал нас на мародерство: мы похищали свиней и жарили их в лесу, что отнюдь не доставляло удовольствия их владельцам. При таком положении дел мы решили все вместе отправиться к консулу и, так как это он довел нас до столь бедственного состояния, потребовать от него обеспечения наших нужд.

Когда мы собирались уходить, подручные капитана Боба подняли отчаянный крик и пытались нас не пустить. Хотя до того мы бродили повсюду, где нам хотелось, объединение всех наших сил для специальной экспедиции, видимо, их взволновало. Мы заверили их, что не собираемся напасть на деревню; в конце концов после довольно длительного лопотания они разрешили нам уйти.

Мы направились прямо к резиденции Причарда, где жил консул. Дом этот, как я уже упоминал, очень удобный, с просторной верандой, застекленными окнами и прочими атрибутами культурного жилища. На лужайке впереди тут и там стоят, подобно часовым, стройные пальмы. Канцелярия консула, маленькое отдельное здание, находится тут же, внутри ограды.

Канцелярия оказалась запертой, но на веранде жилого дома мы заметили даму, которая подстригала волосы чопорному пожилому джентльмену в белом низком галстуке; такой мирной домашней картины я не наблюдал с тех пор, как покинул родину. Но матросы во что бы то ни стало хотели повидать Уилсона и уполномочили доктора подойти и вежливо осведомиться о его здоровье.

Пока Долговязый Дух приближался, почтенная чета не сводила с него весьма сурового взгляда, но он, ничуть не смутившись, отвесил степенный поклон и справился о консуле.

Услышав, что он ушел к морю, мы направились в ту сторону. Вскоре нам попался туземец и рассказал, что Уилсон, узнав о нашем появлении, видимо, вздумал избежать встречи. Мы решили разыскать его и, проходя по деревне, неожиданно столкнулись с ним: очевидно, он понял, что всякая попытка ускользнуть от нас бесполезна.

— Что вам от меня надо, мошенники? — воскликнул Уилсон. Такое приветствие вызвало в ответ град весьма крепких выражений. Заинтересовавшись подобным вступлением, вокруг нас стала собираться толпа туземцев; подошло и несколько иностранцев. Застигнутый за разговором с людьми, пользующимися столь сомнительной репутацией, Уилсон пришел в беспокойство и быстро направился к своей канцелярии. Матросы последовали за ним. Взбешенный, он обернулся и предложил нам убраться подобра-поздорову — ему не о чем больше разговаривать с нами; затем, что-то быстро сказав капитану Бобу по-таитянски, он поспешил дальше и не останавливался до тех пор, пока за ним не захлопнулась калитка причардовских ворот.

Наш добрый старый страж в огромной юбке, охваченный сильным волнением, суетливо бегал и заклинал нас вернуться в Калабусу. После недолгих пререканий мы согласились.

Эта встреча была решающей. Понимая, что обвинения, выдвинутые против нас, несостоятельны, но не желая формально от них отказываться, консул стремился окончательно избавиться от нас, но так, чтобы никто не заподозрил его в потворстве нашему побегу. Иначе объяснить его поведение мы не могли.

Однако кое-кто из нашей компании с поистине героической принципиальностью поклялся, что бы ни случилось, никогда не расставаться с консулом. Лично я уже мечтал о перемене; и так как наняться на судно, по-видимому, не было никаких надежд, я решил поискать какой-нибудь другой выход. Но прежде всего следовало подумать о товарище; разумеется, я остановил свой выбор на докторе. Мы сразу же принялись вместе обдумывать план, решив остальных в него пока не посвящать.

Несколькими днями раньше я встретился с двумя молодыми янки, близнецами; сбжав со своего судна на острове Фаннинг (необитаемом, но исключительно богатым всевозможными плодами), они прожили на нем довольно долго, а затем скитались по островам Товарищества. Сюда они прибыли с Эймео — ближайшего к Таити острова, где работали у двух иностранцев, которые недавно приступили к возделыванию там плантации. По словам моих земляков, эти люди поручили им прислать, если окажется

возможным, из Папеэте двух белых для работы на полях.

Ковыряться в земле казалось нам совершенно неподходящим занятием, но пренебрегать представившимся случаем покинуть Таити не следовало; итак, мы подготовились к тому, чтобы уехать с плантаторами, которые через несколько дней должны были прибыть в Папеэте на своей шлюпке.

Встреча состоялась, и нас представили им под именами Питер и Поль; они согласились платить Питеру и Полю пятнадцать серебряных долларов в месяц, пообещав прибавить, если мы останемся у них навсегда. Они хотели иметь постоянных работников. Чтобы не наткнуться на туземцев (многие из них, не вполне понимая наши отношения с консулом, могли задержать нас, если бы увидели, что мы уезжаем), отъезд был назначен на полночь.

Когда час расставания приблизился, мы рассказали остальным о своем намерении. Одни стали укорять нас за то, что мы их покидаем, другие хвалили и уверяли, что при первой возможности последуют нашему примеру. Наконец, мы распрощались. Об этой сцене мы вспоминали бы впоследствии, наверное, не без тихой грусти, ибо мы больше никогда не видели наших товарищей, если бы все не испортил Мак-Ги: обнимая доктора, он вытащил у него из кармана складной нож.

Мы крадучись спустились к берегу, где в тени рожи нас уже ожидала шлюпка. Немного погодя мы взяли за весла, а очутившись по ту сторону рифа, поставили парус и с попутным ветром тихо поплыли к Эймео.

Путешествие было приятное. Взошла луна, струился теплый воздух, волны мелодично плескались, а над нами во все стороны расстился величественный фиолетовый свод тропической ночи, усеянный кротко мерцающими звездами.

Пролив имеет в ширину около пяти лиг. По одну сторону вы видите три высоких пика, господствующие над горными хребтами и долинами; по другую — не менее живописные возвышенности Эймео, и среди них высоко к небу возносит свою зеленую остроконечную вершину одинокий пик, который наши спутники называли «Свайка».

Плантаторы оказались людьми общительными. Они были моряками, и это, конечно, сблизало нас. Чтобы закрепить дружбу, они извлекли бутылку вина — одну из тех, что им удалось раздобыть от самого буфетчика французского адмирала; в предыдущее посещение Папеэте плантаторы оказали этому буфетчику немалую услугу, познакомив любвеобильного француза с береговыми дамами. Кроме того, у наших новых друзей имелась тыквенная бутылка, полная мяса дикого кабана,

печеного ямса, сладкого картофеля и плодов хлебного дерева. Затем появились трубки и табак; и пока мы мирно покуривали, было рассказано много историй о соседних островах.

Наконец, послышался грохот бурунов у рифов Эймео; проскользнув через проход, мы пересекли внутреннюю лагуну, гладкую как чело молодой девушки, и пристали к берегу.

Глава LII

ДОЛИНА МАРТАИР

Пройдя несколько рощ, мы вышли на открытую поляну, где слышались голоса и виднелся свет, мерцавший из бамбукового домика. Это было жилище плантаторов. Пока они отсутствовали, хозяйство вело несколько девушек под присмотром старого туземца, который, завернувшись в таппу, лежал сейчас в углу и курил.

Наскоро приготовили кое-что поесть, а затем мы попытались вздремнуть. Но, увы! Нам помешал неожиданный бич. Москиты, не известные на Таити, крутились здесь вокруг нас несметным роем. Но подробней о них ниже.

Поднявшись спозаранку, мы вышли побродить и осмотреть местность. Мы находились в долине Мартаир, с обеих сторон отгороженной высокими холмами. Тут и там виднелись крутые утесы, пестревшие цветущими кустами или увитые виноградными лозами со свисавшими с них цветами. Довольно широкая у моря, долина, уходя в глубь страны, постепенно становится уже; на расстоянии нескольких миль от берега она заканчивается среди цепи самых причудливых гор, словно увенчанных крепостными башнями, которые заросли кустами и гибкими стволами деревьев. Самая долина представляет собой дикую чащу, прорезанную извивающимися потоками и узкими тропинками, похожими на туннели, проложенные сквозь сплошную массу листвы.

В этом диком месте вдали от берега стоял дом плантаторов в полном одиночестве, так как ближайшие соседи, несколько рыбаков с семьями, жили в рощице кокосовых пальм, корни которых омывало море.

Расчищенная полоса земли, ровная как прерия, тянулась акров на тридцать; часть ее обрабатывалась, а вокруг всей плантации шел крепкий частокол из прочно вкопанных стволов и ветвей деревьев. Ограда была необходима для защиты от диких быков и кабанов, во множестве водившихся на острове.

До настоящего времени основной возделываемой культурой был тумбесский картофель;^[98] на него предъявляли большой спрос суда, заходившие в Папеете. Имелось также небольшое поле таро, или индийской репы, поле ямса, а в одном углу — прекрасные посевы сахарного тростника, только что начавшие созревать.

Внутри ограды в той части, что ближе к морю, стоял дом, недавно выстроенный из бамбука в туземном стиле. Весь домашний инвентарь состоял из нескольких матросских сундуков, старого ящика, немногочисленных кухонных принадлежностей и земледельческих орудий, а также трех охотничьих ружей, подвешенных к стропилам, и двух огромных гамаков, висевших в противоположных углах и изготовленных из высушенных бычьих шкур, растянутых жердями.

Со всех сторон плантацию обступал густой лес, а около дома были нарочно оставлены карликовые «аоа» (разновидность баньяна^[99]), самым причудливым образом раскинувшие свои ветви над частоколом и дававшие приятную тень. Нижние сучья этого забавного дерева служили удобными сиденьями, на которых туземцы часто пристраивались, по обычаю своего племени, на корточках и, покуривая, болтали часами.

Мы плотно позавтракали рыбой — перед восходом солнца ее набили острой у рифа туземцы, — пудингом из индийской репы, жареными бананами и печеными плодами хлебного дерева.

За едой наши новые приятели держали себя очень дружелюбно и общительно. Выяснилось, что они, как почти все необразованные иностранцы, поселившиеся в Полинезии, когда-то сбежали с корабля и, наслушавшись рассказов о состояниях, нажитых от выращивания продуктов для китобойных судов, решили основать такое предприятие. С этим намерением они, скитаясь по разным местам, добрались, наконец, до долины Мартаир и, найдя, что почва там подходящая, приступили к делу. Прежде всего они разыскали владельца облюбованного ими участка и постарались, чтобы он стал их «тайо».

Владельцем оказался Тонои, вождь рыбаков — тот самый человек, который как-то, находясь под возбуждающим действием спиртного, сорвал со своих чресл куцую повязку из таппы и сообщил мне, что он связан кровным родством с самой Помаре и что его мать происходила из славного рода жрецов, чья власть, олицетворявшаяся бамбуковым посохом, простиралась в старину на весь тогда еще языческий остров Эймео. Королевская и поистине почтенная родословная! Но к описываемому мною времени темнокожий аристократ находился в стесненных обстоятельствах, а потому охотно согласился уступить десяток-другой акров ненужной ему земли. Взамен он получил от чужеземцев два или три старых ревматических ружья, несколько красных шерстяных рубах и обещание заботиться о нем, когда он состарится: у плантаторов он всегда найдет для себя приют.

Вознамерившись занять в доме более приятное положение тестя, он

без обиняков предложил своих двух дочерей в жены, но в качестве таковых от них вежливо отказались; наши искатели приключений, хотя и не прочь были поухаживать, не хотели связывать себя матримониальными узами и не прельстились даже столь блестящим родством.

Подданные Тонои рыбаки из роци были жалкими созданиями. Вдалеке от отеческих забот миссионеров, они предавались лени и всякого рода порокам. Бродя утром по опушке, вы то и дело натыкались на них; одни дремали в пирогах, вытащенных на берег в тень кустов, другие лежали под деревом и курили, а еще чаще играли в камешки, хотя трудно сказать, что, кроме небольшого количества табаку, могло служить ставками в их примитивных играх. Были у них и другие нехитрые развлечения, по-видимому доставлявшие им большое удовольствие. Что касается ловли рыбы, то ей они уделяли лишь ничтожную часть времени. В общем же это был веселый народ, живший в бедности и безбожии.

Тонои, старый греховодник, каждое утро обязательно играл в камешки, прислонившись к упавшему стволу кокосовой пальмы, причем седовласый шулер-туземец постоянно обжуливал его и отбирал половину табаку, который он получал от своих друзей плантаторов. Под вечер он брел обратно к их дому, где проводил время до утра, то покуривая, то подремывая, а иногда разглагольствуя о злополучной судьбе рода Тонои. Но подобно другим беспечным, выжившим из ума старикам, он обычно бывал совершенно доволен своей привольной жизнью на всем готовом.

В общем долина Мартаир была самым спокойным местом, какое только можно вообразить. Если бы удалось заставить москитов убраться, то провести там август было бы очень приятно. Однако, как вскоре увидит читатель, Долговязому Духу и мне не повезло, и нас ждало иное.

Глава LIII

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ПОЛИНЕЗИИ

Плантаторы оба были прямодушные парни, но во всем остальном совершенно не походили друг на друга.

Один был высокий крепкий янки с желтоватым удлинённым лицом, родившийся в лесной глуши штата Мэн, другой — низенький лондонец, который, впервые открыв глаза, увидел Монумент.^[100]

Зик, янки, гнусавил, подобно треснувшей виоле, а Коротышка (как называл его товарищ) произносил слова, как настоящий кокни.^[101] Он, хотя и не принадлежал к числу самых высоких людей в мире, был красивым парнем лет двадцати пяти. На его щеках играл прекрасный англосаксонский румянец, ставший еще гуще от бродячей жизни; он смотрел на божий свет широко раскрытыми голубыми глазами, а на голове у него вились густые светлые волосы.

Зик красотой не отличался. Уродливый, сильный человек, он мог справиться с любой физической работой; и это было все. Глаза ему служили, чтобы смотреть, а не строить глазки. По сравнению с лондонцем он казался серьезным и довольно молчаливым, но, несмотря на это, в нем таилось много доброго старого юмора. В остальном он отличался прямой, добродушием, умом, решительностью и, подобно Коротышке, полной безграмотностью.

Эта пара, хоть и представляла несколько странное сочетание, прекрасно ладила между собой. Но так как никогда не бывает, чтобы при объединении двух человек для совместного дела один из них не взял верха над другим, то в большинстве случаев распоряжался Зик. Заразившись от него, Коротышка тоже проникся духом несокрушимого трудолюбия и бог весть какими идеями насчет способов сколотить состояние при помощи их плантации.

Нас это сильно беспокоило, ибо мы без всякого удовольствия предвкушали, как наши хозяева на своем собственном примере будут учить нас работать не щадя сил. Но теперь было слишком поздно жалеть о содеянном.

В первый день, благодарение судьбе, мы ничего не делали. Считая нас пока что гостями, они несомненно думали, что было бы неделикатно предложить нам работать, прежде чем наше прибытие не будет должным

образом отпраздновано. На следующее утро, однако, оба плантатора имели деловой вид, и нам пришлось взяться за работу.

— Ну, ребята, — сказал Зик, выбивая после завтрака трубку, — надо приступать. Коротышка, дай вот ему, Питеру (доктору), большую мотыгу, а Полю другую, и пошли.

Коротышка направился в угол, принес оттуда три мотыги и, беспристрастно распределив их, зашагал вслед за своим компаньоном, который пошел вперед с чем-то вроде топора в руках.

Мы на мгновение остались в доме одни и обменялись испуганными взглядами. Мы оба были вооружены большими неуклюжими дубинами с тяжелым плоским куском железа на конце.

Металлическую часть орудия, специально приспособленную к девственной почве, привезли из Сиднея, палки, вероятно, изготовили на месте. О так называемых мотыгах мы слышали и даже видели их, но те были совершенно безвредными по сравнению с орудиями, которые мы держали в руках.

— Что нужно с ними делать? — спросил я у Питера.

— Поднимать и опускать, — ответил он, — или еще как-нибудь размахивать ими. Поль, мы попали в переделку... Слышишь? Они зовут нас. — И, взвалив мотыги на плечи, мы двинулись в путь.

Мы направились к дальнему концу плантации, где земля была частично расчищена, но еще не взрыхлена; теперь Зик и Коротышка принимались за эту работу. Когда мы остановились, я спросил, почему они не пользуются плугом; почему бы не поймать молодого дикого бычка и не приучить его тащить плуг?

Зик ответил, что, насколько он знает, нигде в Полинезии крупный рогатый скот для этой цели не применяется. Что касается мартаирской почвы, то в ней повсюду очень много переплетающихся между собой корней, и ни один плуг ее не возьмет. Для такой земли годятся только тяжелые сиднейские мотыги.

Итак, работа ждала нас; но прежде чем приступить к ней, я попытался вовлечь янки в дальнейший дружеский разговор о характере девственных почв вообще и почвы долины Мартаир, в частности. Такая хитроумная уловка оживила Долговязого Духа, и он стоял рядом, готовясь вступить в беседу. Но все, что наш приятель счел нужным рассказать по поводу обработки земли, относилось лишь именно к той части плантации, где мы находились; сообщив нам по этому вопросу достаточно, чтобы мы могли с наибольшим успехом взяться за работу, он сам приступил к ней, а Коротышка, глядя на товарища, последовал его примеру.

Местами из земли выступали низко обрубленные стволы кустарника, который когда-то рос там сплошной чащей. Казалось, их намеренно оставили торчать, чтобы было за что ухватиться при вытаскивании корней. Разрыхлив твердую землю многочисленными ударами мотыги, янки принялся выдергивать один из корней; он крутил его то туда, то сюда, дергал, вертел, а затем стал тянуть в горизонтальном направлении.

— Ну же, помогите! — воскликнул он, наконец.

Мы подбежали и ухватились все вчетвером. От наших усилий земля дрожала и судорожно корчилась, но упрямый корень все не поддавался.

— Проклятие! — крикнул Зик. — Надо было захватить из дому веревку; сбегай за ней, Коротышка.

Мы привязали веревку, ухватились за нее на некотором расстоянии друг от друга и снова стали тащить.

— Затяни-ка песню, Коротышка, — сказал доктор, становившийся общительным при более коротком знакомстве.

Среди матросов такой способ облегчения работы, если она представляет какую-либо трудность, дает прекрасный результат. Поэтому, желая по возможности поддержать хорошее настроение, Коротышка начал «Были ли вы когда-нибудь в Дамбартоне?» — чудесно подбадривающую, но несколько непристойную хоровую песню матросов, ходящих на шпиле.

Наконец, янки охладил его энтузиазм, крикнув в сердцах:

— К черту твое пение! Умолкни и тяни.

Мы тянули в самом унылом молчании; наконец, рванув так, что у нас затрещали кости, мы вытащили корень, а сами весьма неизящно плюхнулись на землю. Доктор, совершенно обессиленный, оставался лежать; пребывая в обманчивой уверенности, что после такого подвига нам разрешат прервать работу, он снял шляпу и стал обмахиваться.

— Довольно тяжелый был дядя, правда, Питер? — произнес янки, подходя к доктору. — Но они зря упираются; будь я проклят, если им не придется так или иначе всем вылезти. Ура! А ну-ка беремся за следующий!

— Смилуйтесь, — воскликнул доктор, медленно поднимаясь и оборачиваясь ко мне. — Он уморит нас!

Снова взявшись за мотыги, мы работали то поочередно, то вместе, в зависимости от обстоятельств, пока не настало «время полуденного отдыха».

Этот период, называемый так плантаторами, охватывал около трех часов в середине дня, когда в тихой нагретой долине, защищенной от пассата и открытой только в подветренную сторону острова, было невыносимо жарко и о работе на солнцепеке не могло быть и речи.

Пользуясь гиперболой Коротышки, «жара была такая, что у медной обезьяны того и гляди нос расплавится».

Возвратясь домой, Коротышка с помощью старого Тонои сварил обед, и когда все мы отдали ему должное, лондонец и Зик завалились в один из гамаков, а нам предложили занять второй. Решив, что мысль неплоха, мы так и поступили, и после небольшой стычки с москитами нам удалось задремать. Что касается плантаторов, то более привычные к «полуденному отдыху», они сразу же повернулись друг к другу спинами и вскоре захрапели во все носовые завертки. Тонои дремал в углу на циновке.

Наконец, нас разбудил крик Зика:

— Вставать, ребята, вставать! Подъем; пора снова за дело!

Взглянув на доктора, я тотчас же понял, что он решил на какую-то уловку.

Томным голосом он сказал Зику, что чувствует себя не совсем хорошо; он уже некоторое время сам не свой, хотя небольшой отдых, без сомнения, поставит его на ноги. Янки, испугавшись, как бы, насев на нас с самого начала, он вовсе не лишился нашей ценной помощи, сразу же стал говорить, что мы не должны насиловать себя и перетруждаться, если мы пока не склонны работать. Затем, пропустив мимо ушей заявление моего товарища о том, что ему в самом деле нездоровится, Зик просто посоветовал ему, коль скоро он так устал, полежать весь остаток дня в гамаке. А я, если это доставит мне удовольствие, могу пойти вместе с ним на небольшую прогулку к соседним холмам, чтобы поохотиться на быков. Я с готовностью согласился на такое предложение, хотя у Питера, бывшего заядлым охотником, вытянулось лицо. Немедленно сверху достали ружья и огнестрельные припасы; как только все было готово, Зик крикнул:

— Тонои! Пошли; арамаи! (вставай) ты нам нужен в качестве лоцмана. Коротышка, дружище, присмотри здесь за всем, ты знаешь; и если ты не прочь, то там на поле остались еще эти корни.

Уладив домашние дела к собственному удовольствию, но, как мне подумалось, не к слишком большой радости Коротышки, он повесил через плечо пороховницу, и мы отправились в путь. Тонои немедленно послали вперед; миновав плантацию, он зашагал по тропинке, которая вела к горам.

Некоторое время мы быстро пробирались сквозь заросли, а затем вышли на залитую солнцем поляну у самого подножия холмов. Там Зик указал вверх в сторону далекой нависшей скалы, где стоял, точно изваяние, бык с закинутыми назад рогами.

Глава LIV

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИКИХ БЫКАХ В ПОЛИНЕЗИИ

Прежде чем продолжать наше повествование, следует вкратце рассказать об этих диких быках и о том, каким образом они попали на Эймео.

Лет пятьдесят назад Ванкувер оставил в различных местах на островах Товарищества по нескольку голов крупного и мелкого рогатого скота. Он наказал туземцам тщательно заботиться о животных и ни в коем случае не убивать их, пока не наберется большое стадо.

Овцы, должно быть, скоро вымерли, так как нигде в Полинезии я не видел ни одной овчины. Возможно, оставленная пара была плохо подобрана; питая друг к другу отвращение, самец и самка расстались и умерли, не оставив потомства.

Козы иногда попадаются — черные, меланхолично щиплющие где-нибудь в горах, недоступных для человека, скудную траву, которую они предпочитают сочной траве долин. Коз не очень много.

Быки, полные жизни потомки плодovитой пары, носятся по острову Эймео большими стадами, но на Таити они встречаются редко. На Эймео первая пара, вероятно, удрала в глубь страны, так как ее потомство в настоящее время густо заселило весь остров. Стада составляют личную собственность королевы Помаре: наши плантаторы получили от нее разрешение убивать животных для собственных нужд столько, сколько им заблагорассудится.

Туземцы очень боятся быков и поэтому крайне неохотно пересекают остров, предпочитая добираться на пирогах до деревни, расположенной на противоположном берегу.

Тонои знал бесчисленные истории о быках, носившие большей частью сказочный характер. Приведу одну из них.

Однажды он вместе со своим братом — теперь покойным — шел через холмы, как вдруг большой бык с громким мычанием выбежал из лесу и заставил их пуститься наутек. Старый вождь вскочил на дерево; бык помчался за его спутником, который побежал в противоположную сторону, и, догнав его, когда тот ухватился уже за сук, стал топтать ногами. Потом животное вонзило в свою жертву рога, подняло ее на воздух и унесло

прочь. Тонои, ни жив ни мертв, выждал, пока все не кончилось, а затем помчался опрометью домой. Соседи, вооружившись несколькими ружьями, немедленно пустились в путь, чтобы отыскать, если удастся, останки его несчастного брата. К ночи они вернулись, не обнаружив никаких следов его; однако на следующее утро Тонои сам увидел быка; тот шел по крутому склону горы, держа на рогах какой-то длинный темный предмет.

Упомянув о попытке Ванкувера заселить острова Товарищества полезными четвероногими, мы можем в дополнение рассказать об успехе, достигнутом им на Гавайи, одном из самых больших островов во всей Полинезии, от которого произошло туземное название хорошо известного архипелага, названного Куком в честь лорда Сандвича.

Гавайи имеет в окружности около ста лиг, а площадь его составляет свыше четырех тысяч квадратных миль. До недавнего времени внутренняя часть острова оставалась почти неизвестной даже для местных жителей, на протяжении столетий избегавших заходить туда из-за каких-то странных суеверий. По их представлениям, Пеле, страшная богиня вулканов Мауна-Роа и Мауна-Кеа, [\[102\]](#) охраняет все ущелья, ведущие к обширным долинам, расположенным вокруг. Из уст в уста передают легенды о том, как богиня потоками огня прогнала нечестивых смельчаков. Вблизи от Хило показывают черную как смоль скалу: по ее склону словно изливается в море поток стекловидной массы — в том самом виде, в каком он застыл после одного из чудовищных извержений.

В эти внутренние долины и на примыкающие к ним склоны предгорий, покрытые самой роскошной растительностью, вскоре и перебрались высаженные Ванкувером коровы и быки; там, долгое время никем не тревожимые, они расплодились, и их потомки составили большие стада.

Лет двенадцать-пятнадцать назад туземцы, забыв о своих предрассудках и узнав, что бычьи шкуры — ценный предмет торговли, принялись охотиться на их обладателей, но, будучи очень трусливыми и не обладая сноровкой в новом для них деле, больших успехов не достигли. Только после прибытия группы испанских охотников, людей, постоянно практиковавшихся в своей профессии на равнинах Калифорнии, началось настоящее избиение.

Испанцы были щеголеватые ребята, в причудливых ярких плащах, с крагами, отделанными иглами дикобраза, со звенящими шпорами на ногах. Верхом на выезженных индейских лошадях эти герои преследовали добычу до самого подножия огнедышащих гор, нарушая своим громким криком глубокую тишину уединенных долин и бросая лассо перед самым

носом злой богини Пеле. Хило, прибрежная деревня, служила им местом отдыха, и туда стекались белые бродяги со всех островов архипелага. Переняв повадки лихих испанцев, многие из этих беспутных парней, осушив слишком большое количество прощальных кубков, скакали сломя голову за стадами, нетвердо держась в седле, падали с лошадей и убивались насмерть.

Это было примерно в 1835 году, когда теперешний король Камеамеа III^[103] был юношей. С истинно царственным бесстыдством объявив себя единственным владельцем всего рогатого скота, он в восторге ухватился за возможность удерживать в свою пользу по одному из каждых двух серебряных долларов, уплачиваемых за шкуру. И вот, не заботясь о будущем, люди продолжали безрассудное истребление коров и быков. За три года их убили восемнадцать тысяч, притом почти исключительно на острове Гавайи.

Когда стада были почти полностью уничтожены, пронизательный молодой государь наложил сроком на десять лет строгое «табу» на немногочисленных оставшихся в живых быков. В течение этого периода, который и сейчас еще не окончился, была запрещена всякая охота без специального разрешения короля.

Наряду с крупным рогатым скотом избиению подверглись и несчастные козы. За один год купцам из Гонолулу было продано три тысячи козьих шкур по одному квартильо^[104] или шиллингу за штуку.

После этого отступления пора последовать за Тонои и янки.

Глава LV

ОХОТНИЧЬЯ ПРОГУЛКА С ЗИКОМ

От подножия горы вела вверх крутая, окаймленная кустами тропинка, огибавшая скалы и расселины. Тут и там зияли зеленые пропасти: стоило в них заглянуть, как начинала кружиться голова. Наконец, мы добрались до венчающего горы лесистого гребня; вдоль него тропинка шла в густой тени наподобие галереи.

Во все стороны открывался чарующий вид. Дул легкий ветерок, шелестевший среди деревьев, а внизу в долине трепетали листья; за ней расстилалось море, синее и безмятежное. По направлению к центру острова рельеф повышался, образуя хребет за хребтом и вздымающиеся друг над другом пики; и все купалось в призрачной дымке тропиков, навевавшей грезы. Вдали на много миль в глубокой тени гор лежали тихие долины; кое-где шум уединенного водопада нарушал тишину. А высоко над всем островом, в самом центре поднимал свой перст пик Свайка. На склонах гор виднелись небольшие стада быков; некоторые мирно паслись, другие медленно спускались в долины.

Мы шли все дальше, направляясь к склону холма милях в двух впереди, где виднелись ближайšie быки.

Мы предусмотрительно приближались к ним против ветра, ибо, подобно всем диким животным, они обладают исключительно тонким обонянием и острым слухом.

К тому же, пробираясь сквозь чащу, мы легко могли спугнуть других лесных обитателей, а потому подкрадывались очень осторожно.

Дикие кабаны на Эймео необычайно свирепы, и так как они часто нападают на туземцев, то, следуя примеру Тонои, я время от времени заглядывал под листву и часто оборачивался, чтобы посмотреть, не отрезан ли путь к отступлению.

Когда мы огибали купу кустов, какой-то шум за нами, напоминавший треск сухой ветки, нарушил тишину. Тонои мгновенно схватился за сук, готовый к прыжку, а палец Зика лег на курок ружья. Снова послышался треск, и решив, что время настало, я приложил ружье к плечу.

— Смотрите в оба! — крикнул янки и, опустившись на колени, раздвинул ветви. Сразу же раздался выстрел его ружья, и черный разъяренный кабан — его вишнево-красные губы сморщились, обнажая два

блестящих клыка, — с диким хрюканьем ринулся, совершенно невредимый, через тропинку и с шумом скрылся в зарослях по другую сторону. Я приветствовал его выстрелом вдогонку, но моя вежливость была оставлена без малейшего внимания.

К этому времени Тонои, славный потомок епископов Эймео, находился на высоте двадцати футов над землей.

— Арамаи! Спускайся, старый дурак! — крикнул янки. — Противная животина уже на той стороне острова.

— Сдается мне, — продолжал он, когда мы принялись перезаряжать ружья, — зря мы стреляли по этому треклятому кабану; только всю охоту испортили. Быки слышали шум и скачут теперь вовсю, задрав хвосты. Быстрее, Поль, полезем вон на ту скалу и взглянем, все ли они убежали.

Но быки были уже так далеко, что казались не больше муравьев.

Так как приближался вечер, мой спутник предложил немедленно вернуться домой, а затем, хорошенько выспавшись, утром отправиться на целый день поохотиться объединенными силами плантации.

Спускаясь в долину по другой тропинке, мы пересекли несколько горных склонов, поросших великолепными деревьями.

Одна из древесных пород особенно привлекла мое внимание. Толстый, покрытый мхом ствол вышиной в семьдесят с лишним футов вначале шел без единого сучка, и лишь на высоте многих футов над землей от него отходили толстые ветви, покрытые глянцевитой листвой темно-зеленого цвета. Вокруг нижней части дерева торчали тонкие, похожие на горбыли, совершенно гладкие подпорки из коры, росшие из одного центра и уходившие в землю на расстоянии по меньшей мере двух ярдов от основания ствола. Эти естественные подпорки кверху суживались и постепенно переходили в самый ствол. Некоторые признаки указывали на то, что среди них укрывались быки. По словам Зика, это дерево в старину шло на постройку флотилий таитянских королей. Оно употребляется на пироги и теперь. Древесина у него исключительно плотная и прочная, ее и червь не берет.

Спустившись до половины холма, мы вышли из лесу и очутились на открытом месте, поросшем папоротником и травой, на которую несколько одиноких деревьев отбрасывали длинные тени в лучах заходящего солнца. Там мы обратили внимание на участок земли площадью в сотню квадратных футов, заросший дикими травами и терновником и издававший глухой звук под нашими шагами; он был окружен разрушенной каменной стеной. Тонои сказал, что это заброшенное и всеми забытое место древнего погребения, где никого не хоронят с тех пор, как островитяне стали

христианами. Там лежало много мертвых язычников, замурованных в глубоких склепах.

Мне захотелось проверить слова старика, и я попытался было осмотреть катакомбы, но растительность образовала поверх них сплошной покров, и я не смог обнаружить ни одного отверстия.

По дороге в долину мы прошли мимо ручья, возле которого когда-то была деревня, давно покинутая жителями. Там ничего не осталось, кроме каменных стен и полуразрушенных грубых фундаментов из того же материала. Среди них буйно разрослись большие деревья и кусты.

Я спросил Тонои, сколько времени здесь никто уже не живет.

— Мой таммари (мальчик). Мартаир много каннака (людей), — ответил он. — Теперь остался только бедный пехе каннака (рыбаки). Мой здесь родился.

Внизу в долине разнообразная растительность была не похожа на ту, что мы видели в горах.

На равнинах Эймео самым распространенным деревом является «ати» — очень высокое с толстым стволом и широкими листьями, по форме напоминающими лавровые. Древесина у него великолепная. На Таити мне показывали узкую полированную доску, достойную того, чтобы из нее сделали шкатулку для короля. Вырезанная из сердцевины ствола доска была густого ярко-алого цвета с желтыми прожилками, а местами слегка дымчатого оттенка.

Рядом с царственным «ати» можно увидеть прекрасное цветущее дерево «хоту»; пирамиду его блестящей листвы оживляет множество мелких белых цветов.

Почти вся долина поросла густым лесом, но, к своему удивлению, я обнаружил в ней очень мало деревьев, приносящих пользу островитянам; едва ли одно из сотни было среди них кокосовой пальмой или хлебным деревом.

Но и тут Тонои смог дать мне объяснение. Во время кровавых религиозных войн, возникших после обращения в христианство первого Помаре, военный отряд с Таити погубил («окольцевав» кору) целые рощи этих ценных деревьев. Потом они еще долго стояли на солнце сухие и безлистые — печальные памятники, олицетворявшие судьбу, которая постигла жителей долины.

Глава LVI

МОСКИТЫ

В ночь после моего возвращения с охоты мы с Долговязым Духом вынуждены были, несмотря на доблестную защиту, покинуть дом из-за москитов.

Теперь следует рассказать широко распространенную среди туземцев легенду о том, каким образом эти насекомые появились на острове.

Несколько лет назад капитан китобойного судна, зашедшего в соседнюю бухту, имел столкновение с окрестными жителями и в конце концов обратился с жалобой в один из туземных судов. Не получив, однако, удовлетворения и сочтя себя обиженным, он решил достойно отомстить. Как-то ночью он свез на берег старую сгнившую бочку из-под пресной воды и оставил ее на заброшенном поле таро, где почва была теплая и влажная. Вот откуда и появились москиты.

Я сделал все возможное, чтобы выяснить фамилию этого человека, и считаю своим долгом увековечить ее для потомства. Его звали Колман, Натан Колман. Судно было приписано к Нантакету.^[105]

Когда меня мучили москиты, я находил большое облегчение в том, что к слову Колман прибавлял еще одно и энергично произносил их вместе.

Доктор предложил прогуляться к берегу, где стоял длинный низкий полуразрушенный сарай, из конца в конец продуваемый сквозняком, который, по его мнению, мог спасти нас от москитов. Туда мы и направились.

Под этими развалинами мы обнаружили памятник давно прошедших времен. Несколько дней спустя мы его осмотрели с большим интересом. Это была старая полуистлевшая военная пирога. Она стояла, очевидно, на тех же грубых колодах, что служили подпорами, когда много лет назад ее выдалбливали, и, по всей вероятности, никогда не плавала.

Снаружи пирога первоначально была, по-видимому, окрашена в зеленый цвет, ныне местами превратившийся в темно-багровый. Нос заканчивался высоким тупым выступом, борта украшала резьба, а на корме сохранилось, по мнению Долговязого Духа, что-то вроде герба королевского дома Помаре. Эмблема действительно напоминала геральдическую — две акулы с соколиными когтями, вонзившимися в сучок, намеренно оставленный и торчавший наружу.

Пирога имела в длину около сорока футов, около двух в ширину и четыре в глубину. Верхняя часть бортов (состоявшая из узких досок, скрепленных шнурами из растительного волокна) во многих местах обвалилась и лежала, догнивая, на земле. Места для спанья все же было достаточно; мы прыгнули в пирогу — доктор на нос, а я на корму. Вскоре я уснул, а когда внезапно проснулся от вызванных неудобным положением судорог во всех суставах, то на мгновение подумал, что меня, должно быть, заживо захихали в гроб.

Засвидетельствовав свое почтение Долговязому Духу, я осведомился, как поживает он.

— Довольно плохо, — ответил доктор, беспокойно ворочаясь на всяком хламе, валявшемся на дне пироги. — Фу! Как воняют эти старые циновки!..

Некоторое время он продолжал что-то говорить в таком же возбужденном тоне, и я перестал отвечать, занявшись математическими размышлениями, чтобы поскорей уснуть. Но так как таблица умножения не помогала, я постарался представить себе туманную картину хаоса в виде какой-то скользкой жидкости, и только начал благодаря этому задремывать, как вдруг услышал отчетливое одинокое жужжание. Час моих мучений приближался. С характерным гудением москит, подобно маленькой меч-рыбе, ринулся в пирогу, а я из пироги.

Очутившись под открытым небом, я с удивлением увидел Долговязого Духа, который дико размахивал старым веслом. Он только что бесшумно сбежал от роя москитов, атаковавших его на носу.

Мы решили искать спасения в море и быстро спустили на воду маленькую рыбацью лодку, лежавшую поблизости на берегу; мы отгребли на порядочное расстояние и бросили за борт туземное приспособление, заменяющее якорь — тяжелый камень, привязанный к веревке из плетеной коры. С этой стороны острова окружающий его риф тянулся совсем близко от берега, и море между ними было тихое и очень мелкое.

Идея оказалась блестящая! Мы проспали как убитые до самого восхода солнца, когда нас разбудило движение нашей плавучей койки. Я раскрыл глаза и увидел Зика, который брел по воде к берегу и тащил нас за собой за веревку из коры. Указав на риф, он объяснил нам, что мы находились на волосок от гибели.

Так оно и было; водяные вытащили камень из петли, и нас стало относить от берега.

Глава LVII

ВТОРАЯ ОХОТА В ГОРАХ

Над мартаирскими холмами занималось ясное утро, суля прекрасный день для охоты.

Все приготовления были сделаны накануне, и когда мы вошли в дом, Коротышка угостил нас хорошим завтраком, а старый Тонои суетился, как хозяин гостиницы. Несколько его подданных также ждали, чтобы сопроводить нас и нести тыквенные бутылки с едой; если охота окажется успешной, им предстояло на обратном пути выступать в роли носильщиков и тащить нашу добычу.

Узнав накануне вечером о замышляемой охоте, доктор выразил желание принять в ней участие.

Последовавшие события заставили нас заподозрить, что вся эта экспедиция была лишь хитроумной уловкой со стороны янки.

С каким лицом сможем мы отказаться от работы после того, как он возьмет нас на такую приятную прогулку? Да еще так благородно предоставляет нам свободный день? Ведь он не преминул заверить нас, что, будем ли мы работать или развлекаться, все равно жалованье нам идет.

В распоряжение доктора было предоставлено старинное ветхое ружье Тонои, очень короткое и тяжелое, с неуклюжим затвором и тугим курком, для спуска которого требовалось приложить немало усилий. Долговязый Дух испробовал ружье, выстрелив из него в цель, и с удовлетворением убедился, что оно действует безотказно: пуля полетела в одну сторону, а он сам в другую.

После этого доктор попытался убедить Коротышку поменяться ружьями, но тот не поддался на уговоры, и в конце концов он поручил тащить свое оружие одному из туземцев. Выстроив отряд, мы пустились в путь к верховью долины. Вблизи оттуда начиналась тропинка; она вела к цепи гор, считавшихся излюбленным убежищем быков.

Добравшись до перевала, мы почти сразу увидели невдалеке небольшое стадо, которое входило в лес. Мы прибавили шагу и, разделившись на группы, каждая из которых состояла из одного белого и нескольких туземцев, также вступили в лес в четырех разных местах.

Вскоре я очутился среди густых зарослей; оглядевшись, я только что успел выбраться на открытую поляну, как вдруг раздался выстрел и пуля

сбила кору со стоявшего поблизости дерева. В то же мгновение слышались топот и треск ломаемых ветвей, и пять быков, бежавшие почти в ряд, показались в просвете между деревьями и бросились как раз к тому месту, где находились я и три островитянина.

Это были низкорослые свирепые животные с черной шерстью, короткими острыми рогами, красными ноздрями и горевшими, как раскаленные угли, глазами. Они приближались, низко опустив темные, покрытые густой шерстью головы.

К этому времени моя туземная подмога уже сидела на деревьях. Бросив мгновенный взгляд вокруг, чтобы присмотреть себе на случай необходимости путь к отступлению, я вскинул ружье, когда из чащи слышался голос Коротышки: «Цельтесь между рогами, Поль! Прямо в середину между рогами!» — Я опустил дуло ружья, лоя на мушку белый клочок шерсти на лбу переднего быка, и, послав пулю, отскочил в сторону. Когда я снова обернулся, пять быков пронеслись мимо, оставив за собой воздушный вихрь.

Тут выскочил янки и приветствовал их выстрелом с фланга. В ответ на это свирепый маленький бык с клочком шерсти на лбу, взмахнув длинным хвостом и ударив себя по крестцу, поддал задними ногами и помчался во весь опор. Пуля лишь слегка оцарапала его. Через мгновение быки скрылись из виду и только заросли, в которых они исчезли, шевелились наверху, отмечая их путь.

Когда стычка уже кончилась, появилась тяжелая артиллерия в лице долговязого доктора с его пищалью.

— Где они? — крикнул он, еле переводя дух.

— В данный момент мили за две, — ответил лондонец. — Черт возьми, Поль! Вы должны были вклепать пулю в этого маленького черного.

Пока я приводил всяческие оправдания в объяснение своего промаха, Зик, бросившись вперед, внезапно воскликнул:

— Ради бога! Что вы там делаете, Питер?

Питер, разъяренный неудачей и по неведению приписав ее трусости наших туземных помощников, направил дуло своего ружья на дрожащего оруженосца, слезавшего с дерева.

Доктор нажал курок, и пуля пролетела высоко над головой островитянина; тот спрыгнул на землю и, вскрикнув дурным голосом, пустился бежать со всех ног. Остальные после этого шли за нами, дрожа от страха.

Снова построившись походным порядком, мы несколько часов двигались вперед, но не заметили ни одного животного, так как выстрелы

были слышны на большом расстоянии. Наконец, мы взобрались на крутую гору, чтобы осмотреть окружающую местность, и оттуда увидели трех быков, которые мирно паслись внизу на зеленой поляне среди леса; деревья скрывали их со всех сторон.

Мы прежде всего осмотрели ружья, потом быстро съели принесенный в тыквенных бутылках завтрак и тронулись в путь. Пока мы спускались по склону горы, быки были ясно видны; вступив в лес, мы на некоторое время потеряли их, но снова обнаружили, как только подошли к тому месту, где они паслись.

Это были бык, корова и теленок. Корова лежала в тени на опушке леса. Теленок растянулся в траве перед ней и лизал ей губы, между тем как старый самец стоял рядом, бросая отеческие взгляды на эту семейную картину и с видом гордого супруга поднимая нос кверху.

— Теперь, — прошептал Зик, — надо захватить этих бедняжек, пока они столпились в кучу. Ползем, ребята, ползем. Помните, стрелять всем вместе и только по моей команде.

Мы подкрались к самому краю открытой поляны и стали на колени за кустами, просунув наведенные дула между ветками. Послышался легкий шорох. Бык обернулся, опустил голову к земле, издал глухой сердитый рев и принялся нюхать воздух. Корова приподнялась на колени, тревожно нагнулась вперед и встала на ноги, а теленок, насторожившись, залез ей под брюхо. Все трое стояли рядом, и казалось, вот-вот бросятся бежать.

— Я беру на себя быка, — воскликнул наш предводитель. — Огонь!

Теленок упал как подкошенный; его мать замычала и сунулась головой в чащу, но сразу же повернулась, с жалобным стоном приблизилась к мертвому теленку и стала ходить вокруг него, злобно сопя кровоточащим носом. Треск веток в лесу и яростный рык отмечали путь убегающего быка. Вскоре раздался еще один выстрел, и корова упала. Оставив нескольких туземцев сторожить убитую добычу, мы бросились в погоню за быком; его ужасающий рев привел нас к тому месту, где он лежал. Раненный в плечо, обезумевший от страха и боли, он бросился в чащу леса, но когда мы подошли, лежал на земле в зеленой ложбине, уткнувшись черной мордой в лужу собственной крови, струившейся из раны и забрызгавшей всю шкуру.

Янки поставил ружье на сошку, выстрелил, свирепое животное подпрыгнуло в воздух и, подогнув передние ноги, рухнуло замертво.

Наши приятели-островитяне теперь воспрянули духом, преисполнились храбрости и рвения. Старый Тонои не побоялся ухватить бедного быка за рога и заглянуть в его остекленевшие глаза.

Мы сразу же пустили в ход матросские ножи и, сняв шкуры с убитых

животных, на веревках из коры подвесили выпотрошенные туши высоко к веткам деревьев. Затем спрятались в заросли и стали поджидать диких кабанов, которые, по словам Зика, должны были скоро появиться, привлеченные запахом крови. Через некоторое время мы услышали, как они приближаются с двух или трех сторон, а еще через несколько секунд они уже раздирали на части требуху.

Так как можно было рассчитывать только на один залп по этим животным, то мы намеревались стрелять одновременно; однако случилось так, что ружье доктора опередило другие и один кабан упал. Остальные бросились напролом в чащу, а мы все, за исключением доктора, за ними, решив во что бы то ни стало тоже сделать по выстрелу.

Лондонец ринулся в кусты, и через несколько мгновений мы услышали грохот его ружья, а вслед затем отрывистый крик. Подбежав к товарищу, мы увидели, что он сражается с сущим дьяволом во образе черного как смоль кабана с искалеченным рылом. Коротышка выстрелил по зверю, когда тот полным ходом мчался прямо на него, и теперь подвергся яростному нападению; кабан грыз приклад ружья, которым Коротышка, крепко держась за дуло, попытался ударить его, одновременно нащупывая засунутый за пояс нож. Я оказался ближе остальных и, пустив пулю в голову животного, положил конец сражению.

Приближался вечер, и мы принялись нагружать наших носильщиков. Рогатый скот был настолько мелкий, что крепкий туземец мог нести целую четверть туши, без особого труда пробираясь сквозь чащу и спускаясь со скал. Для нас, белых, это, по правде говоря, было бы делом нелегким. Что касается диких кабанов, то мы не смогли уговорить ни одного островитянина понести убитого Коротышкой, так как его черный цвет вызывал в них непреодолимый суеверный страх. Поэтому нам пришлось его оставить. Второго кабана, пятнистого, привязали гибкими ветвями к жерди, и два молодых туземца потащили его.

Итак, с носильщиками во главе мы начали обратный спуск в долину. На полпути в лесу нас застигла темнота, и понадобились факелы. Мы остановились, смастерили их из сухих пальмовых веток, а затем, отправив вперед двух парней собирать хворост для поддержания огня, продолжали путь.

Это было фантастическое зрелище. Покачивавшиеся над нами факелы бросали отблески, которые мелькали среди деревьев. Там, где позволяла дорога, островитяне почти бежали, хотя и сгибались под тяжестью нош. Их голые спины были вымазаны кровью: то и дело обгоняя друг друга, они испускали дикие крики, пробуждавшие эхо в горах.

Глава LVIII

ОХОТНИЧЬЕ ПИРШЕСТВО И ПОСЕЩЕНИЕ БУХТЫ АФРЕХИТУ

Бык, корова и кабан! Неплохие трофеи за день. При свете факелов мы вступили на территорию плантации; дикий кабан покачивался на жерди, а доктор распевал старую охотничью песню «Ату его, ату!», и припев к ней заглушал вопли туземцев.

Мы решили устроить ночное пиршество. Разложив большой костер у самого дома и подвесив четверть туши теленка к суку баньяна, мы предоставили каждому отрезать и зажарить для себя такой кусок, какой ему вздумается. В ответ на наше угощение туземцы притащили корзины печеных плодов хлебного дерева, много пудинга из таро, кисти бананов и молодые кокосовые орехи.

Костер весело горел, не подпуская москитов, и в его свете все лица сверкали, как кубки с портвейном. Мясо обладало настоящим вкусом дичины, полностью насладиться которым нам отнюдь не помешал чудовищный аппетит. Зик достал несколько бутылок бренди из своих секретных запасов и пустил их вкруговую.

Моим долговязым товарищем овладело неумемное веселье. Исполнив свой репертуар анекдотов и песен, он вскочил на ноги, обхватил за талию молодую девицу из прибрежной рощи и принялся вальсировать с ней на лужайке. Но в эту ночь он натворил столько проказ, что всех не перескажешь. Туземцы, большие любители шуток, решительно заявили, что он «маитаи».

Мы разошлись лишь далеко за полночь. Но когда остальные удалились, Зик с бережливостью настоящего янки засолил оставшееся мясо.

На следующий день было воскресенье, и по моей просьбе Коротышка пошел со мной к Афрехиту — соседней бухте, расположенной почти напротив Папезте. На ее берегу находится миссионерский поселок с большой церковью и зданием школы, пришедшими в полную ветхость. На живописном пригорке среди кустов стоит красивый дом с видом на пролив. Проходя мимо, я заметил изящную ситцевую юбку, промелькнувшую в дверях, которые вели с веранды в комнату. Здесь была резиденция миссионера.

Нарядная маленькая парусная шлюпка танцевала на якоре в нескольких ярдах от берега.

Разбросанные по близлежащим низинам, стояли туземные хижины; они были довольно невзрачные, но во всех отношениях лучше большинства таитянских.

Мы присутствовали при богослужении в церкви, где молящихся оказалось мало; после того что мне пришлось наблюдать в Папеэте, я не обнаружил здесь ничего особо интересного. Впрочем, у прихожан были какие-то странные смущенные лица; я не знал, чему это приписать, пока не понял, что произносилась проповедь на тему восьмой заповеди. [\[106\]](#)

Как выяснилось, в этом районе жил один англичанин, подобно нашим друзьям-плантаторам выращивавший тумбесский картофель для продажи в Папеэте.

Несмотря на все предупреждения, туземцы завели привычку совершать ночные набеги на его огороженный участок и красть сладкий картофель. Однажды ночью англичанин выстрелил из охотничьего ружья, заряженного перцем и солью, в несколько теней, кравшихся по его владениям. Но соль и перец, как всегда, только придали вкусу, и на следующую же ночь он накрыл компанию шалопаев, которая пекла целую корзину сладкого картофеля под его собственным кухонным навесом. В конце концов англичанин пожаловался миссионеру, и тот ради блага своей паствы произнес проповедь; ее-то мы и слышали.

В Мартаирской долине воров не было, но честность ее жителей покупалась определенной ценой. Между ними и плантаторами существовало постоянное деловое соглашение. Так как они имели достаточно сладкого картофеля, «в должное время вручаемого им в оплату за работу», то воздерживались от хищений. Другой гарантией от краж было то, что их вождь Тонои все время находился на плантации.

Вернувшись во второй половине дня в Мартаир, мы застали доктора и Зика, мирно коротавшими время. Янки полулежал на земле с трубкой во рту и следил за доктором, который, сидя по-турецки перед большим чугунным котлом, резал сладкий картофель и индийскую репу или разрубал на куски кости, а затем бросал все это в котел. Он варил, по его словам, «бычий бульон».

В гастрономических делах мой приятель был артистом; под предлогом необходимости совершенствования он весь остаток дня ничего не делал, а лишь практиковался, так сказать, в экспериментальной кулинарии — жарил прямо на углях и на рашпере, тушил ломтики мяса с пряностями и подвергал их всевозможной обработке огнем. Свежую говядину мы

пробовали впервые после промежутка в год с лишним.

— О, вы скоро поправитесь, Питер, — заметил Зик под вечер, когда Долговязый Дух переворачивал на углях огромную отбивную котлету. — Как вы думаете, Поль?

— По-моему, он скоро будет в порядке, — ответил я. — Нужно только, чтобы на его щеках появилось немного румянца.

По правде говоря, я обрадовался тому, что доктор теряет репутацию больного; ведь в качестве такового он рассчитывал на легкую жизнь, к тому же, весьма вероятно, за мой счет.

Глава LIX

КАРТОФЕЛЬ

На следующее утро перед рассветом мы дремали в нашей лодке, когда Зик разбудил нас, громко окрикнув с берега.

Едва мы подгребли, он сообщил нам, что накануне поздно вечером из Папеэте пришла пирога, и привезла заказ на доставку сладкого картофеля для стоящего там судна; так как поспеть надо к полудню, то он хотел бы, чтобы мы помогли перенести картофель в парусную шлюпку.

Мой долговязый товарищ принадлежал к числу людей, которые всегда встают по утрам с левой ноги и пребывают до завтрака в более или менее раздраженном и угрюмом настроении. Поэтому янки тщетно оправдывался спешностью дела, заставившей его разбудить нас так рано; доктор только все больше мрачнел и ничего не отвечал.

Наконец, чтобы пробудить в нас немного энтузиазма, янки быстро воскликнул:

— Ну, что скажете, ребята, возьмемся за дело?

— Да, черт бы его побрал, — буркнул доктор, напоминавший в это мгновение кусающуюся черепаху.^[107]

Мы двинулись к дому. Несмотря на свой невежливый ответ, мой приятель, вероятно, считал, что после вчерашних гастрономических подвигов ему вряд ли удобно отлынивать. В доме мы застали Коротышку, который уже приготовил мотыги, и все сразу направились в дальний конец плантации, где нам предстояло накопать картофель.

Жирная темная почва как нельзя лучше подходила для сладкого картофеля, и большие желтые клубни выкатывались из-под прикрывавшей их земли, как яйца из гнезда.

Мой товарищ поистине удивил меня тем рвением, с каким он взялся за мотыгу. Что касается меня, то обрадованный прохладным утренним ветерком, я работал на славу. Такое трудолюбие, по-видимому, доставило Зику и лондонцу огромное удовольствие.

Прошло немного времени, а уже весь картофель был выкопан, и затем началось самое худшее: его надлежало перетащить к берегу на расстояние по меньшей мере четверти мили. И так как на острове не было ни тачки, ни тележки, то их заменяли спинной хребет и широкие плечи. Прекрасно понимая, что эта часть работы не доставит никакого удовольствия, Зик

постарался принять самый бодрый вид и, не давая нам времени на унылые размышления, весело обратил наше внимание на кучу сплетенных из прочных стеблей грубых корзин, лежавших наготове. И вот без дальнейших проволочек мы выбрали себе по корзине, и вскоре все четверо зашагали, спотыкаясь под ношей.

При первом рейсе мы дошли до берега одновременно — воодушевляющие крики Зика производили неотразимое действие. Однако еще через несколько рейсов я почувствовал ломоту в плечевых суставах, а высокая фигура доктора явно ссутулилась.

Вскоре мы оба побросали корзины, заявив, что больше выдержать не можем. Но наши хозяева, решившие заставить нас работать, молча взывая к нашей совести, сделали вид, будто ничего не заметили, и поплелись дальше. Это было все равно что сказать: «Видите, ребята, вы живете у нас на всем готовом вот уже три дня; вчера вы ничего не делали, только ели; ну, что ж, стойте теперь и смотрите, как мы работаем, если вы на это способны». Итак, нам поневоле пришлось снова взяться за дело. Однако, несмотря на все старания, мы отставали от Зика и Коротышки, которые, тяжело дыша и обливаясь потом, брели взад и вперед, не давая себе ни отдыха, ни срока. У меня начало даже появляться злобное желание, чтобы лишняя картофелина, как последняя соломинка, переломила им спину.

Задыхаясь под тяжестью своей корзины, я все же никак не мог удержаться от смеха, глядя на Долговязого Духа. Он шел так: длинная шея была вытянута вперед, руки сплетены за спиной, образуя опору для корзины, а ходули-ноги то и дело подгибались, словно коленные суставы каким-то образом соскакивали.

— Хватит! Больше я не несу! — воскликнул он без всяких предисловий, высыпая принесенный картофель в шляпку, где янки как раз в это время разравнивал наваленную кучу.

— Вот что, — с живостью сказал Зик, — пожалуй, вам с Полем лучше попробовать «бочечное приспособление». Пошли, я моментально научу вас. — И с этими словами он вылез на берег и поспешил к дому, предложив мне и доктору пойти с ним.

Теряясь в догадках, что это за «бочечное приспособление», и подозревая недоброе, мы ковыляли вслед за янки. Подойдя к дому, мы увидели приготовленное им какое-то подобие носилок. Это было не что иное, как старая бочка, подвешенная на веревке к середине крепкого весла. Зик сам додумался до этого остроумного изобретения и теперь не менее остроумно собирался распорядиться моими и докторскими плечами.

— Вот так! — сказал он, когда все было готово. — Теперь спина у вас

не будет подламываться. Понимаете, вы можете стоять с этим прямо; попробуйте разок. — И он вежливо положил лопасть весла на правое плечо моего товарища, а другой конец на мое, так что бочка оказалась между нами.

— В самый раз, — добавил он, отойдя в сторону и любуясь нашим замечательным видом.

Спасения для нас не было; с тяжестью в сердце и на спине мы поплелись обратно на поле, причем доктор не переставал чертыхаться.

Пустившись в путь с груженой бочкой, мы несколько шагов прошли довольно легко и решили было, что идея неплоха. Но мы недолго так думали. Меньше чем через пять минут мы остановились как вкопанные; грубое весло невыносимо давило и натирало плечо.

— Поменяемся концами, — воскликнул доктор, которому не доставляла особого удовольствия лопасть весла, врезавшаяся в его плечо. Наконец, короткими переходами с длительными остановками нам удалось кое-как дотащить до берега, где мы не без раздражения сбросили наш груз.

— Почему не заставить туземцев помочь? — спросил Долговязый Дух, потирая плечо.

— Будь они прокляты, туземцы! — сказал янки. — Их двадцать не стоят одного белого. Эти парни не созданы для работы, и они это знают, ведь ни один из них в жизни пальцем о палец не ударил.

Но, несмотря на столь нелестное мнение об островитянах, Зику в конце концов пришлось привлечь их к работе.

— Арамай! (идите сюда) — крикнул он нескольким туземцам, которые, лежа на берегу, критически наблюдали за нашими действиями и с особым удовольствием следили за манипуляциями с носилками.

Приказав им нагрузить корзины, янки наполнил и свою а затем погнал их перед собой к берегу. Вероятно, он когда-то видел, как на большой дороге от Кальяо до Лимы индейцы верхом на лошадях гнали таким образом караваны навьюченных мулов.

Наконец, шлюпка была нагружена, и янки, взяв с собой нескольких туземцев, поставил парус и пустился в путь через пролив в Папезте.

На следующее утро, когда мы завтракали, старый Тонои вбежал в дом и сказал нам, что путешественники возвращаются. Мы поспешили к берегу и увидели медленно приближавшуюся шлюпку с дремавшим туземцем за рулем; Зик стоял на носу, позвякивая мешочком с серебром, вырученным от продажи груза.

Глава LX

ЧТО ДУМАЛИ О НАС В МАРТАИРЕ

Прошло несколько тихих дней, в течение которых мы трудились лишь столько, сколько необходимо было, чтобы нагулять аппетит; от всякой тяжелой работы снисходительные плантаторы нас освобождали.

Их стремление удержать меня и доктора становилось все более и более очевидным, чему не приходилось удивляться. Не говоря уже о том, что с самого начала они считали нас компанейскими, добродушными ребятами, с которыми можно будет чувствовать себя запросто, они быстро поняли, как сильно мы отличались от обычных бродяг и сколько интересного и поучительного может дать наше общество двум одиноким неграмотным людям, вроде них.

Очень скоро наша образованность стала вызывать в них чувство восхищения, смешанного с завистью, а на доктора они смотрели как на настоящее чудо. Лондонец обнаружил, что он (доктор) может читать перевернутую вверх ногами книгу, даже не произнося длинные слова предварительно по слогам; а когда янки с целью испытать математические познания доктора называл вслух несколько цифр, тот в мгновение ока сообщал ему их сумму.

Кроме того, разговаривая о людях и событиях, мой долговязый товарищ нередко употреблял такие пышные выражения, что однажды они слушали его рассуждения, буквально обнажив голову.

Коротко говоря, их высокое мнение о нас, в особенности о Долговязом Духе, росло с каждым днем, и они стали предаваться всевозможным мечтам о тех выгодах, какие они смогут извлечь, пользуясь услугами столь ученого работника. Среди других обсуждался проект постройки небольшого судна тонн на сорок для торговли с соседними островами. Затем, набрав из туземцев команду, мы стали бы поочередно совершать плавания по спокойным водам Тихого океана, приставая по желанию то тут, то там и приобретая такие романтические товары, как трепанги, жемчужные раковины, аррорут,^[108] серая амбра, сандаловое дерево, кокосовое масло и съедобные птичьи гнезда.

Мысль о путешествии по Южным морям приводила нас в восхищение, и доктор немедленно объявил о своей готовности взять на себя командование будущей шхуной и вести ее, не страшась никаких мелей и

рифов. Его дерзость доходила до наглости. Он распространялся об искусстве кораблевождения, угощал нас диссертациями о лоции Меркатора и азимут-компасе, вдавался в ничего не объяснявшие объяснения собственного, совершенно невразумительного способа безошибочного определения географической долготы.

Всякий раз, как мой товарищ давал волю своей пылкой фантазии, слушать его было одно удовольствие, а потому я никогда не прерывал его, а вместе с плантаторами сидел перед ним в немом восхищении. Такое самоунижение с моей стороны признавалось истинным мерилем наших сравнительных достоинств; к своему немалому огорчению, я вскоре заметил, что в глазах плантаторов Долговязый Дух стоял гораздо выше меня. Насколько я догадывался, он, вероятно, по секрету намекнул на различие в нашем положении на «Джулии»; или же плантаторы, возможно, считали его каким-то знаменитым человеком, по загадочным причинам путешествовавшим инкогнито. Если так, то его неприкрытое отвращение к работе становилось простительным; в своих планах расширения дела они рассчитывали скорее на его услуги в дальнейшем в качестве мужа науки, чем теперь в качестве простого землекопа.

Хитроумный доктор не мог отказаться от удовольствия поддерживать столь высокое и столь для него выгодное мнение о себе и даже со мной шутики ради иногда обращался свысока; это было довольно смешно, но подчас раздражало меня.

Сказать по чистой правде, дело, наконец, дошло до того, что я откровенно предупредил его о своем нежелании мириться с подобными притязаниями; если он собирается разыгрывать джентльмена, я последую его примеру, и тогда быстро наступит развязка.

Тут мой приятель от души рассмеялся, и, весело поболтав, мы решили покинуть долину, как только сможем это сделать, не нарушая приличий.

Итак, в тот же вечер за ужином доктор намекнул на наши намерения.

Как ни удивился и ни встревожился Зик, у него на лице не дрогнул ни один мускул.

— Питер, — произнес он, наконец, очень серьезно и после зрелого размышления, — не хотите ли вы заняться стряпней? Это легкая работа, и ничего другого вам делать не придется. Поль покрепче; он может поработать в поле, когда явится желание. А скоро мы сумеем предложить вам кое-что более приятное, не так ли, Коротышка?

Коротышка утвердительно кивнул.

Конечно, это звучало довольно мило: особенно прельщала синекура, предложенная доктору. Но обязанности, возложенные на меня, мне ни в

кчем случае не нравились — слишком они были неопределенные. Никакого окончательного решения мы, впрочем, не приняли; мы высказали свое желание покинуть плантацию, и пока что этого нам казалось достаточно. Однако, так как мы больше не заговаривали об уходе, янки, очевидно, пришел к выводу, что нас можно все же уговорить остаться. Он удвоил свои старания к тому, чтобы мы были довольны.

Так обстояли дела, когда однажды утром до завтрака нас отправили прополоть участок сладкого картофеля; так как плантаторы что-то делали в доме, то мы были предоставлены самим себе.

Хотя вырывание сорняков наши хозяева считали легкой работой (почему они и предоставили ее нам) и хотя для любителей возиться в огороде оно может казаться довольно приятным развлечением, все же это занятие в больших дозах становится крайне утомительным.

Тем не менее мы некоторое время усердно трудились; но вот доктор, которому из-за его роста приходилось сгибаться под очень острым углом, вдруг выпрямился и воскликнул, одной рукой упираясь в позвоночник:

— Ох, если бы в наших позвонках имелись дырочки, чтобы в них можно было накапать масла!

Как ни мало было надежд на осуществление предложенного усовершенствования человеческого рода, я полностью соглашался с доктором, ибо все позвонки в моем спинном хребте выражали свое сочувствие этой идее.

Вскоре из-за гор показалось солнце и принесло с собой ту убийственную утреннюю расслабленность, которая отнимает у человека в жарком климате все остатки энергии. Больше мы не могли выдержать и, взвалив мотыги на плечи, двинулись к дому, решив не злоупотреблять добродушием плантаторов, задержавшись еще хотя бы секунду на столь неподходящей для нас работе.

Мы им так прямо и сказали. Зик был чрезвычайно огорчен и стал приводить всевозможные доводы, чтобы побудить нас переменить решение. Убедившись, что все бесполезно, он очень гостеприимно предложил не торопиться с уходом; мы могли оставаться у него в качестве гостей, пока не обдумаем на досуге свои дальнейшие шаги.

Мы от души поблагодарили его, но ответили, что завтра утром должны покинуть мартаирские холмы.

Глава LXI

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Весь остаток дня мы слонялись без дела, обсуждая наши планы.

Доктор жаждал посетить Тамаи, уединенную деревню внутри страны, расположенную на берегу довольно большого озера того же названия и окруженную рощами. Попасть туда из Афрехиту можно было по глухой тропинке, проходившей по самым диким в мире местам. Нам много рассказывали об озере, которое изобиловало такой вкусной рыбой, что в прежние времена рыболовы приезжали туда даже из Папеете.

Кроме того, по берегам озера росли самые лучшие на всем острове плоды, отличавшиеся исключительным вкусом. «Ве», или бразильская слива, достигала там величины апельсинов, а великолепная «архея», или таитянское красное яблоко, наливалась более ярким румянцем, чем в любой из прибрежных долин.

В довершение всего в Тамаи жили самые красивые и наименее затронутые цивилизацией женщины из всех, населяющих острова Товарищества. Короче говоря, эта деревня находилась так далеко от берега и по сравнению с другими местами на нее так мало повлияли недавние перемены, что таитянская жизнь во многих отношениях сохранилась там такой, какой ее когда-то наблюдал Кук во времена юного Оту, мальчика-короля.

Получив от наших хозяев все необходимые сведения, мы решили добраться до деревни и, прожив в ней некоторое время, вернуться на побережье, а затем проделать по нему путь до Талу — гавани, расположенной на противоположной стороне острова.

Мы сразу же стали готовиться в дорогу. Перед самым отъездом с Таити я обнаружил, что мой гардероб ограничивается двумя почти не пригодными для носки костюмами (состоявшими из куртки и брюк каждый), и по принятому у матросов способу подшил их для взаимной пользы один под другой. Привив красную куртку к синей, я вывел, таким образом, новую чудесную разновидность одежды. Таково было состояние моего гардероба. У доктора дела обстояли ничуть не лучше. Его расточительность в конце концов привела к тому, что ему пришлось носить матросское одеяние; но к этому времени его куртка — из легкой хлопчатобумажной ткани — почти совсем износилась, а взамен у него

ничего не было. Коротышка великодушно предложил Долговязому Духу другую, несколько менее рваную, но тот от милостыни гордо отказался и предпочел облечься в старинный таитянский наряд — «руру».

«Рура», которую когда-то носили в качестве праздничного одеяния, теперь встречается редко; но капитан Боб часто показывал нам такой наряд, хранившийся у него как семейная реликвия. Это был плащ или мантия из желтой таппы, в точности похожая на «пончо» южноамериканских испанцев. Голова просовывается в разрез посередине, и плащ свисает свободными складками. Тонои раздобыл кусок грубой коричневой таппы, которого должно было хватить на короткую мантию подобного фасона, и за пять минут доктор экипировался. Зик, критически осмотрев эту тогу, напомнил ее владельцу, что между Мартаиром и Тамаи придется переходить вброд много рек и преодолевать пропасти, и посоветовал повыше поднимать подол, если уж он собирается путешествовать в юбке.

Одним из серьезных неудобств было полное отсутствие у нас обуви. На вольных просторах Тихого океана матросы редко носят ботинки; мои полетели за борт в тот день, когда мы встретили пассат и, не считая нескольких прогулок на берег, с тех пор я обходился без обуви. В Мартаире она пригодилась бы, но достать ее мы не могли. Однако для задуманной нами экспедиции она была необходима. Зик, владелец пары огромных ветхих башмаков, свисавших со стропил, подобно переметным сумам, согласился уступить их доктору в обмен на нож в футляре — единственную сохранившуюся у того ценную вещь. Что касается меня, то я смастерил себе из бычьей кожи сандалии, какие носят индейцы в Калифорнии. Их делают в одну минуту; подошва, грубо вырезанная по ноге, удерживается тремя кожаными ремешками, охватывающими подъем.

Несколько слов надо сказать и о наших головных уборах. У моего товарища была прекрасная старая панама, сплетенная из травы, почти такой же тонкой, как шелковые нити, и настолько упругой, что свернутая в трубку шляпа моментально раскручивалась и принимала прежнюю форму. В своем изысканном испанском сомбреро с широкими полями и в «руре» доктор Долговязый Дух напоминал нищего гранда.

Не менее изысканный вид имел и я в моей восточной чалме. Я начал носить ее по следующей причине. Когда за несколько дней до прибытия в Папеэте моя шляпа упала за борт, мне пришлось надеть чудовищное сооружение из разноцветной шерсти — шотландскую шапку, как ее называют моряки. Всякий знает, как упруга вязаная шерсть; этот каледонский головной убор столь плотно облегал череп, что полное отсутствие доступа воздуха вредно отражалось на моих локонах. Тщетно я

пытался устроить вентиляцию: каждое проделанное мною отверстие затягивалось в одно мгновение. Можете себе представить, как нагревалась моя шапка под горячими лучами солнца.

Видя мою нелюбовь к ней, Кулу, мой почтенный друг, стал уговаривать меня подарить ее ему. Я так и сделал, указав при этом, что, хорошенько прокипятив шапку, он сможет восстановить первоначальную яркость ее красок.

Тогда-то я и начал носить чалму. Я взял у доктора его новую полосатую рубашку из яркого ситца и обмотал ее складками вокруг головы, а рукава оставил болтаться сзади, устроив таким образом хорошую защиту от солнца; однако в дождь этот головной убор лучше было снимать. Свисавшие рукава усиливали экзотический эффект, и доктор называл меня двухбунчуковым турецким пашой.

Нарядившись так, мы были готовы двинуться в Тамаи, в зеленых салонах которого рассчитывали произвести немалую сенсацию.

Глава LXII

ТАМАИ

На следующее утро задолго до восхода солнца мои сандалии были подвязаны, а доктор водрузил на ноги ботинки Зика.

Выразив надежду еще раз повидать нас, прежде чем мы отправимся в Талу, плантаторы пожелали нам счастливого пути и на прощание великодушно подарили фунт-другой плиточного табаку; они посоветовали нам нарезать его на мелкие кусочки, так как он служит основной денежной единицей на острове.

До Тамаи, как нам сказали, было не больше трех-четырёх лиг; поэтому, даже учитывая дикий характер местности, несколько часов отдыха в середине дня и наше решение не спешить, мы надеялись достичь берегов озера примерно к закату. Некоторое время мы медленно шли через леса и овраги, взбирались на холмы и опускались в пропасти, не видя никого, кроме изредка попадавшихся стад диких быков, и то и дело отдыхали: около полудня мы очутились в самом центре острова.

Прибавив шагу, мы с доктором спустились, наконец, в зеленую прохладную лощину среди гор. Со всех сторон струились бесчисленные ручьи, огромные величавые деревья, на мшистых стволах которых сверкали капельки воды, отбрасывали густую тень. Как это ни странно, но мы не обнаружили здесь никаких следов дикого рогатого скота. Не слышалось ни звука, не видно было ни единой птицы, ни единый лист не шевелился в неподвижном воздухе. Полная пустынность и тишина действовали угнетающе; несколько мгновений мы всматривались в полумрак, но, ничего не увидев, кроме выстроившихся рядами темных неподвижных стволов, поспешно пересекли лощину и стали подниматься по крутому склону противоположной горы.

Пройдя половину пути до вершины, мы остановились в том месте, где холмики земли у корней трех пальм образовали нечто вроде удобного дивана: сидя на нем, мы смотрели вниз на лощину, казавшуюся нам теперь сплошной темно-зеленой чащей. Тут мы достали маленькую тыквенную бутылку с «пой»^[109] — прощальный подарок Тонои. Поев как следует, мы раздобыли при помощи двух палочек огонь и, развалившись, закурили, чувствуя, как с кольцами дыма нас покидает усталость. Наконец, мы заснули и проснулись лишь тогда, когда солнце опустилось так низко, что

его лучи падали на нас сквозь листву.

Поднявшись, мы продолжали путь и, достигнув вершины горы, очутились, к нашему удивлению, перед озером и деревней Тамаи. Мы считали, что до них еще добрая лига. Над тем местом, где мы стояли, желтый закат еще не погас, но внизу на долину уже напозлали длинные тени, а покрытое рябью зеленое озеро отражало дома и деревья точно такими, какими они стояли вдоль его берегов. Несколько маленьких пирог, привязанных тут и там к выступавшим из воды столбикам, танцевали на волнах; какой-то одинокий рыбак греб к травянистому мысу. Перед домами виднелись группы туземцев; одни растянулись во весь рост на земле, другие лениво прислонились к бамбуковым стенам.

С гиканьем и криком мы бежали вниз по холму, а жители деревни вскоре поспешили нам навстречу посмотреть, кто это к ним явился. Когда мы приблизились, они столпились вокруг нас, горя любопытством поскорее узнать, что привело «кархоури» в их мирные края. После того как доктор разъяснил им чисто дружественную цель нашего посещения, они приняли нас с истинно таитянским гостеприимством, указав на свои дома и заверив, что они в нашем распоряжении до тех пор, пока мы пожелаем в них оставаться.

Нас поразило вид этих людей: и мужчины и женщины казались гораздо здоровей по сравнению с островитянами, жившими у бухт. Что касается девушек, то они были застенчивей и скромней, аккуратней одеты и значительно свежей и красивей, чем девицы на побережье. Как жалко, думал я, что таким очаровательным созданиям приходится прозябать в этой глухой долине.

Первый вечер мы провели в доме Рарту, гостеприимного старого вождя. Дом стоял на самом берегу озера, и, сидя за ужином, мы смотрели сквозь шелестящую завесу листвы на освещенную звездами водную гладь.

Следующий день мы посвятили прогулкам и ознакомились с маленькой счастливой общиной, почти не знавшей тех многочисленных прискорбных зол, от которых страдало остальное население острова. Кроме того, люди здесь были больше заняты. К моему удивлению, в нескольких домах занимались выделкой таппы. Европейские ситцы встречались редко, и вообще всякого рода изделий иностранного происхождения было мало.

Жители Тамаи формально были христианами, но так как они находились далеко от духовных властей, то не очень ощущали бремя религии. Нам рассказывали даже, что в их долине еще продолжали тайно развлекаться языческими играми и плясками.

Надежда увидеть старинный «хевар» (таитянский танец) была одной

из побудительных причин, приведших нас туда; поэтому, обнаружив, что Рарту не слишком строг в своих религиозных взглядах, мы сообщили ему о нашем желании. Сначала он колебался и, пожимая плечами, как француз, заявлял, что это невозможно — попытка связана со слишком большим риском и может доставить неприятности ее участникам. Но, опровергнув все доводы, мы убедили его в осуществимости нашей затеи, и «хевар», настоящий языческий праздник, был назначен на тот же вечер.

Глава LXIII

ТАНЦЫ В ДОЛИНЕ

Видимо, в Тамаи имелись дурные люди — доносчики, а потому приготовления к танцам происходили в большой тайне.

Часа за два до полуночи Рарту вошел в дом и, накинув на нас плащи из таппы, велел следовать за собой на некотором расстоянии и до выхода из деревни скрывать лица. Захваченные такой таинственностью, мы повиновались. Наконец, сделав большой крюк, мы вышли к дальнему берегу озера. Там раскинулась широкая влажная от росы поляна, освещенная полной луной и сплошь поросшая мелким папоротником. Поляна подступала к самой воде; напротив виднелись дома деревни, блестящие среди рощ.

На краю поляны близ деревьев тянулся на сотни футов разрушенный каменный помост, где некогда стоял храм Оро. Теперь там не было ничего, кроме грубой хижины, построенной на самой нижней террасе. Ею, очевидно, пользовались в качестве «таппа херри» — помещения для изготовления туземной ткани.

Сквозь бамбуковую стену мерцал свет, отбрасывавший на землю длинные столбики тени. Слышались также голоса. Мы поднялись к хижине и, заглянув внутрь, увидели танцовщиц, которые готовились к выступлению. Там было около двадцати девушек; их охраняли уродливые старые карги — настоящие дуэньи. Долговязый Дух предложил последних выпроводить, но Рарту сказал, что из этого ничего не выйдет, и пришлось примириться с их присутствием.

Мы настаивали, чтобы нам открыли дверь, которую все время держали на запоре; однако после громкого спора с одной из находившихся внутри старых ведьм наш провожатый пришел в беспокойство и посоветовал прекратить шум, не то все будет испорчено. Затем он предложил нам в ожидании представления отойти подальше, так как девушки, по его словам, не хотели быть узанными. Больше того, он взял с нас обещание не двигаться с места, пока «хевар» не закончится и танцовщицы не удалятся.

Мы с нетерпением ждали. Наконец, они появились. На них были короткие туники из белой таппы, а в волосах гирлянды цветов. Одновременно вышли и дуэньи, остановившиеся кучкой возле самого дома, между тем как девушки сделали несколько шагов вперед. Через

мгновение две из них, самые высокие, уже стояли рядом посреди круга, который образовали остальные, взявшись за руки. Все это было проделано в полной тишине.

И вот обе девушки сплетают руки над головой и, восклицая «Ахлу! ахлу!», ритмично двигают ими из стороны в сторону.

Хоровод начинает медленно кружиться; танцовщицы идут боком, слегка опустив руки. Постепенно движения ускоряются и, наконец, девушки уже несутся вихрем круг за кругом; их грудь тяжело вздымается, волосы рассыпаются, цветы падают и глаза у всех сверкают, как бы образуя сплошное кольцо света.

Тем временем две девушки внутри хоровода не переставая сходятся и расходятся. Изогнувшись в одну сторону, так что их длинные волосы далеко откидываются, они скользят туда и сюда и, выбросив вперед руки с вытянутыми пальцами, на одной ноге кружатся в полосе лунного света.

— Ахлу! ахлу! — снова вскрикивают обе царицы танца и, приблизившись друг к другу в центре круга, еще раз поднимают руки над головой и неподвижно застывают.

— Ахлу! ахлу! — Хоровод распадается, и девушки, с трудом переводя дух, останавливаются. Несколько мгновений они тяжело и часто дышат, а затем, когда яркий румянец начинает сходить с их лиц, медленно отступают, расширяя круг.

Снова две главные танцовщицы ритмично двигают руками, а остальные недвижно стоят в отдалении, напоминая в тихом свете луны каких-то сказочных фей. Но вот, затаив странную песню, они начинают мягко покачиваться, постепенно убыстряя движения; наконец, с трепещущей грудью и горящими щеками они на несколько мгновений страстно, самозабвенно отдаются пляске; по-видимому забыв обо всем окружающем. Вскоре, однако, ритм снова замедляется и становится томным, как раньше, и девушки замирают; затем, сверкая глазами, они вихрем устремляются вперед и, сливая свои голоса в дикий хор, бросаются друг другу в объятия.

Таков этот «лори-лори», как его, кажется, называют, — танец девушек-вероотступниц из Тамаи.

Пока шла пляска, нам стоило больших усилий удерживать доктора, чтобы он не бросился вперед и не схватил какую-нибудь из ее участниц.

В эту ночь нам больше не собирались показывать «хевар», и Рарту чуть не силой увел нас к пироге, вытащенной на берег озера. Мы неохотно уселись в нее и поплыли к деревне; добрались мы до нее довольно быстро и до восхода солнца смогли хорошенько выспаться.

На следующий день доктор бродил по деревне, стараясь отыскать вчерашних танцовщиц. Он рассчитывал, что они поздно встанут и по этому признаку их можно будет узнать.

Но он жестоко ошибся, так как, когда он совершил первую вылазку, вся деревня спала, и ее жители проснулись одновременно часом позже. Однако в течение дня он встретил нескольких девушек, которых сразу обвинил в том, что они принимали участие в «хеваре». Рядом стояли какие-то щеголеватые парни (вероятно, пришедшие из Афрехиту навестить родителей), и девушки имели смущенный вид, но очень ловко опровергали выдвинутое против них обвинение.

Обычно кроткие, как горлинки, женщины Тамаи тем не менее не лишены, хотя и в очень слабой степени, того свойства, для которого мы придумали довольно забавное название «перчик», и в данном случае они это свойство обнаружили. Когда доктор слишком настойчиво приставал к одной из девушек, она мгновенно повернулась к нему и, влепив пощечину, предложила «ханри перрар!» (убратся).

Глава LXIV

ТАИНСТВЕННАЯ

В Тамаи жил очень уродливый старичок, который в грубой мантии из таппы ходил по деревне, приплясывая, распевая и корча рожи. Он сопровождал нас повсюду, куда бы мы ни шли, и когда поблизости никого не было, хватал за одежду, таинственными знаками предлагая куда-то пойти с ним и что-то посмотреть.

Мы с доктором тщетно пытались отвязаться от него. Дело дошло до того, что мы прибегли даже к пинкам и ударам; он кричал как одержимый, но не уходил и все время увязывался за нами. В конце концов мы стали умолять туземцев избавить нас от него, но те только смеялись. Пришлось нам волей-неволей примириться с этой напастью.

На четвертый день нашего пребывания в Тамаи, возвращаясь вечером домой после того, как побывали в гостях у нескольких жителей деревни, мы обогнули в темноте группу деревьев и наткнулись на нашего приятеля-гнома, который как всегда что-то бормотал и размахивал руками. Доктор, выругавшись, поспешил вперед, но я поддался какому-то неясному побуждению и не уклонился от встречи, решив выяснить, чего этот чудак хочет от нас. Увидев, что я остановился, он подкрался ко мне вплотную, взглянул в лицо, а затем отошел, знаками приглашая меня следовать за ним; я так и поступил.

Через несколько минут деревня осталась позади; двигаясь за своим проводником, я очутился у подножия возвышенности, с которой открывался вид на дальний край долины. Там мой проводник подождал, пока я не поравнялся с ним, а затем, молча идя рядом, мы поднялись на холм.

Вскоре мы приблизились к жалкой хижине, едва различимой в тени подступавших к ней деревьев. Открыв грубую раздвижную дверь, скрепленную гибкими ветками, гном сделал мне знак войти. Внутри стояла кромешная тьма, и я дал ему понять, что он должен зажечь огонь и войти первым. Ничего не ответив, он исчез во мраке; я услышал, как он ощупью пробирался, а затем раздался звук трения двух палочек, и вскоре мелькнула искра. Вот зажегся туземный светильник, я нагнулся и шагнул в хижину.

Это была убогая лачуга. На земляном полу валялись четыре старые циновки, скорлупа кокосовых орехов и тыквенные бутылки; наверху сквозь

щели в крыше я видел звезды. В нескольких местах тростник провалился и свисал пучками.

Я сказал старику, чтобы он без промедления занялся тем, что собирался делать, или достал то, что хотел показать. Испуганно оглянувшись, как бы опасаясь какой-то неожиданности, он начал перебирать всякий хлам, лежавший в углу. Наконец, он схватил выкрашенную в черный цвет тыквенную бутылку с обломанным горлышком; с одного бока в ней была большая дыра. Очевидно, в эту посудину что-то запихали; изрядно помучившись, гном извлек из отверстия старые заплесневелые матросские штаны и, старательно встряхивая их, осведомился, сколько табаку я за них дам.

Ничего не ответив, я поспешил прочь; старик, громко крича, гнался за мной, пока я бегом добирался до деревни. Там я ускользнул от него и направился домой, решив никогда не признаваться в таком бесславном приключении.

Напрасно на следующее утро мой товарищ упрашивал меня рассказать ему о ночных похождениях; я хранил таинственное молчание.

Впрочем, этот случай сослужил мне хорошую службу; до самого конца нашего пребывания в Тамаи старьевщик больше не тревожил меня, но все время преследовал доктора, тщетно молившего небеса об избавлении от него.

Глава LXV

«ХИДЖРА» [110]

— Послушайте, доктор, — воскликнул я через несколько дней после моего приключения с гномом, когда в отсутствие нашего хозяина мы как-то утром валялись на циновках в его доме, покуривая тростниковые трубки. — Тамаи прекрасное место; почему нам не поселиться здесь?

— Честное слово, это неплохая мысль, Поль! Но вы думаете, они нам разрешат остаться?

— Ну, конечно; они будут счастливы иметь своими согражданами двух «кархоури».

— Ей-богу, вы правы, дружите! Ха! ха! Я повешу вывеску из бананового листа: Врач из Лондона. — Читаю лекции о полинезийских древностях. — Обучаю английскому языку за пять уроков по часу каждый. — Устанавливаю механические станки для производства таппы. — Разбиваю общественный парк посреди деревни. — Учреждаю празднества в честь капитана Кука!

— Не все сразу, доктор, остановитесь и переведите дух, — заметил я.

Проекты доктора, несомненно, были довольно фантастическими. Однако мы серьезно подумывали о том, чтобы остаться в долине на неопределенный срок. Приняв такое решение, мы стали обсуждать различные планы, как повеселее провести время, но в это мгновение несколько женщин вбежало в дом; быстро тараторя, они стали умолять нас «хери! хери!» (бежать), что-то крича о «миконари».

Подумав, что нам грозит арест на основании закона о борьбе с бродяжничеством, мы опрометью бросились вон из дому, вскочили в пирогу, стоящую у берега около самых дверей, и принялись изо всех сил грести к противоположной стороне озера.

К дому Рарту приближалась большая толпа, среди которой мы заметили нескольких туземцев, одетых наполовину по-европейски, а потому, несомненно, не принадлежавших к числу жителей Тамаи.

Скрывшись в лесу, мы возблагодарили свою счастливую звезду за то, что нам удалось в последний момент спастись от ареста по подозрению в бегстве с корабля и от доставки под конвоем на побережье. Такова была — во всяком случае, по нашему мнению — та опасность, от которой мы ускользнули.

Убежав из деревни, мы не могли и думать о том, чтобы некоторое время побродить поблизости, а затем вернуться; поступив так, мы снова подвергли бы риску свою свободу. Поэтому мы приняли решение вернуться в Мартаир и, пустившись в путь, к ночи достигли дома плантаторов. Они оказали нам сердечный прием и накормили обильным ужином; за разговорами мы засиделись до позднего часа.

Теперь мы стали готовиться к путешествию в Талу, до которого было недалеко от Тамаи; желая, однако, получше ознакомиться с островом, мы предпочли вернуться в Мартаир, а затем отправиться кругом вдоль берега.

Талу, единственная посещаемая судами гавань на Эймео, расположен на западной стороне острова, почти прямо напротив Мартаира. На одном берегу бухты находится деревня Партувай с миссией. По соседству имеется обширная сахарная плантация (самая лучшая, пожалуй, в Южных морях), принадлежащая какому-то сиднейцу.

Наследственное владение супруга Помаре, во всех отношениях восхитительный уголок, Партувай прежде был одной из резиденций королевского двора. Но в описываемое время двор постоянно находился в нем, так как королева убежала туда с Таити.

Партувай, как нас предупредили, не выдерживал никакого сравнения с Папеете. Суда заходили редко, а на берегу жило очень мало иностранцев. Впрочем, нам сообщили, что сейчас в гавани стоит на якоре один китобоец, запасующий дрова и воду и, по слухам, нуждающийся в матросах.

Учтя все эти обстоятельства, я не мог не прийти к выводу, что Талу сулит «богатые возможности» для таких любителей приключений, как доктор и я. Не говоря уже о том, что мы без труда могли бы отправиться в море на китобойном судне или наняться поденными рабочими на сахарную плантацию, мы питали надежду занять какую-нибудь почетную и выгодную должность при особе ее королевского величества.

Это не было лишь донкихотской мечтой. В свите многих полинезийских властителей часто встречаются белые бродяги — они живут при дворце на монарших хлебах, греются на тропическом солнце и ведут самое приятное существование. На островах, редко посещаемых иностранцами, первый поселившийся там матрос обычно становится членом семьи верховного вождя или короля. Он часто совмещает многочисленные должности, ранее исполнявшиеся отдельными лицами. Так, например, в качестве историографа он знакомит туземцев с отдаленными странами; в качестве уполномоченного по искусствам и наукам обучает их пользованию складными ножами и наилучшему способу превращения куска железного обруча в наконечник копья; в качестве

толмача его величества облегчает сношения с иностранцами, а кроме того, вообще обучает народ самым распространенным английским выражениям — как вежливым, так и богохульным, но чаще последним.

Эти люди сплошь и рядом заключают выгодные браки, нередко — подобно Харди в бухте Ханнаману — с принцессами королевской крови.

Иногда они исполняют обязанности личного адъютанта короля. На Амбои, одном из островов Тонга, бродяга-уэльсец, занимающий должность виночерпия, опускается на колени перед его каннибальским величеством. Он приготовляет ему утреннюю порцию «арвы» и коленопреклоненный подносит ее в богато украшенной резьбой чаше из скорлупы кокосового ореха. На другом острове той же группы, на котором существует обыкновение уделять много забот причесыванию волос, завивая их своеобразным способом в какое-то подобие огромной метлы для обметания потолка, старый матрос с военного корабля выступает в роли королевского цирюльника. И так как его величество не слишком опрятен, то его космы очень густо населены. Поэтому, когда Джек не занят причесыванием доверенной его попечению головы, он слегка щекочет ее чем-то вроде спицы, специально для этой цели воткнутой в волосы его клиента. Даже на Сандвичевых островах при особе короля Камеаеа для его развлечения содержат компанию заезжих проходимцев.

Билли Лун [так], веселый маленький негр, щеголяющий в грязной голубой куртке, сплошь разукрашенной позеленевшими бронзовыми пуговицами и потрепанными золотыми галунами, исполняет обязанности королевского барабанщика и тамбуриниста. Джо, португалец с деревянной ногой, потерявший ногу при охоте на кита, состоит скрипачом; а Мордухай, как его называют, омерзительный бездельник, расхаживая с бильбоке^[111] в боковом кармане, увеселяет двор фокусами. Эти ленивые негодяи не получают определенного жалованья и всецело зависят от случайных щедрот своего хозяина. Время от времени они кутят в долг в танцевальных залах Гонолулу, а прославленный Камеаеа III затем является туда и оплачивает счета.

Несколько лет назад при дворе короля чуть было не появился еще аукционист его величества. По всей вероятности, то был первый представитель этой профессии, вздумавший заняться ею на Сандвичевых островах. Король, восхищенный игрой в набавление цены на распродаваемые вещи, был одним из завсегдатаев аукционов. В конце концов он стал упрашивать предприимчивого дельца бросить все и перейти к нему на службу, обещая прекрасное положение при дворе. Но аукционист отказался; и молотку слоновой кости не суждено было, чтобы его несли на

бархатной подушке перед владельцем, когда настанет время коронации следующего короля.

Но не в качестве странствующих актеров или лакеев без определенных обязанностей надеялись мы с доктором в ближайшее время получить доступ ко двору королевы Таити. Напротив, как я упоминал раньше, мы рассчитывали, что по цивильному листу будут сделаны дополнительные ассигнования плодов хлебного дерева и кокосовых орехов, чтобы мы могли с соизволения ее величества занять какие-нибудь почетные должности.

По дошедшим до нас слухам, королева для борьбы с французской узурпацией стремилась объединить вокруг себя как можно больше иностранцев. Ее склонность к англичанам и американцам была хорошо известна, и это служило дополнительным основанием для наших надежд на благожелательный прием. Больше того, Зик сообщил нам, будто бы королевские советники в Партувае всерьез подумывали о наступательной войне против обосновавшихся в Папеете захватчиков. Если бы это оказалось верным, то мы, как подсказывал нам наш оптимизм, безусловно могли рассчитывать на должность хирурга для доктора и лейтенанта для меня.

Таковы были наши виды и чаяния, когда мы замышляли путешествие в Талу. Но, полные столь великих стремлений, мы не забывали и о мелочах, которые могли помочь нам выдвинуться. Доктор как-то рассказал мне, что прекрасно играет на скрипке. Теперь я предложил, как только мы прибудем в Партувай, постараться достать у кого-нибудь инструмент; если же это не удастся, то ему придется смастерить самодельную скрипку и, вооружившись ею, попросить у королевы аудиенции. Ее всем известная страсть к музыке обеспечит ему немедленный прием, и таким образом мы достигнем того, что она обратит на нас внимание при самых благоприятных обстоятельствах.

— И кто знает, — заявил мой веселый товарищ, откинув назад голову и исполняя воображаемую мелодию, быстро водя одной рукой поперек другой, — кто знает, не удастся ли мне моей скрипкой завоевать благосклонность ее величества и стать кем-то вроде Риццио^[112] при таитянской королеве.

Глава LXVI

КАК МЫ ПРЕДПОЛАГАЛИ ДОБРАТЬСЯ ДО ТАЛУ

Бесславные обстоятельства нашего несколько преждевременного ухода из Тамаи наполнили пронизательного доктора и меня всякого рода мрачными опасениями за будущее.

Под защитой Зика мы были в безопасности от наглого вмешательства туземцев в наши дела. Но, странствуя по острову одинокими путниками, мы подвергались риску, что нас задержат как беглецов и отправят обратно на Таити. Вознаграждение, неизменно назначаемое за поимку сбежавших с кораблей матросов, побуждало некоторых туземцев подозрительно относиться ко всем иностранцам.

Желательно было поэтому иметь паспорт, но о такой вещи на Эймео никогда и не слыхивали. В конце концов Долговязому Духу пришла в голову следующая мысль: так как нашего янки хорошо знали и очень уважали на всем острове, нам следовало попытаться получить от него какой-нибудь документ, который подтверждал бы не только то, что мы у него работали, но и то, что мы не являемся ни разбойниками, ни похитителями детей, ни сбежавшими матросами. Такое удостоверение, если даже оно будет написано по-английски, пригодится на все случаи жизни, ибо неграмотные туземцы, испытывавшие благоговейный трепет перед всяким документом, не осмелятся причинить нам неприятности, пока не ознакомятся с его содержанием. Если даже дело примет для нас самый плохой оборот, мы сможем обратиться за помощью в ближайшую миссию, и там островитянам дадут разъяснения.

Когда мы изложили Зику суть дела, он, видимо, был очень польщен тем мнением, какое у нас сложилось о его репутации на Эймео, и согласился оказать нам услугу. Доктор сразу же предложил составить черновик документа, но он отказался, заявив, что напишет сам. Итак, вооружившись петушиным пером, листом плотной бумаги и мужеством, янки принялся за работу. Он явно не привык к сочинительству, ибо его творение рождалось в таких жестоких муках, что доктор стал уже подумывать о необходимости чего-нибудь вроде кесарева сечения.

Наконец, драгоценный документ был готов. И каким диковинным он оказался! Нас очень позабавили объяснения янки, почему он не поставил

даты.

— В этом растреклятом климате, — заметил он, — человек никак не уследит за ходом месяцев, потому как времен года здесь не бывает; нет чтобы лето чередовалось с зимой. Всегда кажется, что июль — такая несносная жара.

Раздобыв паспорт, мы стали обдумывать, как нам добраться до Талу.

Остров Эймео почти повсюду окружен настоящим волноломом из коралловых рифов, отстоящим не больше чем на милю от берега. Тихий внутренний канал служит наилучшим путем сообщения между поселками, которые все, за исключением Тамаи, расположены у самого моря. Жители Эймео так ленивы, что, не задумываясь, проплывут вокруг острова двадцать или тридцать миль в пироге, чтобы достичь места, до которого по суше в четыре раза ближе. Впрочем, как мы упоминали, некоторую роль в этом играет страх перед быками.

Мысль совершить путешествие морем пришлась нам весьма по вкусу, и мы немедленно стали расспрашивать, нельзя ли нанять у кого-нибудь пирогу. Но из этого ничего не вышло. Не говоря уже о том, что нам нечем было платить за наем, мы вообще не могли надеяться раздобыть на время лодку, так как ее добросердечному хозяину пришлось бы, по всей вероятности, идти вдоль берега за нами, иначе он не смог бы получить обратно свою собственность, когда она нам больше не понадобится.

В конце концов мы решили начать путешествие пешком в надежде, что по дороге попадется пирога, идущая в нужном нам направлении, которая нас захватит и подвезет.

По словам плантаторов, на проторенную дорогу нам рассчитывать не приходилось; мы должны были лишь идти вдоль берега и ни в коем случае не удаляться от него, какой бы заманчивой нам ни казалась местность в глубине страны. Одним словом, самый длинный кружной путь был ближайшим путем до Талу. Вдоль берега на некотором расстоянии друг от друга имелись деревушки, а кроме того, кое-где стояли одинокие рыбацьи хижины. Повсюду мы сможем бесплатно получить сколько угодно еды, так что не было необходимости брать провизию про запас.

Намереваясь на следующее утро выйти до восхода солнца, чтобы использовать самое прохладное время дня, мы с вечера попрощались с любезными хозяевами, а затем направились к берегу, спустили на воду нашу плавучую спальню и беззаботно проспали до зари.

Глава LXVII

ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ БЕРЕГА

Это был четвертый день первого месяца «хиджры», или «бегства из Тамаи» (теперь мы так исчисляли время), когда, встав спозаранку, мы покинули Мартаирскую долину еще до того, как рыбаки зашевелились.

Заря только-только занималась. Утро давало о себе знать лишь у нижнего края гряды пурпурных облаков, пронзенной туманными пиками Таити. Тропический восход, казалось, томно медлил. Временами он вспыхивал и украшал облака светлой каймой розоватых и серых тонов, которая затем блекла, и все снова тускнело. Но вот появились тонкие бледные лучи, становившиеся все ярче и ярче, пока, наконец, на востоке из-за горизонта не выкатился золотистый шар, разбрасывая снопы света во все стороны, выше и выше, рассылая их вокруг по всему небосводу.

Напоенный ароматами таитянских роц, донесся ленивый ветерок, на пути наполнившийся морской прохладой; чуть-чуть поддавался под ногами ласковый влажный берег, казалось только что покинутый волнами.

Доктор был в прекрасном настроении. Сняв свою «руру», он вошел, подымая брызги, в воду, проплыл несколько ярдов, вылез снова на берег и принялся выкидывать всяческие антраша, не забывая, однако, направлять каждый свой прыжок в ту сторону, куда нам нужно было идти.

Что бы ни говорили о великолепной независимости, какую ощущаешь, сидя в седле, я предпочитаю твое наслаждение ранним утром, веселый пешеход!

Полные бодрости, мы продолжали путь, чувствуя себя легко и беззаботно как никогда.

Здесь я не могу удержаться, чтобы не воздать хвалы тем чудесным возможностям, какие большинство тропических стран предоставляет не только бродягам вроде нас, но и вообще не имеющим никаких средств людям. В этих теплых краях потребности, естественно, сокращаются, а те, что остаются, легко могут быть удовлетворены; без топлива, без крова, если хотите, без одежды можно вполне обойтись.

Иное дело наши суровые северные широты! Увы! Участь бедняка двадцатью градусами северней тропика Рака поистине жалка.

Через некоторое время полоса берега сузилась и стала не шире одного ярда, а густые заросли подступали почти к самому морю. К тому же вместо

гладкого песка появились острые обломки кораллов, и идти по ним стало очень неприятно.

— О боже! моя нога! — заорал доктор, судорожно дернув ею и задрал кверху для осмотра.

Сквозь дыру в ботинке в мясо вонзился острый осколок. Мои сандалии были еще в худшем состоянии, так как на их подошвах отпечатывалось, подобно окаменелостям, все, на что я ступал.

Пройдя крутой изгиб берега, мы вышли на прекрасную открытую местность; вдали на вершине холма, спускавшегося к воде, стояла рыбацкая хижина.

Она оказалась низким грубым строением, совсем недавно поставленным, ибо бамбук был еще зеленый, как трава, а тростник свежий и душистый, как луговое сено. С трех сторон хижина не имела стен, и, подойдя ближе, мы смогли ясно рассмотреть все, что находилось внутри. Никто не шевелился, и в хижине ничего не было, кроме неуклюжего старого сундука туземной работы, нескольких тыквенных бутылей, связок таппы, висевших на столбе, и какой-то непонятной кучи в темном углу. После тщательного осмотра доктор обнаружил, что то были любящие старые супруги, сжимавшие друг друга в объятиях, завернувшись в плащ из таппы.

— Алло! Дерби! — окликнул он, тормоша существо с бородой.

Но Дерби не обращал на него внимания, хотя Джоан, ^[113] сморщенная старуха, испуганно вскочила и стала громко кричать. Так как никто из нас не пытался заткнуть ей рот, то она вскоре успокоилась; тупо уставившись, она задала несколько невразумительных вопросов, а затем принялась тормошить своего все еще крепко спавшего супруга.

Что с ним приключилось, мы не знали, но разбудить его не удалось. Не помогали ни пинки, ни щипки, ни другие ласки его дорогой жены; он лежал как бревно лицом кверху и храпел, как кавалерийский трубач.

— Вот что, добрая женщина, — сказал Долговязый Дух, — дай-ка я попытаюсь, — и, схватив пациента прямо за нос, он самолично рывком поднял его, усадил и держал в таком положении, пока тот не открыл глаза. Дерби оглянулся по сторонам как одурелый, а затем, вскочив на ноги, забился в угол, откуда стал рассматривать нас с самым серьезным и почтительным видом.

— Разрешите мне, дорогой Дерби, представить вам моего уважаемого друга и товарища Поля, — сказал доктор, вертясь вокруг меня с немислимыми ужимками.

Тут Дерби начал приходить в себя и немало удивил нас, произнеся

несколько слов по-английски. Насколько можно было понять, он выражал в них, что уже давно знал о присутствии по соседству двух «кархоури», что рад нас видеть и что нам мигом будет приготовлено угощение.

Вскоре выяснилось, откуда у него такие познания в английском языке. Он прожил некоторое время в Папеэте, где островитяне уснащают свой разговор самыми классическими матросскими выражениями. По-видимому, старик очень гордился тем, что побывал на Таити, и упоминал об этом тем же многозначительным тоном, каким провинциал сообщает о том, что в свое время он проживал в столице. Дерби был не прочь поболтать, но мы очень проголодались и попросили поторопиться с завтраком, пообещав выслушать затем его рассказы. Поистине забавно было наблюдать необычайную старомодную нежность, с которой обращались друг к другу эти старые островитяне, возясь с тыквенными бутылками. Несомненно, с их языка не сходили «да, любовь моя», «нет, жизнь моя» — как это бывает у наших молодоженов.

Нас плотно накормили, и пока мы обсуждали достоинства съестных блюд, хозяева без конца повторяли, что не рассчитывают ни на какое вознаграждение за свои заботы. Больше того, мы вольны оставаться сколько хотим, и на все время нашего пребывания этот дом и все их имущество принадлежат уже не им, а нам; и еще того больше, сами они — наши рабы, причем старая дама готова довести свою услужливость до такого предела, который был совершенно излишен. Вот каково таитянское гостеприимство! Самозаклание на каменной плите собственного очага ради блага гостя.

Гостеприимство полинезийцев не знает границ. Если туземец из Ваиурара, самой западной части Таити, появляется в Партувае, деревне на крайнем востоке Эймео, то будь даже он совершенно чужой, жители со всех сторон приветствуют его у своих дверей, приглашая войти и чувствовать себя как дома. Но путник проходит мимо, внимательно изучая каждую хижину, пока не остановится, наконец, перед той, которая ему понравится; тогда, воскликнув «ах, эна маитаи» (эта, пожалуй, подойдет), он входит и располагается с полной непринужденностью, развалившись на циновках и, весьма возможно, требуя, чтобы ему принесли молодой кокосовый орех получше и печеный плод хлебного дерева, нарезанный тонкими ломтиками и хорошенько подрумянившийся.

Как это ни странно, впрочем, но если впоследствии выяснится, что этот ведущий себя без церемоний чужестранец не имеет у себя на родине собственного дома, тогда ему придется буквально вымаливать приют. «Кархоури», или белые, являются исключением из общего правила. В этих

случаях происходит в точности то же, что мы наблюдаем в цивилизованных странах, где людям, владеющим домами и поместьями, все знакомые до смерти надоедают бесконечными приглашениями приехать и погостить у них, между тем как бедные джентльмены, которые замазывают чернилами швы своего сюртука и очень порадовались бы подобному приглашению, напрасно стали бы его добиваться. Но к чести древних таитян следует заметить, что это темное пятно на их репутации гостеприимного народа лишь недавнего происхождения, а в старину его не было и в помине. Так сообщил мне капитан Боб.

В Полинезии считается «огромной удачей», если мужчина, женившись, войдет в семью, состоящую в родстве с большей частью общины (бог свидетель, у нас дело обстоит вовсе не так).

Причина здесь та, что в таком случае во время путешествия больше домов будет всецело к его услугам.

Получив родительское благословение старых Дерби и Джоан, мы продолжали путь, решив сделать следующую остановку в ближайшем месте, какое нам приглянется.

Идти пришлось недолго. Приятная прогулка вдоль покрытого ракушками берега, и вот мы на широком лугу, кое-где поросшем деревьями; он опускался к самой воде, которая шевелила окаймлявшие его заросли тростника. Вблизи находилась крошечная бухточка, защищенная коралловыми рифами; там на волнах покачивалась флотилия пирог. Поодаль на естественной террасе, обращенной в сторону моря, стояло несколько туземных хижин с новыми тростниковыми крышами, которые выглядывали из листвы, точно зеленые беседки.

Когда мы подошли ближе, послышались громкие голоса, и вскоре показались три веселые девушки; от них так и веяло жизнерадостностью, здоровьем и юностью, и они казались олицетворением живости и лукавства. На одной из них было яркое ситцевое платье, а длинные черные волосы свисали позади двумя огромными косами, соединенными внизу и перевязанными зелеными усиками виноградной лозы. По самоуверенному, дерзкому виду островитянки я решил, что это какая-то молодая особа из Папеете, приехавшая навестить деревенских родственников. Наряд ее спутниц состоял лишь из простого хлопчатобумажного балахона; их волосы были растрепаны. Эти очень хорошенькие девушки проявляли сдержанность и смущение, свойственные провинциалкам.

Маленькая плутовка (первая, о которой я упомянул) подбежала ко мне и, очень радушно поздоровавшись по-таитянски, закидала такой кучей вопросов, что я не успевал не только ответить, но даже понять их. Впрочем,

в сердечном приеме в Лухулу, как она называла деревню, мы могли не сомневаться. Тем временем доктор Долговязый Дух галантно предложил руку двум другим девушкам; поначалу они не понимали, чего от них ждут, но в конце концов, усмотрев в этом какую-то шутку, приняли оказываемую им честь.

Три девицы немедленно сообщили нам свои имена, которые были весьма романтичны, и я не могу удержаться, чтобы не привести их. Итак, на руках моего приятеля повисли Ночь и Утро, в лице Фарновары, или Рожденной Днем, и Фарноопу, или Рожденной Ночью. Та, что с косами, носила очень подходящее имя Мархар-Раррар — Бодрствующая, или Ясноглазая.

К этому времени из хижин вышли остальные их обитатели — несколько стариков и старух и какие-то рослые молодые парни, протиравшие глаза и зевавшие во весь рот. Все окружили нас и спрашивали, откуда мы явились. Услышав о нашем знакомстве с Зиком, они пришли в восхищение; а один из них узнал ботинки на ногах доктора.

— Кики (Зик) маитаи, — закричали они, — нуи, нуи ханна ханна портарто (делает много картофеля).

Теперь начались дружеские препирательства по поводу того, кому выпадет честь принять у себя чужеземцев. Наконец, высокий старый джентльмен по имени Мархарваи, с лысой головой и седой бородой, взял нас за руки и повел в свой дом. Как только мы вошли, Мархарваи, указывая палкой на все находившееся внутри, принялся с таким подобострастием просить нас считать его дом своим, что Долговязый Дух предложил ему тут же составить дарственную.

Время приближалось к полудню, а потому после легкого завтрака из печеных плодов хлебного дерева, после нескольких затяжек трубкой и веселой болтовни, наш хозяин стал уговаривать нас прилечь и предаться длительному отдыху. Мы согласились и хорошенько всхрапнули всей компанией.

Глава LXVIII

ЗВАНЫЙ ОБЕД НА ЭЙМЕО

В середине чудесного ликующего дня нас повели обедать под зеленый навес из пальмовых листьев, открытый со всех сторон и такой низкий у стрех, [\[114\]](#) что, входя, мы должны были нагнуться.

Внутри землю устилал свежий ароматный папоротник, называемый «нахи»; когда его шевелили ногой, он испускал сладкий запах. По одну сторону лежал ряд желтых циновок с узорами из волокон древесной коры, окрашенных в ярко-красный цвет. Сидя там по-турецки, мы любовались зеленым берегом и расстилавшейся за ним синей гладью безбрежного Тихого океана. Двигаясь вдоль края острова, мы зашли уже так далеко, что Таити больше не было видно.

На папоротнике перед нами в несколько слоев лежали широкие толстые листья «пуру», перекрывавшие один другой. Поверх них были уложены в ряд недавно сорванные банановые листья, длиной по меньшей мере в два ярда и очень широкие. Чтобы они не топорщились, черенки из них вырвали. На этой зеленой скатерти стояло следующее.

Вдоль одного края были разложены листья «пуру», заменявшие тарелки; около каждого стояла простая чаша из скорлупы ореха, до половины наполненная морской водой, и лежала таитянская булочка, то есть маленький плод хлебного дерева, подрумяненный на огне. В центре находилась огромная плоская тыквенная бутыль, доверху набитая бесчисленными пакетиками из влажных листьев, от которых шел пар; в каждом была завернута маленькая рыбка, печеная в земле по всем правилам кулинарного искусства. По обе стороны от этой аппетитной горы стояли украшенные резьбой тыквенные бутылки. Одна была до краев полна золотистым «пой», то есть пудингом, приготовленным из красного пизанга, [\[115\]](#) растущего в горах, другая — пирожными из индийской репы, которую разминают в ступке и замешивают на молоке кокосового ореха, а затем пекут. Между тремя тыквенными бутылками лежали груды молодых кокосовых орехов, очищенных от шелухи. Их глазки были вскрыты и расширены, так что каждый плод представлял собой готовый к употреблению кубок.

В одном углу на чем-то вроде добавочной скатерти лежали отборные бананы в яркой глянцевитой кожуре, спелые красные «ави», гуавы, чья

бордовая мякоть просвечивала сквозь прозрачную кожицу, создавая впечатление как бы трепетного румянца; были там и апельсины, окрашенные местами в темно-коричневый цвет, и большие чудесные дыни, покачивавшиеся от своей тучности. Какая груда! Все румяные, зрелые и круглые — брызжущие животворной силой тропической почвы, на которой они выросли!

— Страна фруктов! — воскликнул в восторге доктор и урвал кусочек плода, особенно любимого джентльменами сангвинического темперамента, иначе говоря, приложился к спелым вишневым губкам мисс Рожденной Днем, которая стояла рядом и наблюдала за происходившим.

Мархарваи рассадил гостей по местам, и обед начался. Решив поблагодарить за любезный прием, я встал и выпил за его здоровье растительного вина, то есть кокосовое молоко, произнеся при этом обычный тост: «Ваше здоровье, приятель». Наш хозяин понял, что ему оказана какая-то честь, принятая среди белых, и, улыбнувшись, вежливым взмахом руки попросил меня сесть. Вряд ли есть на свете люди, как бы ни были они хорошо воспитаны, которые обладали бы такими непринужденными и утонченными манерами, как жители Эймео.

Доктор, сидевший рядом с хозяином, пользовался его особым вниманием. Положив перед гостем пакетик с рыбой, Мархарваи развернул его и принялся усиленно потчевать. Но мой товарищ был из тех, кто во время пиршеств умеет сам о себе позаботиться. Он съел бесчисленное количество «пехи ли ли» (маленьких рыбок), два плода хлебного дерева (свой и предназначенный соседу) и отведывал все кушанья с непринужденностью человека, привыкшего бывать на званых обедах.

— Поль, — сказал он, наконец, — вы, кажется, плохо стараетесь; почему бы вам не попробовать этого соуса из перца? — И чтобы показать пример, он обмакнул кусок в морскую воду.

Я послушался его совета и нашел, что получается довольно пикантно, хотя и несколько горько — в общем прекрасная замена соли. Жители Эймео неизменно употребляют морскую воду за едой и считают ее хорошим угощением; принимая во внимание, что их остров окружен целым океаном соуса, такую роскошь нельзя признать слишком разорительной.

Рыба была великолепная; печеная в земле, она сохраняла все соки и становилась исключительно ароматной и нежной. Пудинг из пизанга оказался почти приторным, пирожные из индийской репы вполне съедобными, а печеные плоды хлебного дерева хрустели, как поджаренный хлеб.

Во время обеда мальчик туземец непрерывно обходил гостей, держа в

руках длинный ствол бамбука. То и дело он постукивал им по скатерти, насыпая перед каждым гостем кучу каких-то белых комков, по вкусу слегка напоминавших творог. Это были «лоуни», великолепная приправа, приготовленная из растертой мякоти спелого кокосового ореха, пропитанной кокосовым молоком и морской водой; получившуюся массу держат тщательно закупоренной, пока в ней не начнется сахаристая стадия брожения.

Пиршество сопровождалось оживленными разговорами островитян; их способность к болтовне значительно превосходила нашу. Молодые девушки также искусно владели язычками и вносили немалый вклад в царившее веселье.

Эти бойкие нимфы успевали следить и за тем, чтобы рвение обедающих не ослабевало; когда доктор с удовлетворенным видом откинулся, они вскочили на ноги и буквально засыпали его апельсинами и гуавами. На этом, однако, прием закончился.

Мой долговязый приятель своими бесконечными чудачествами завоевал величайшее расположение всех присутствовавших, и они наградили его длинным забавным прозвищем, которое прекрасно характеризовало и его тощую фигуру и «руру». Последняя, кстати сказать, неизменно обращала на себя внимание всех, кого мы ни встречали.

Давать людям прозвище — у жителей Таити и Эймео настоящая страсть. Ни один человек — будь то даже иностранец, — обладающий какой-нибудь странностью в наружности или характере, не бывает ими обойден.

Чопорный капитан военного корабля, посетив Таити второй раз, узнал, что среди островитян он известен под почтенной кличкой «Ати Пои» — буквально «пои-голова», или дурная голова. Даже самое высокое положение в туземной иерархии не может служить защитой. Первого супруга нынешней королевы при дворе обычно называли Пузатый. Конечно, брюхо составляло главную часть его особы — как это было и у достойного Георга IV,^[116] но что за прозвище для принца-супруга!

Даже «Помаре», наследственное имя королей, первоначально было простым прозвищем и буквально означает «гнусавый». Первый монарх, носивший это имя, во время военного похода проводил ночи в горах и однажды утром проснулся с насморком; какой-то придворный шутник оказался настолько бестактен, что увековечил это событие пошлой кличкой.

Как отличаются легкомысленные полинезийцы и в этом и в других отношениях от наших серьезных, сдержанных североамериканских индейцев! Между тем как первые награждают прозвищами по какому-

нибудь смешному или недостойному качеству человека, последние выделяют самые возвышенные и воинственные. Поэтому у краснокожих мы встречаем такие поистине благородные имена, как «Белый орел», «Молодой дуб», «Огненный глаз», «Согнутый лук»...

Глава LXIX

КОКОСОВАЯ ПАЛЬМА

Пока доктор и туземцы предавались полезному для пищеварения послеобеденному сну, я отправился побродить и осмотреть местность, которая могла доставить столь обильное угощение.

К моему удивлению, довольно большая полоса земли поблизости от деревушки, защищенная со стороны моря рощей кокосовых пальм и хлебных деревьев, была прекрасно возделана. Там росли сладкий картофель, индийская репа и ямс, а также дыни, немного ананасов и другие плоды. Еще больше радовали молодые хлебные деревья и кокосовые пальмы, посаженные заботливыми руками, словно вопреки своему обыкновению непредусмотрительные полинезийцы решили позаботиться о будущем. Впрочем, это был единственный пример процветающего туземного хозяйства, какой мне довелось видеть. Во время моих скитаний по Таити и Эймео больше всего меня поражало, что эти деревья, которые, казалось бы, должны были здесь расти в изобилии, встречаются довольно редко. Целые долины, подобно Мартаирской, неистощимо плодородные, оставлены на произвол судьбы и заполняются дикой растительностью. Наносные равнины, тянущиеся вдоль берега моря и орошаемые горными реками, зарастают кустами дикой гуавы, завезенной иностранцами и распространяющейся с роковой быстротой; туземцы, которые не принимают против этого никаких мер, предвидят, что в недалеком будущем гуава покроет весь остров. Даже открытые поляны, где так легко можно было бы развести фруктовые сады, остаются в полном пренебрежении.

Когда я думал о плодороднейшей почве и несравненном климате Таити, до нелепости плохо используемых, я не мог не изумляться туземцам в окрестностях Папезте, часть которых чуть не умирала с голоду в своих захиревших садах. На других посещенных мною островах, столь же плодородных и не претерпевших никаких изменений со времени их открытия, подобной картины мне наблюдать не приходилось.

То благоговение, с каким жители Таити и Эймео относятся ко многим из своих плодовых деревьев, красота, придаваемая ими ландшафту, многообразная польза, приносимая ими, быстрота, с какой они распространяются, — все это делает нерадивость таитян еще более непонятной. Примером может служить кокосовая пальма, представляющая

главное природное богатство тропических стран. Особенно для полинезийцев она является Древом жизни, превосходя даже хлебное дерево по разнообразию своего применения.

Кокосовая пальма производит величественное впечатление. Прямой мощный ствол свидетельствует о ее превосходстве и делает ее среди остальных деревьев, пожалуй, тем, чем является человек по отношению к низким существам.

Блага, приносимые ею, неисчислимы. Из года в год островитянин отдыхает в ее тени, ест и пьет ее плоды; он кроет свою хижину ее листьями и плетет из побегов корзины для переноски провизии; в жару он обмахивается веером, изготовленным из ее молодых листочков, и защищает свою голову от солнца шляпой из ее листьев; иногда он делает себе одежду из похожего на ткань вещества, окружающего основание ствола; скорлупа более крупных орехов, обструганная и отполированная, служит ему красивым кубком, а более мелких — чашечками курительных трубок; сухая шелуха горит в его кострах; из волокон он плетет рыболовные лесы и шнуры, чтобы связывать из досок борта своих пирог; он лечит свои раны бальзамом, составной частью которого является кокосовое молоко, а маслом, выжатым из мякоти ореха, он умащивает покойников.

Самый ствол также представляет большую ценность. Распиленный на столбы, он поддерживает жилище островитянина, превращенный в древесный уголь, — жарит его пищу, а положенный на каменные глыбы, — огораживает его поля. Туземец заставляет свои пироги двигаться по воде при помощи весла из древесины кокосовой пальмы и идет сражаться, вооруженный палицами и копьями из того же твердого материала.

На Таити во времена язычества ветвь кокосовой пальмы была символом королевской власти. Положенная на жертву в храме, она освящала жертвоприношения; этой ветвью жрецы умиряли и изгоняли злых духов, нападавших на островитян. Олицетворением великого Оро, верховного бога таитянской мифологии, был обрубок ствола кокосовой пальмы, из которого грубо изваяли его изображение. На одном из островов Тонга стоит живая пальма, почитаемая сама по себе божеством. Даже на Сандвичевых островах кокосовая пальма полностью сохраняет былую славу, и их жители подумывают о том, чтобы избрать ее своей национальной эмблемой.

Кокосовую пальму сажают следующим образом: выбрав подходящее место, кладут в землю совершенно спелый орех. Через несколько дней тонкий копьеобразный побег пробивается сквозь крошечное отверстие в скорлупе, пронизывает шелуху и вскоре выбрасывает три бледно-зеленых

листика; одновременно два волокнистых корня, развившихся из той же самой мягкой белой губчатой массы, которая теперь заполняет весь орех, оттесняют «пробки», прикрывающие отверстия в противоположной стороне, вылезают из скорлупы и углубляются вертикально в землю. Еще через день-два скорлупа и шелуха, на последней стадии созревания ореха становящиеся такими твердыми, что нож их почти не берет, самопроизвольно лопаются под действием какой-то внутренней силы. С этого времени стойкое молодое растение начинает свой мощный рост и, не нуждаясь ни в уходе, ни в подрезке, ни вообще в каких-либо заботах, быстро движется к зрелости. Через четыре или пять лет дерево начинает плодоносить, а через вдвое больший срок его макушка уже возвышается над рощами. Становясь все более могучей, пальма гордо растет почти столетие.

И вот, как выразился какой-то путешественник, человек, лишь положивший в землю один орех, окажет, пожалуй, такое огромное и несомненное благодеяние самому себе и последующим поколениям, какого в менее мягком климате не принес бы труд всей жизни многих людей.

Кокосовая пальма дает замечательные урожаи. Пока она живет, она плодоносит и притом без всякого перерыва. На ней вы можете одновременно увидеть двести орехов, а кроме того, бесчисленные белые цветы, из которых завяжутся еще другие; и хотя требуется целый год, чтобы каждый из них дошел до состояния спелости, вам вряд ли удастся обнаружить два плода точно в одной и той же стадии развития.

Близость моря благоприятствует росту этого дерева. Наиболее совершенные экземпляры встречаются, по-видимому, на самом побережье, где корни пальмы буквально омываются водой. Но так бывает только на тех островах, где кольцо коралловых рифов защищает берег от морского прибоя. Орехи, выросшие в таких местах, совершенно не имеют солоноватого привкуса. Хотя кокосовая пальма дает плоды на любой почве, и на возвышенностях, и в низинах, внутри страны она не достигает мощного расцвета; я часто наблюдал в верховьях долин, что ее высокий ствол наклоняется в сторону моря, как бы стремясь в более благодатные края.

Любопытно отметить следующее: если вы лишите кокосовую пальму пучка зелени на ее макушке, дерево немедленно погибает; и если его оставляют в таком виде, ствол, при жизни покрытый крепкой корой, почти непроницаемой для пули, разрушается и за невероятно короткий срок превращается в труху. Возможно, это отчасти объясняется особенностями строения ствола — простого цилиндра, состоящего из тончайших

пустотелых трубочек, тесно прижатых друг к другу и очень твердых; но если их целостность сверху нарушена, то они становятся проводниками влаги и гниения, распространяющегося на все дерево.

Самое прекрасное насаждение кокосовых пальм, какое мне известно, и единственная плантация их, когда-либо виденная мною на островах, находится на южном берегу бухты Папеэте. Деревья были посажены первым Помаре около полувека назад, и так как почва оказалась особенно подходящей, то благородные пальмы образуют теперь великолепную рощу, которая тянется примерно на милю. Там вы не найдете ни одного другого дерева, почти ни одного куста. Ракитовая дорога пересекает ее во всю длину.

В полдень эта роща представляет собой самый красивый уголок на свете, полный мирного очарования. Высоко над головой вы видите зеленые трепещущие арки, сквозь которые пробиваются солнечные лучи. Вы идете как бы среди бесконечных колоннад; повсюду взор встречает величественные аллеи, пересекающие друг друга во всех направлениях. Кругом царит необычайная тишина; в воздухе разлит мягкий, как бы предзакатный покой.

Но вот длительный утренний штиль сменяется морским бризом; он шевелит макушки тысяч деревьев, и те кивают своими плюмажами. Вскоре ветер свежеет; вы слышите, как листья трутся один о другой, а гибкие стволы начинают покачиваться. К вечеру вся роща волнуется, и путник на Ракитовой дороге то и дело вздрагивает при падении орехов, отрывающихся от хрупких черенков. Плоды летят по воздуху, свистя, как шары жонглера, и часто катятся, подпрыгивая по земле, на много десятков футов.

Глава LXX

ЖИЗНЬ В ЛУХУЛУ

Найдя общество в Лухулу очень приятным (особенно дружелюбно к нам относились молодые девушки), а главное, воспылав страстью к чудесным обедам, которыми нас угощал старый Мархарвай, мы приняли его предложение задержаться еще на несколько дней. Мы сможем тогда, убеждал он, присоединиться к группе деревенских жителей, собиравшихся поехать на пироге лиги за две от Лухулу. Эти люди так не любят утруждать себя, что возможность избавиться от необходимости проделать несколько миль пешком считают вполне достаточной причиной, чтобы мы не торопились, если бы даже у нас не было других к тому оснований.

Жители деревушки, как мы вскоре узнали, составляли мирную общину родственников; оказалось, что во главе ее стоял наш хозяин Мархарвай. Он был местным вождем, и ему принадлежали соседние земли. У богачей почти всегда оказывается большая родня, и все запросто посещали Мархарвай — вероятно, потому, что он был как бы местным феодалом. Подобно капитану Бобу, он во многих отношениях оставался приверженцем старины и ревнителем традиций минувшего языческого века.

Нигде больше, за исключением Тамаи, мы не наблюдали среди туземцев нравов, столь мало испорченных недавними переменами. Традиционный таитянский обед, устроенный для нас в день нашего прибытия, служит прекрасным примером обычного образа жизни обитателей Лухулу.

Мы чудесно проводили время. Доктор занимался своими делами, а я своими. В сопровождении какой-нибудь симпатичной спутницы он постоянно совершал экскурсии в глубь страны, якобы для сбора ботанической коллекции, между тем как я большую часть дня проводил у моря, иногда отправляясь с девушками на прогулку в пироге.

Мы часто занимались рыбной ловлей, не подремывая над глупыми удочками, а прыгая прямо в воду и с острой в руке гоняясь за добычей среди коралловых скал.

Бить рыбу острой великолепное развлечение. Жители Эймео по всему острову промышляют ее только этим способом. Тихое мелководье между рифом и берегом, а во время отлива и самый риф прекрасно

подходят для такого лова. Почти в любое время дня, кроме всегда священного полуденного часа, можно увидеть рыбаков за их любимым занятием. С громкими криками они размахивают острогами и, подымая брызги, расхаживают по воде туда и сюда. Иногда одинокий туземец медленно бредет вдалеке по отмели, напряженно всматриваясь и держа острогу наготове.

Но лучше всего ловить рыбу при свете факелов, отправившись на самый риф. Туземцы предаются этому развлечению с такой же страстью, с какой английский джентльмен охотится, и получают не меньше удовольствия.

Факел представляет собой не что иное, как крепко связанный пучок сухого тростника, а острога — длинную легкую жердь с железным наконечником, с одного края зазубренным.

Я никогда не забуду, как старый Мархарваи и все мы подъехали в полночь на пироге к рифу и выпрыгнули на коралловые выступы, размахивая факелами и острогами. Мы находились больше чем за милю от берега; угрюмый океан, с грохотом налетавший на наружную сторону рифа, обдавал брызгами наши лица, чуть не гася факелы. Вдали, насколько хватал глаз, темноту неба и воды прорезала длинная, смутно различимая линия пены, которая отмечала изгиб кораллового барьера. Охваченные азартом рыбаки, потрясая своим оружием и крича, как тысяча чертей, чтобы вспугнуть добычу, прыгали с уступа на уступ и то и дело опускали острогу в самую середину бурунов.

Но битье рыбы острогой было не единственным развлечением в Лухулу. На самом берегу росла старая могучая кокосовая пальма; ее корни были подмыты волнами, так что ствол сильно накренился. С макушки дерева свисала прочная веревка из коры; ее конец касался воды в нескольких ярдах от берега. Это были таитянские качели. Юноша туземец, ухватившись за веревку, не спеша раскачивался взад и вперед, а затем вдруг бросался вниз с высоты пятидесяти или шестидесяти футов над водой, летя по воздуху, словно ракета. Не думаю, чтобы кто-нибудь из наших акробатов решился на такой фокус. Лично у меня не было для этого ни способностей, ни охоты, а потому я попросил одного парня привязать к вершине для пущей безопасности еще одну веревку и смастерил из зеленых ветвей большую корзину: в ней я вместе с ближайшими друзьями часами качался над морем и землей.

Глава LXXI

МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ТАЛУ

Ярко сияло утро и еще ярче улыбки молодых девушек, наших спутниц, когда мы прыгнули в своего рода семейную пирогу, широкую и вместительную, и распрощались с гостеприимным Мархарвай и его вассалами. Мы взяли за весла, а хозяева стояли на берегу и, махая руками, кричали «ароха! ароха!» (прощайте! прощайте!) до тех пор, пока мы могли их слышать.

Очень опечаленные расставанием с ними, мы тем не менее постарались утешиться обществом наших попутчиков. Среди них были две старые дамы; но так как они с нами не разговаривали, то и мы о них не будем говорить, равно как и о стариках, управлявшихся с пирогой. Однако о трех лукавых черноглазых молодых чародейках, в непринужденных позах сидевших на корме нашей удобной гондолы старинного полинезийского образца, у меня есть что порассказать.

Во-первых, одной из них была Мархар-Раррар, Ясноглазая; во-вторых, ни она, ни ее плутовки-подруги никогда и не помышляли пуститься в путешествие, пока доктор и я не объявили о своем намерении; их поездка с нами была лишь отчаянной шалостью. Короче говоря, это были просто веселые озорницы, склонные к злым шуткам и готовые смеяться вам в лицо, когда вы принимали сентиментальный вид, и вообще терпевшие ваше присутствие лишь потому, что могли позабавиться на ваш счет.

Они постоянно находили в нас что-либо, вызывавшее в них веселье. Приписывая это своей замечательной наружности, доктор еще больше смешил девушек, изображая шута. Но его колпак и бубенчики всегда звенели на один и тот же лад, и я был почти уверен, что, разыгрывая из себя дурачка, он в то же время пытался играть роль повесы. У нас на родине считается, что эполеты дают больше всего шансов на успех при ухаживании, но среди полинезийцев лучше всего волочиться за женщинами в шутовском наряде.

Поднялся свежий ветер; поставив парус из циновки, мы спокойно двигались вперед, словно плыли по реке. С одной стороны тянулся белый риф, с другой — зеленый берег.

Вскоре, после того как мы обогнули мыс, показалась другая пирога, которая двигалась нам навстречу; гребцы изо всех сил налегали на весла.

Незнакомцы перекликались между собой, а высокий парень, стоявший на носу, все время прыгал как сумасшедший. Они стрелой пронеслись мимо нас, хотя наши попутчики все время кричали, чтобы они перестали грести.

По словам туземцев, это было что-то вроде королевской почтовой пироги, которая везла какую-то весть от королевы ее друзьям в отдаленной части острова.

Миновав несколько хижин, стоявших в тени и на вид гостеприимных, мы предложили пристать и отдохнуть от однообразия морского путешествия, прогулявшись по берегу. Итак, мы высадились на сушу, оттащили пирогу в кусты за сгнившую пальму, частично лежавшую в воде, оставили наших пожилых спутников дремать в тени, а сами отправились с остальными побродить среди деревьев, обвитых виноградными лозами и вьющимся кустарником.

Вскоре после полудня мы приблизились к тому месту, куда направились наши спутники. Это был одинокий дом, в котором жили четыре или пять старух; когда мы вошли, они сидели вокруг циновок и ели «пои» из треснувшей тыквенной бутылки. Они явно обрадовались нашим спутницам, но сразу же насупились, когда их познакомили с нами. Недоверчиво глядя на нас, они шепотом осведомились, кто мы такие. Полученный ответ, вероятно, не удовлетворил их, так как они держались с нами очень холодно и сдержанно и, по-видимому, жаждали разлучить нас с девушками. Не желая оставаться там, где наше присутствие было неприятно, мы с доктором решили уйти, даже не поев.

Услышав об этом, Мархар-Раррар и ее подруги выразили сильнейшее огорчение; позабыв о своем прежнем обращении с нами и не слушая никаких увещеваний старух, они разразились рыданиями и жалобами, против которых нельзя было устоять. Итак, мы согласились остаться до тех пор, пока они не отправятся домой, что должно было произойти на «ахехараре», иными словами — на закате.

Но вот час настал, и после долгого прощания девушки благополучно усадились в пирогу. Когда ее нос повернулся, они выхватили весла из рук стариков и молча помахали ими в воздухе. Это означало последнее трогательное прощание, ибо веслом машут так лишь в том случае, когда расстающиеся больше никогда не надеются встретиться.

Теперь и мы пустились в дальнейший путь. Идя пляжем, мы вскоре достигли ровного высокого берега, круто нависавшего над водой и местами поросшего деревьями; он тянулся широкой дугой вдоль значительной части острова. По краю берега шла чудесная тропинка, и мы часто останавливались полюбоваться открывающимся видом. Вечер был на

редкость тих и ясен даже для здешнего восхитительного климата; повсюду, насколько хватал глаз, — голубое небо и океан, незаметно сливавшиеся друг с другом.

Мы двигались вперед, и кольцо рифов продолжало сопровождать нас, заворачивая, когда мы заворачивали, далекий глухой шум прибоя грохотал в наших ушах подобно непрерывному реву водопада. Испокон веку обрушиваясь на коралловую преграду, буруны издали напоминали линию вздыбленных боевых коней, потрясающих белой гривой, и с пеной вокруг удил.

Эти огромные естественные волноломы как бы созданы для того, чтобы охранять сушу. Ими защищены почти все острова Товарищества. Если бы громадные волны Тихого океана разбивались прямо о берег, размывая мягкую наносную почву, во многих местах покрывающую его, туземцы вскоре лишились бы своей самой плодородной земли. А так более прочных берегов не имеет ни один ручей.

Коралловые барьеры выполняют еще одну роль. Они образуют все гавани этого архипелага, в том числе двадцать четыре бухты у берегов Таити. Интересно, что проходы среди рифов, по которым суда только и могут попасть к местам якорной стоянки, неизменно расположены напротив устьев рек; это обстоятельство особенно ценят моряки, пристающие к берегу для пополнения запасов воды.

Утверждают, будто бы пресная вода островов, смешиваясь с морской водой, содержащей растворимые соли, препятствует образованию кораллов; отсюда и разрывы в кольце. Местами по сторонам проходов стоят часовыми крошечные сказочные островки, зеленые, как изумруд, и поросшие покачивающимися пальмами. Ничто не поражает сильнее воображение, чем эти маленькие клочки земли, вносящие неожиданное и прекрасное разнообразие в длинную линию бурунов. Помаре II с истинно таитянской любовью к морю избрал один из таких островков местом отдыха от королевских забот. Мы видели этот чудесный уголок во время путешествия.

Не останавливаясь на дальнейших приключениях, выпавших на нашу долю после того как мы расстались с компанией из Лухулу, мы должны теперь поспешить с рассказом о том, что произошло незадолго до прибытия к месту назначения.

Глава LXXII

ТОРГОВЕЦ ЗАПРЕЩЕННЫМ ТОВАРОМ

Прошло не меньше десяти дней с начала «хиджры», когда мы очутились в гостях у Варви, старого отшельника-островитянина, который сам вел свое хозяйство в хижине, находившейся лигах в двух от Талу.

В нескольких десятках ярдов от берега в глубине лоцины возвышалась в виде островка поросшая мхом скала; мелкий ручеек, разделившись на два рукава, омывал ее с обеих сторон, а затем опять соединялся. Окружив скалу изогнутыми корнями, корявая «аоа» раскинула вверху свою густую листву; упругие ветви-корни свисали с более крупных суков и внедрялись в каждую трещину, образуя опоры для материнского ствола. Местами эти висячие ветви не доросли еще до скалы, и их свободные волокнистые концы раскачивались в воздухе как плети.

Хижина Варви, простая бамбуковая конура, примостилась на плоском уступе скалы; конек крыши одним концом опирался на развилину «аоа», а другой конец поддерживался раздвоенным суком, укрепленным в расселине.

Приближаясь к лачуге, мы несколько раз крикнули, но старый отшельник обратил на нас внимание лишь тогда, когда доктор подошел и дотронулся до его плеча. Старик в это время стоял на коленях на камне и чистил в ручье рыбу. Он вскочил на ноги и удивленно уставился, но тотчас же какими-то странными жестами приветствовал нас, одновременно сообщив тем же способом, что он глух и нем, а затем повел в свое жилище.

Войдя, мы растянулись на старой циновке и стали осматриваться. Грязные бамбуковые стены и тыквенные бутылки имели очень неприглядный вид, и доктор предложил сразу же двинуться дальше в Талу, хотя время близилось к закату. Но в конце концов мы решили остаться.

Старик довольно долго возился снаружи под ветхим навесом, прежде чем появился с ужином. В одной руке он держал мерцающий светильник, а в другой — огромную плоскую тыквенную бутылку с какой-то едой, заполнявшей лишь незначительную ее часть. Он вращал глазами, переводя взгляд с тыквенной бутылки на нас и с нас на тыквенную бутылку, как бы говоря: «Ну, ребята, что вы думаете об этом, а? Неплохое угощение, а?» Но так как рыба и индийская репа оказались не из лучших, трапеза получилась

довольно жалкая. Свое мнение о ней старик всячески пытался выразить знаками; бóльшая их часть производила настолько комичное впечатление, что мы склонны были принять их за какую-то веселую пантомиму.

Убрав остатки пиршества, хозяин покинул нас на минуту и вернулся, неся в руках тыквенную бутылку порядочного размера с длинным изогнутым горлышком, отверстие которого было заткнуто деревянной пробкой. Бутылка с приставшими к ней комочками земли имела такой вид, словно ее только что откуда-то выкопали.

Со всякими ужимками и отвратительным хихиканьем, обычным для немых, старикан откупорил растительную флягу; при этом он все время подозрительно оглядывался и, указывая на бутылку, старался внушить нам, что она содержит нечто, являвшееся «табу», то есть запретным.

Как мы знали, спиртные напитки были туземцам строго запрещены, а потому наблюдали за нашим хозяином с большим интересом. Наполнив скорлупу кокосового ореха, он отправил ее содержимое в рот, затем снова наполнил и поднес кубок мне. Запах был противный, и я соорудил гримасу. Тут старик пришел в большое волнение, в такое большое, что немедленно произошло чудо. Выхватив чашу у меня из рук, он закричал:

— А, кархоури сабби лили, эна арва ти маитаи! — иначе говоря, «что за болван этот белый! это ведь настоящая вещь!»

Выскочи у него жаба изо рта, мы и то бы так не удивились. На мгновение он сам смутился, а затем, таинственно приложив палец к губам, постарался дать нам понять, что по временам лишается дара речи.

Сочтя такое явление весьма удивительным, доктор попросил его открыть рот, чтобы он мог заглянуть к нему в глотку. Однако старик отказался.

Это происшествие заставило нас отнестись к нашему хозяину с некоторым подозрением. Мы и впоследствии не смогли толком понять его поведение; единственная догадка, пришедшая нам в голову, состояла в том, что мнимая немота каким-то образом помогала ему в гнусных махинациях, которыми он, как позже выяснилось, занимался. Впрочем, и это объяснение казалось нам не вполне удовлетворительным.

Чтобы угодить старику, мы в конце концов отхлебнули «арва ти» и нашли этот напиток плохо очищенным и дьявольски крепким. Желая узнать, из чего он приготовлен, мы спросили об этом хозяина; тот расцвел от удовольствия, схватил светильник и вышел из хижины, предложив последовать за ним.

Пройдя некоторое расстояние по лесу, мы подошли к покосившемуся старому навесу из веток, явно обреченному на разрушение. Под ним ничего

не было, кроме куч гниющих листьев и огромного неуклюжего кувшина с широким горлышком, каким-то способом грубо выдолбленного из тяжелого камня.

На несколько минут мы остались одни; старик сунул светильник в горлышко кувшина и исчез. Он вернулся, притащив длинный толстый ствол бамбука и раздвоенный сук. Бросив их на землю, он порылся в куче мусора и извлек нетесаную деревянную колоду с проделанной в ней сквозной дырой; колода немедленно была водружена на кувшин. Затем старик воткнул раздвоенный сук торчком в землю на расстоянии двух ярдов и положил в развилину один конец бамбука, а другой всунул в дыру в колоде; в заключение всех приготовлений он подставил под дальний конец бамбука старую тыквенную бутылку.

Подойдя после этого с хитрым многозначительным видом к нам и восхищенно указывая на свой аппарат, он воскликнул:

— А, кархоури, эна ханна ханна арва ти! — что должно было означать «вот так это делается».

Его сооружение было не чем иным, как самодельным перегонным аппаратом, с помощью которого он вырабатывал местный «самогон». Оно, вероятно, намеренно содержалось в том беспорядочном состоянии, в каком мы его застали, чтобы нельзя было распознать его назначение. Прежде чем мы ушли от навеса, старый пройдоха разобрал аппарат и по частям утащил его.

То обстоятельство, что он открыл нам свою тайну, было характерно для «тутаи оури», то есть туземцев, пренебрегающих указаниями миссионеров; предполагая, что все иностранцы относятся неодобрительно к власти миссионеров, они с удовольствием посвящают «кархоури» в свои проделки всякий раз, как им удастся втихомолку нарушить законы, установленные их правителями.

Вещество, из которого вырабатывается спиртной напиток, называется «ти» и представляет собой крупный волокнистый клубень, несколько напоминающий ямс, но уступающий ему по величине. В сыром виде этот клубень исключительно горек, но сваренный или испеченный, приобретает сладость сахарного тростника. После того как «ти» обработают на огне, вымочат и доведут до известной стадии брожения, его смешивают с водой, и он становится готовым для перегонки.

Когда мы вернулись в хижину, на сцене появились трубки; через некоторое время Долговязый Дух, которому вначале «арва ти» понравилась не больше чем мне, к величайшему моему удивлению, принялся мирно попивать ее с Варви; вскоре он и старый пьяница совершенно захмелели.

Это было забавное зрелище. Всем известно, что, пока длится попойка, самые тесные узы симпатии и доброжелательства связывают опьяневших людей. И как серьезно, даже трогательно, достойные собутыльники, занятые своим делом, стараются разъяснить друг другу самые сокровенные мысли!

Итак, вообразите себе Варви и доктора, дружески осушающих одну чашу за другой и преисполненных желания лучше познакомиться; доктор вежливо стремится вести разговор на языке своего хозяина, а старый отшельник упорно пытается говорить по-английски. В результате общими усилиями они устроили такую окрошку из гласных и согласных, что она кого угодно могла свести с ума.

Проснувшись на следующее утро, я услышал чей-то замогильный голос. Это был доктор, торжественно возвещавший о том, что он мертв. Он сидел, прижав руки ко лбу, и его бледное лицо было в тысячу раз бледнее, чем обычно.

— Это адское зелье погубило меня! — воскликнул он. — О господи! У меня в голове сплошь колесики и пружины, как у автомата, играющего в шахматы! Что делать, Поль? Я отравлен.

Но выпив какого-то травяного настоя, приготовленного нашим хозяином, и съев легкий завтрак, мой товарищ к полудню почувствовал себя значительно лучше, настолько лучше, что заявил о своей готовности продолжить путешествие.

Когда мы собирались уходить, обнаружилась пропажа ботинок янки, и, несмотря на тщательные поиски, мы их так и не нашли. Доктор пришел в неопишемую ярость и заявил, что в краже, несомненно, повинен Варви; принимая во внимание его гостеприимство, я считал это совершенно невероятным, хотя и не представлял себе, кто другой мог их утащить. Однако доктор придерживался того мнения, что человек, способный отравить «арва ти» невинного путника, способен на все.

Но напрасно он бушевал, а Варви и я искали; ботинки исчезли.

Если бы не это таинственное обстоятельство и не отвратительный вкус самогона Варви, я посоветовал бы всем путникам, идущим вдоль берега в Партувай, остановиться у Скалы и навестить старого джентльмена — тем более что он угощает бесплатно.

Глава LXXIII

ПРИЕМ, ОКАЗАННЫЙ НАМ В ПАРТУВАЕ

Как только мы пустились, наконец, в путь, я выбросил свои сандалии, к этому времени совершенно сносившиеся, чтобы составить компанию доктору, вынужденному теперь идти босиком. Быстро придя снова в хорошее настроение, он заявил, что в общем ботинки были лишь обузой и что мужчине решительно более пристало обходиться без них.

Он это сказал, нелишне будет отметить, когда мы шли по мягкому травяному ковру, даже в полдень слегка влажному, так как наш путь пролегал в тени деревьев.

Выйдя из леса, мы очутились в пустынной песчаной местности, где солнечные лучи основательно жгли; гравий под ногами был почти так же раскален, как под печи. Трудно представить себе те крики и прыжки, какими сопровождался каждый наш шаг, как только мы вступили на этот участок. Мы не смогли бы его пересечь — во всяком случае до захода солнца, — если бы на нем тут и там не росли мелкие сухие кусты, в которые мы то и дело засовывали для охлаждения ноги. При выборе куста требовался точный расчет, ибо при малейшей неосмотрительности могло случиться так, что, сделав новый прыжок и убедившись в невозможности добраться до следующего куста без промежуточного охлаждения, вы должны были бежать обратно на старое место.

Благополучно миновав «Сахару», или «Огненную пустыню», мы успокоили боль в полуобожженных ногах приятной прогулкой по лугу с высокой травой; пройдя его, мы увидели несколько беспорядочно раскиданных домов, приютившихся под сенью роци на окраине деревни Партувай.

Мой товарищ стоял за то, чтобы войти в первый попавшийся дом; однако когда, приблизившись, мы как следует присмотрелись к этим строениям, их претенциозный, во всяком случае для туземного жилья, вид заставил меня поколебаться. Я подумал, что в них, возможно, живут высшие вожди, со стороны которых вряд ли приходилось рассчитывать на особо теплый прием.

Мы стояли в нерешительности, как вдруг из ближайшего дома нас окликнули:

— Арамаи! арамаи, кархоури! (Входите, входите, чужестранцы!)

Мы сразу же вошли, и нас встретили очень тепло. Хозяином дома был островитянин с аристократической внешностью, одетый в широкие полотняные штаны и легкую белую рубаху, подпоясанную, по моде испанцев из Чили, красным шелковым шарфом. Он подошел к нам, держась непринужденно и просто, и похлопав себя рукой по груди, представился: Эримеар По-По, или, если вернуть христианскому имени его английское произношение, — Джеримайя По-По.

Такое забавное сочетание имен у жителей островов Товарищества объясняется следующим. Совершая над туземцем обряд крещения, миссионеры, на чей слух его родовое имя нередко звучит оскорбительно, настаивают на замене той части его, которая кажется им неприемлемой. И вот когда Джеримайя подошел к купели и назвал себя Нармо-Нана По-По (что примерно означает Вызывающий на бой дьяволов во тьме), почтенный священнослужитель заявил ему, что такое языческое имя ни в коем случае не годится и необходимо заменить хотя бы дьявольскую его часть. Затем жаждавшему вступить в лоно церкви предложили на выбор весьма благопристойные христианские имена. То были Адамо (Адам), Ноар (Ной), Давидар (Дэвид), Эаркобар (Джемс), Эорна (Джон), Патура (Питер), Эримеар (Джеримайя) и т. д. Вот так-то он и стал называться Джеримайя По-По, то есть Джеримайя-во-Тьме.

В ответ мы также назвали свои имена, после чего хозяин пригласил нас сесть; усевшись и сам, он задал нам множество вопросов на смешанном англо-таитянском наречии.

Отдав распоряжения какому-то старику приготовить еду, хозяйка, крупная благодушная женщина лет за сорок, также под села к нам. Наш грязный, запыленный с дороги вид давал, должно быть, добросердечной даме обильную пищу для сочувствия, и она все время жалостливо смотрела на нас, издавая скорбные восклицания.

Впрочем, Джеримайя и его супруга были не единственными обитателями дома.

В углу на широкой туземной кровати, стоявшей на столбиках, возлежала нимфа; полузакутанная своими длинными волосами, она только собиралась приступить к утреннему туалету. Это была дочь По-По, и при этом очень красивая маленькая дочь, не старше четырнадцати лет, с самой очаровательной фигуркой, напоминавшей едва распустившийся бутон, и большими карими глазами. Ее звали Лу — прелестное милое имя, вполне подходившее к ней, потому что милей и благородней девицы не было на всем Эймео.

Маленькая Лу оказалась, однако, холодной и высокомерной красавицей, которая никогда не удостаивала нас своим вниманием и лишь изредка окидывала взором, выразившим ленивое безразличие. Столь презрительное отношение немало уязвляло меня и доктора, ведь на груди у нас едва просохли слезы девушек из Лухулу, горько рыдавших при прощании с нами.

Когда мы вошли в дом, По-По разравнивал ковер из сухих папоротников, принесенных лишь этим утром; как только угощение было готово, его разложили на банановых листьях прямо на ароматном полу. Мы удобно расположились и принялись за жареную свинью и плоды хлебного дерева; мы ели с глиняных тарелок, впервые за много месяцев пользуясь настоящими ножами и вилками.

Все это наряду с другими признаками утонченности несколько уменьшило удивление, какое вызвала в нас сдержанность маленькой Лу; ее родители несомненно были партувайскими магнатами, а она богатой наследницей.

После того как мы рассказали о своем пребывании в долине Мартаир, хозяева стали с любопытством расспрашивать, по какому делу мы прибыли в Талу. Мы вскользь заметили, что причиной нашего прихода было судно, стоявшее в гавани.

Арфрети, жена По-По, добрая материнская душа, посоветовала нам после еды поспать; а когда мы проснулись вполне отдохнувшие, она подвела нас к двери и показала вниз в сторону деревьев, сквозь которые мы увидели сверкающую поверхность воды. Поняв намек, мы отправились туда и, обнаружив глубокое тенистое озерко, выкупались, а затем вернулись в дом. Наша хозяйка присела теперь рядом с нами; она осмотрела с большим интересом докторский плащ, в сотый раз пощупала мою грязную рваную одежду и соболезнующе воскликнула: — Ах! Нуи, нуи оли мани! оли мани! (Ах, она очень очень старая! очень старая!)

Арфрети, славная женщина, обращаясь к нам с этими словами, думала, что говорит на прекрасном английском языке. Слово «нуи» так хорошо известно иностранцам по всей Полинезии и так часто употребляется ими в разговорах с туземцами, что последние считают его общепринятым во всем мире. «Оли мани» — это не что иное, как «oldman»^[117] в туземном произношении; все жители островов Товарищества, говорящие по-английски, обозначают этими словами не только старых людей, но и любые старые вещи.

Арфрети подошла к сундуку, набитому различной европейской одеждой, достала две новые матросские куртки и две пары брюк, с

ласковой улыбкой вручила их нам, провела нас за ситцевую занавеску и ушла. Без излишней щепетильности мы переоделись; теперь, поев, поспав и выкупавшись, мы предстали как два жениха.

Наступил вечер, зажгли светильники. Они отличались чрезвычайной простотой: половинка зеленой дыни, примерно на треть наполненная кокосовым маслом, и фитиль, скрученный из таппы, плавающий на поверхности. В качестве ночника ничего лучше не придумать; мягкий, навевающий сон свет пробивается сквозь прозрачную кожуру.

Время шло, и в дом стали сходиться остальные члены семьи, которых мы еще не видели. Появился стройный молодой щеголь в яркой полосатой рубашке; накрученная у него вокруг талии добрая сажень светлого узорчатого ситца спадала до земли. На нем была также новая соломенная шляпа с тремя лентами, обернутыми вокруг тульи: черной, зеленой и розовой. Ботинок и чулок, однако, он не носил.

Пришли и две изящные смуглощекие девочки-близнецы — с кроткими глазами и чудесными волосами, бегавшие полуголыми по дому, точно две газели. У них был брат, немного моложе их — красивый темнокожий мальчик с женскими глазами. Все они были детьми По-По, рожденными в законном браке.

Появилось также несколько старух странного вида, одетых в потрепанные плащи из грязного холста, которые сидели так плохо и к тому же так явно были с чужого плеча, что я сразу же причислил их владелиц к приживалкам — бедным родственницам, жившим за счет благодеяний ее светлости Арфрети. Эти грустные кроткие старушечки мало разговаривали и еще меньше ели; они сидели, либо уставившись глазами в землю, либо почтительно вскидывая их.

В том, что они стали такими, повинно, надо думать, проникновение на остров зачатков цивилизации.

Я чуть не забыл Мони, постоянно улыбавшегося старика, который готовил нам пищу. Его лысая голова представляла собой блестящий шар. У него было небольшое круглое брюшко и кошачьи ноги. Он выполнял у По-По различные хозяйственные работы — стряпал, прислуживал за столом и лазил на хлебные деревья и кокосовые пальмы; вдобавок ко всему он очень дружил со своей хозяйкой и часами сидел с ней, куря и болтая.

Нередко можно было видеть, как неугомонный Мони что-то быстро делал, затем вдруг бросал свое занятие — все равно какое, убегал куда-нибудь неподалеку и, забившись в укромный уголок, заваливался соснуть, после чего снова вскакивал и со свежими силами принимался за работу.

Что-то в поведении По-По и его домочадцев заставило меня прийти к

заклучению, что он был столпом церкви, хотя на основании виденного мною на Таити я с трудом мог примирить такое предположение с его открытым, сердечным, непринужденным поведением. Но я не ошибся: По-По, как выяснилось, исполнял обязанности кого-то вроде церковного старосты. Он считался также богатым человеком и был в близком родстве с верховным вождем.

Перед тем как лечь спать, все семейство уселось на пол, и, стоя посреди, По-По прочел вслух главу из таитянской библии. Затем, опустившись вместе со всеми на колени, он произнес молитву. По ее окончании все молча разошлись. Такие общие молитвы происходили регулярно каждый вечер и каждое утро. В этой семье трапеза также неизменно начиналась и кончалась молитвой.

После того как я убедился в почти полном отсутствии всякого подобия истинного благочестия на этих островах, то, что я увидел в доме нашего хозяина, меня очень удивило. Но По-По был подлинным христианином — единственным, не считая Арфрети, какого я лично знал среди всех туземцев Полинезии.

Глава LXXIV

УСТРОЙСТВО НА НОЧЬ. ДОКТОР СТАНОВИТСЯ НАБОЖНЫМ

Нас уложили спать со всеми удобствами.

В ногах брачного ложа По-По под прямым углом к нему стояло меньшее, сделанное из дерева «коа». Поверх упругой сетки из тонкой прочной веревки, сплетенной из волокон шелухи кокосового ореха, лежала одна тонкая циновка; подушкой служила куча сухого папоротника, а простыней — кусок белой таппы. Эта постель предназначалась мне. Для доктора приготовили ложе в другом углу.

Лу спала одна на маленьком диване; около нее горел светильник. Ее брат-щеголь покачивался наверху на матросской подвесной койке. Две газели шалили на циновке поблизости; старым родственникам Мони уступил свой соломенный матрац в тесном закутке, а сам улегся и храпел у открытой двери. После того как все устроились на покой, По-По поставил светящуюся дыню посреди комнаты. Так мы все проспали до утра.

Когда я проснулся, яркие лучи солнца проникали сквозь щели между бамбуками, но никто не шевелился. Полубовавшись изящной позой, принятой во сне одной из спящих, я затем перенес свое внимание на общий вид жилища, весьма показательный для высокого общественного положения нашего хозяина.

Самый дом был построен в простом, но полном вкуса туземном стиле. Он представлял собой удлиненный правильный овал футов пятидесяти в длину, с низкими сплетенными из бамбука стенами и покрытой пальмовыми листьями крышей. Конек отстоял футов на двадцать от земли. Никакого фундамента не было; голый земляной пол был просто устлан папоротником; такого рода ковер очень хорош, если его часто меняют, в противном случае он становится пыльным и служит прибежищем для паразитов, как это бывает в хижинах более бедных туземцев.

Кроме кроватей, обстановку составляли три или четыре матросских сундука, в которых хранились наряды всей семьи — плотные полотняные рубахи По-По, ситцевые платья его жены и детей, а также всякие мелкие европейские изделия: нитки бус, ленты, немецкие зеркала, ножи, дешевые литографии, связки ключей, черепки посуды и металлические пуговицы. Один из этих сундуков служил Арфрети картонкой для шляп; в нем лежало

несколько туземных головных уборов, все одного и того же фасона (ведерки для угля), но отделанные лентами разных цветов. Ничем так не гордилась наша славная хозяйка, как этими шляпами и своими платьями. По воскресеньям она выходила из дому раз десять, и каждый раз, точно королева Елизавета, в другом наряде.

По-По из каких-то соображений установил такой порядок, что нас кормили до того, как подавалась еда остальным членам семьи; доктор, прекрасно разбиравшийся в подобных делах, утверждал, будто мы питались значительно лучше, чем они. Во всяком случае если бы гости Эримера путешествовали с набитыми кошельками, чемоданами и рекомендательными письмами к королеве, он ухаживал бы за ними не более старательно.

На следующий день после нашего прибытия старый слуга Мони подал нам на обед поросенка, печеного в земле. Издавая приятный аромат, поросенок лежал на деревянной доске, окруженный полушариями печеных плодов хлебного дерева. Затем была принесена большая тыквенная бутылка с «пой» или пудингом из таро, а молодой щеголь, преодолев свою обычную лень, сбросил для нас несколько кокосовых орехов с соседнего дерева.

Когда все было готово, Долговязый Дух под взглядами домочадцев набожно сложил руки над упитанной свиньей и призвал божье благословение. Все присутствующие были очень довольны; По-По подошел к доктору и ласково заговорил с ним, а Арфрети, глядя на него почти с материнской любовью, восхищенно воскликнула:

— Ах! миконари тата маитаи! — другими словами: «Какой набожный молодой человек!»

Сразу же после обеда наша хозяйка принесла мне охапку травы (из какой матросы делают каркас своих парусиновых шапок) и, протянув иголку с ниткой, предложила немедленно взяться за дело и смастерить себе шляпу, в которой я очень нуждался. Опытный в подобного рода работе, я закончил в тот же день и плетение и шитье. Арфрети как бы в награду за мое прилежание своими собственными смуглыми ручками украсила тулью пламенной яркой лентой. Благодаря двум длинным концам ее, по матросской моде свисавшим сзади, за мной сохранился восточный титул, присвоенный мне Долговязым Духом.

Глава LXXV

ПРОГУЛКА ПО ПОСЕЛКУ

На следующее утро, тщательно принарядившись, мы надели наши сомбреро и отправились пройтись. Не собираясь раскрывать свои намерения относительно двора, мы предприняли прогулку главным образом для того, чтобы разузнать, могут ли рассчитывать белые люди на получение какой-нибудь должности при королеве. Правда, мы расспрашивали по этому поводу По-По, но его ответы были отнюдь не обнадеживающими, а потому мы решили сами собрать более подробные сведения.

Но прежде надо в общих чертах описать деревню.

В поселке Партувай насчитывается всего каких-нибудь восемьдесят домов, разбросанных тут и там среди огромной рощи, где деревья были частично вырублены, а подлесок уничтожен. Сквозь рощу протекает река; там, где ее пересекает главная улица, переброшен качающийся под ногами мост из стволов кокосовых пальм, уложенных один подле другого. Улица, широкая и извилистая, из конца в конец прячется в густой тени; для утренней прогулки это самое чудесное место, о каком только могут мечтать фланеры. Среди деревьев с обеих сторон виднеются дома, поставленные без малейшего соображения с дорогой; одни, когда вы проходите мимо, смотрят вам прямо в лицо, другие, нисколько не стесняясь, поворачиваются спиной. Иногда вам попадается деревянная хижина, обнесенная бамбуковым частоколом; либо дом с одной-единственной застекленной массивной рамой в стене или же с грубой дверью странного фасона на болтающихся деревянных петлях. В общем, однако, жилища построены в самобытном туземном стиле, и как бы жалки и грязны ни были некоторые из них внутри, снаружи все имеют довольно живописный вид.

Люди, которых мы встречали по дороге, весело здоровались с нами и приглашали к себе; таким образом мы сделали много коротких утренних визитов. Но, вероятно, в столь ранний час в Партувае не было принято ходить в гости, так как дам мы неизменно заставляли полуодетыми. Впрочем, они принимали нас очень сердечно и с особой любезностью относились к доктору, осыпали его ласками и нежно вешались ему на шею, восхищенные ярким платком, которым она была повязана (в то утро его подарила благочестивому юноше добрая Арфрети). За немногими

исключениями общий вид туземцев в Партувае был значительно лучше, чем у жителей Папезте; это обстоятельство можно приписать лишь более редкому общению с иностранцами.

Шагая все дальше, мы достигли поворота дороги, и тут доктор вздрогнул от удивления — и было от чего. Прямо перед нами среди рощи тянулся квартал домов — двухэтажных прямоугольных зданий, обшитых досками, с дверными и оконными проемами. Мы подбежали и увидели, что постройки находятся в процессе быстрого разрушения. Стены были темные, местами поросли мхом; ни оконных рам, ни дверей. С одной стороны все здания осели почти на фут. Войдя в полуподвальное помещение, мы сквозь незастланные досками балки могли разглядеть крышу; солнечные лучи пробивались через многочисленные щели и освещали висевшую повсюду паутину.

Внутри было темно и пахло затхлостью. В одном углу на старых циновках, словно кучка цыган в развалинах, ютилось несколько бездомных туземцев. Здесь было их постоянное жилище.

Заинтересовавшись, кому это в Партувае взбрело в голову вложить капитал в недвижимость, мы стали расспрашивать и узнали, что дома были построены несколько лет назад каким-то настоящим янки (так и следовало предполагать), плотником по профессии и смелым предприимчивым парнем по натуре.

Его больного списали с судна; он сразу начал работать и, поправившись, стал переходить с места на место с топором и рубанком, всюду сумев оказаться полезным. Трезвый, степенный человек, он в конце концов завоевал доверие нескольких вождей и вскоре внушил им различные идеи по поводу прискорбного отсутствия у жителей Эймео заботы об общем благе. Особенно настойчиво он указывал на унижительность того, что они живут в бамбуковых курятниках, между тем как ничего не стоит соорудить из досок великолепные дворцы.

Кончилось тем, что один старый вождь внял доводам плотника и предложил ему построить несколько таких чудесных дворцов. Получив в свое распоряжение достаточно людей, тот сразу же принялся за работу: поставил лесопилку в горах, стал валить деревья и послал в Папезте за гвоздями.

Строительство быстро подвигалось; но, увы, едва успели подвести здания под крышу, как покровитель янки, не рассчитавший своих возможностей, разорился дотла и не смог оплатить своих обязательств даже по плитке табаку за фунт. Его банкротство отразилось и на плотнике, и тот убежал от своих кредиторов на первом судне, зашедшем в гавань.

Туземцы относились с презрением к шаткому дворцу из досок и, проходя мимо, покачивали головой и хихикали.

Нам сообщили, что резиденция королевы находится на краю поселка. И вот, не дожидаясь, пока доктор разбудит скрипку, мы внезапно решили отправиться туда немедленно и узнать, нет ли вакантных должностей членов тайного совета.

Хотя в моем рассказе о наших надеждах на придворную карьеру много чепухи, придуманной весельчаком доктором, все же мы действительно рассчитывали, что дело может обернуться для нас удачно.

Мы приблизились к дворцовой территории, и перед нами предстало несколько необычное зрелище. Широкий мол из обтесанных коралловых глыб тянулся прямо в море, а на нем и в прилегающей роце стоял десяток очень больших туземных домов, построенных в самом изысканном стиле и окруженных общим низким частоколом из бамбука, отгораживавшим довольно обширный участок.

На островах Товарищества резиденции вождей большей частью находятся в непосредственной близости к морю; такое местоположение дает возможность полностью наслаждаться прохладным ветерком, и живущие там меньше страдают от назойливых насекомых, а, кроме того, при желании могут укрываться в прекрасной тени соседних роц, всегда особенно пышных у воды.

За оградой мы увидели человек шестьдесят или восемьдесят нарядно одетых туземцев, мужчин и женщин; одни полулежали в тени домов, другие — под деревьями, небольшая группа разговаривала у самого частокола против нас.

Мы подошли к ней и после обычного приветствия собрались уже перепрыгнуть через бамбуковую ограду, но тут туземцы с сердитым видом заявили нам, что вход запрещен. Мы выразили свое горячее желание повидать королеву, намекнув, что имеем сообщить нечто важное. Но это ни к чему не повело, и, немало раздосадованные, мы вынуждены были вернуться в дом По-По, ничего не добившись.

Глава LXXVI

КОКЕТКА С ЭЙМЕО. МЫ ПОСЕЩАЕМ СУДНО

Вернувшись домой, мы откровенно изложили По-По цель нашего посещения Талу и попросили его дружеского совета. На своем ломаном английском языке он охотно сообщил нам все сведения, в которых мы нуждались.

По его словам, королева действительно замышляла оказать сопротивление французам; недавно стало известно также, что некоторые вожди с Бораборы, Хуахине, Раиатеи и Тахара, группы подветренных островов, как раз теперь совещаются с ней относительно целесообразности организации восстания на всем архипелаге, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение захватчиков. Если действительно решат прибегнуть к военным мерам, тогда Помаре несомненно будет рада завербовать на свою сторону всех иностранцев, каких только удастся. Однако о том, чтобы она произвела доктора или меня в офицеры, не могло быть и речи, так как множество европейцев, хорошо ей известных, уже выразило желание стать таковыми. Что касается получения нами немедленного доступа к королеве, то По-По считал такую возможность довольно сомнительной, потому что она жила в это время очень уединенно, больная и удрученная, и не склонна была принимать посетителей. Однако до постигших ее несчастий ни одному человеку, какое бы скромное положение он ни занимал, никогда не отказывали в аудиенции; морякам даже разрешали присутствовать при ее утреннем туалете.

Но мы и не думали так легко отказаться от своих планов. Мы просто решили провести некоторое время в Партувае, пока какое-нибудь событие не создаст более благоприятных условий для их осуществления. В тот же день мы совершили прогулку к судну, которое стояло на якоре на закрытом рейде далеко в глубине бухты и которое мы давно хотели посетить.

Проходя по дороге мимо длинного низкого навеса, мы услышали голос, окликнувший нас: «Эй, белые!» — Оглянувшись, мы увидели розовощекого англичанина (его национальность можно было определить с первого взгляда), стоявшего по колено в стружках и что-то строгавшего на верстаке. Он оказался сбежавшим с корабля плотником, недавно прибыл с Таити и теперь занимался очень выгодной работой: делал буфеты и другую

мебель для богатых вождей, а изредка пробовал свои силы в изготовлении дамских рабочих шкатулок. Он жил в поселке всего несколько месяцев и уже стал владельцем домов и земельных участков.

Все у него было — большое состояние и крепкое здоровье, не хватало только одного — жены. Заговорив на эту тему, англичанин помрачнел и уныло облокотился на свой верстак.

— Как тяжело, — со вздохом произнес он, — ждать долгих три года, а тем временем милая крошка Лулли живет в одном доме с этим чертовым вождем с Тахара!

В нас разгорелось любопытство; стало быть, бедный плотник влюбился в какую-то здешнюю кокетку, которая водит его за нос?

Но это было вовсе не так. Существовал закон, запрещающий под страхом тяжелого наказания брак между туземкой и иностранцем, если только последний, прожив три года на острове, не заявит о своем твердом намерении остаться на нем на всю жизнь.

Уильям очутился, таким образом, в печальном положении. Он сказал нам, что мог бы уже давно жениться на этой девушке, если бы не проклятый закон; однако в последнее время она стала относиться к нему менее нежно и кокетничала с другими, в частности с приезжими тахарцами. Уязвленный в самое сердце и желая во что бы то ни стало жениться на девушке, он предложил ее родственникам обойтись пока что предварительным соглашением о браке, но те не пожелали об этом и слышать; к тому же, если бы обнаружили, что Уильям и Лулли живут вместе в нарушение закона, то им обоим грозило бы унижительное наказание; их послали бы строить каменные стены и прокладывать дороги для королевы.

Доктор Долговязый Дух преисполнился сочувствием.

— Билл, дружище, — сказал он с дрожью в голосе, — что, если я пойду и поговорю с ней?

Но Билл отклонил это предложение и даже не сообщил нам, где жила его прелестница.

Расставшись с безутешным Уилли, снова принявшимся строгать доску из новозеландской сосны (привезенную из Бей-оф-Айлендс) и мечтать о Лулли, мы продолжали путь. Чем кончились его ухаживания, мы так никогда и не узнали.

Направляясь от дома По-По к якорной стоянке в гавани Талу, вы не видите моря до тех пор, пока, выйдя из густой рощи, неожиданно не очутитесь на самом берегу. Тогда перед вашим взором предстанет бухта, которую многие путешественники считают самой красивой в Южных

морях. Вы стоите на берегу как бы глубокой зеленой реки, текущей по горному ущелью к морю. Прямо напротив величественный мыс отделяет этот глубокий морской залив от другого, названного по имени открывшего его капитана Кука. Склон мыса, обращенный к Талу, представляет собой сплошную стену зелени, а у его подножия лежит бездонная морская гладь. Слева вы едва различаете расширяющееся устье бухты — проход среди рифов, через который входят корабли, а за ним открытый океан. Справа залив круто огибает мыс и глубоко вдается в сушу, где к нему со всех сторон подступают холмы, поросшие травой по колено и вздымающиеся вверх причудливые вершины. Лишь в одном месте в глубине бухты между холмами имеется открытое пространство; вдали оно переходит в широкую, подернутую дымкой долину, расположенную у подножия амфитеатра гор. Там находится большая плантация сахарного тростника, упомянутая мною раньше. За первой цепью гор вы видите острые вершины, поднимающиеся над внутренней частью страны, и среди них ту самую безмолвную Свайку, которой мы так часто любовались с противоположной стороны острова.

Один-единешенек стоял в гавани славный корабль «Левиафан». Мы прыгнули в пирогу и стали грести к нему. Несмотря на то что полдень уже миновал, повсюду стояла тишина; однако, поднявшись на борт, мы увидели нескольких матросов, развалившихся на баке под тентом. Они приняли нас не очень дружелюбно и хотя в общем казались людьми добродушными, напустили на себя, вероятно по случаю нашего прибытия, недовольный вид. Им очень хотелось узнать, не собираемся ли мы наняться на «Левиафан», и, судя по их неблагоприятным отзывам о нем, они, должно быть, стремились по возможности воспрепятствовать этому.

Мы спросили, где остальные члены экипажа; суровый пожилой матрос ответил:

— Команда одного вельбота где-нибудь покоится на дне морском: в прошлое плавание погнались за китом и поминай как звали. Вся штирбортная вахта ночью сбежала, и шкипер на берегу старается их зацапать.

— Что, наниматься притащились, дражайшие, а? — воскликнул маленький курчавый матрос из Бельфаста [*так*], подходя к нам. — Ах, чтоб вам пусто было, милейшие! Сматывайтесь поскорей; этот чертов шкипер утащит вас обоих в море и спрашивать не станет. Убирайтесь-ка, дорогуши, и держитесь подальше от этого паршивого невольничьего корабля, покуда целы. Они что ни день нас здесь истязают, а в придачу морят голодом. Эй, Дик, дружище, подтащи-ка пирогу этих бедняг, а вы гребите вовсю, ежели вам жизнь дорога.

Но мы не торопились, стремясь подробней выяснить, стоит ли наняться на судно, и в конце концов решили, что останемся ужинать. Никогда мой нож не вонзался в лучшую солонину, чем та, которую мы обнаружили в бачке, принесенном в кубрик. Сухари также были твердые, сухие и хрупкие, как стекло. И того и другого давали вдоволь.

Пока мы находились внизу, старший помощник капитана вызвал кого-то на палубу. Мне понравился его голос. Он говорил о человеке не меньше, чем выражение лица и принадлежал настоящему моряку, а не надсмотрщику.

Да и сам «Левиафан» производил очень приятное впечатление. Подобно всем большим уютным китобойцам, он имел какой-то материнский вид: широкий корпус, сплошные палубы и четыре пузатых вельбота, подвешенные к бортам. Паруса были свободно закреплены на реях, словно висели там уже долгое время и исправно несли свою службу; слабо натянутые ванты небрежно свисали, а что касается бегучего такелажа, то он всегда шел легко, не в пример тому, что мы видели на некоторых «щегольских судах», где его постоянно заедает в шкивах блоков, которые, подобно китайским туфлям, слишком тесны, чтобы ими можно было пользоваться; напротив, здесь снасти скользили плавно, словно им много раз приходилось проделывать свой путь, и они привыкли к нему.

С наступлением вечера мы спустились в нашу пирогу и направились к берегу, совершенно убежденные в том, что славное судно ни в коем случае не заслужило того имени, которое ему дали. [\[118\]](#)

Глава. LXXVII

ШАЙКА БРОДЯГ. МАЛЕНЬКАЯ ЛУ И ДОКТОР

Живя в Партувае, мы как-то повстречались с группой из шести матерых бродяг, совсем недавно пришедших сюда из другой части острова и теперь рыскавших около поселка и гавани.

Несколькими днями раньше они уволились в Папэте с китобойного судна, на которое шесть месяцев назад поступили на одно плавание, то есть с условием получить расчет при первом заходе в порт. Промысел оказался очень удачным, и все они высадились в Таити, позвякивая долларами в кармане.

Когда им надоело жить на берегу, они на оставшиеся деньги купили в складчину парусную шлюпку, намереваясь посетить некий необитаемый остров; о его богатствах рассказывали баснословные истории. Конечно, им в голову не пришло выйти в море, не запасшись аптечным ящиком, полным бутылками со спиртом, и небольшим бочонком той же жидкости — на случай, если ящик опустеет.

Они пустились в путь, подняв свой собственный флаг и трижды прокричали «Гип-гип-ура!», когда, поставив все паруса, покидали бухту Папэте, подгоняемые сильным ветром.

Наступил вечер; находясь в приподнятом настроении и не ощущая никакого желания спать, наши путешественники решили пьянствовать всю ночь напролет. Так они и поступили; все перепились, и около полуночи обе мачты рухнули за борт под звуки песни:

«Мы плывем, мы плывем
К берегам Барбари...»

К счастью, один из доблестных моряков мог еще стоять на ногах, держась за румпель, а остальным удалось, двигаясь ползком, обрубить тросовые талрепы и таким образом освободиться от свалившихся мачт. Во время этого аврала два матроса преспокойно перешагнули через борт, ошибочно думая, что сходят на какую-то воображаемую пристань, откуда им сподручней будет работать, и отправились прямо ко дну.

А тут разыгрался настоящий ураган; коммодор, несший вахту за рулем, инстинктивно направлял шлюпку по ветру и вел тем самым ее к лежащему напротив острову Эймео. Шлюпка пересекла пролив, каким-то чудом проскочила в проход между рифами и врезалась в коралловую отмель, где не было сильного волнения. Там она простояла до утра, когда к ней подплыли в своих пирогах туземцы. С помощью островитян шхуну опрокинули набок; убедившись, что днище совершенно разбито, наши искатели приключений продали ее за бесценок вождю округа и отправились пешком по острову, катя перед собой драгоценный бочонок со спиртом. Его содержимое скоро улетучилось, и они явились в Партувай.

На следующий день после встречи с этими людьми мы бродили по соседним рощам, как вдруг увидели несколько групп туземцев, вооруженных неуклюжими ружьями, ржавыми тесаками и причудливыми дубинками. Они колотили по кустам и громко кричали, очевидно стараясь кого-то спугнуть. Они искали чужестранцев; совершив за одну ночь тьму беззаконий, те сочли за благо удрать.

Днем в доме По-По можно было прекрасно отдохнуть, поэтому после прогулок и осмотра достопримечательностей мы возвращались туда и проводили там много времени. Завтракали мы поздно, а обедали в два часа. Иногда мы лежали на устланном папоротником полу, куря и рассказывая анекдоты, которых доктор знал не меньше, чем отставной армейский капитан. А иногда мы как могли болтали с туземцами. Однажды — какая это была радость для нас! — По-По принес три тома романов Смоллетта, [\[119\]](#) обнаруженных в сундуке матроса, который некоторое время назад умер на острове.

Амелия! Перигрин! И ты, герой плутовских походов, граф Фатом! Как мы обязаны вам!

Не знаю, чтение ли этих романов или жажда сентиментальных развлечений толкнули доктора в это время на попытку завоевать сердце маленькой Лу.

Как я уже говорил, дочь По-По вела себя исключительно холодно и никогда не удостоивала нас своим вниманием. Я часто обращался к ней, изображая на печальном лице глубочайшее и самое сдержанное почтение — но напрасно; она даже не поворачивала своего хорошенького смуглого носика. Ах! все ясно, думал я; она прекрасно знает, что за бесстыжие твари матросы, и не желает иметь с нами никакого дела.

Но мой товарищ так не думал. Он хотел, чтобы холодное сияние бесстрастных глаз Лу разгорелось ярким огнем.

Долговязый Дух повел компанию с изумительным тактом, приступив к

делу крайне осторожно и три дня довольствуясь лишь тем, что умильно смотрел на нимфу в течение пяти минут после каждой трапезы. На четвертый день он задал ей какой-то вопрос; на пятый она уронила ореховую скорлупу с мазью, а он поднял и вручил ей; на шестой он подошел и сел в трех ярдах от дивана, на котором она лежала. А в памятное утро седьмого дня он открыл огонь по всем правилам.

Девушка полулежала на усталом папоротником полу, одной рукой подперев щеку, а другой переворачивая страницы таитянской библии. Доктор приблизился.

Основное затруднение, с которым пришлось ему столкнуться, заключалось в том, что он совершенно не знал любовного словаря островитян. Но, говорят, французские графы восхитительно объясняются в любви на ломаном английском языке; ничто не мешало доктору сделать то же на сладкозвучном таитянском. И вот он начал.

— Ах! — сказал он с очаровательной улыбкой, — Ои миконари? Ои читайт библия?

Никакого ответа, ни даже взгляда.

— Ах! Маитаи! Очень корош читайт библия миконари.

Не пошевелившись, Лу стала тихо читать вслух.

— Миконари библия читайт корош маитаи, — снова произнес доктор, изобретательно переставив слова в третий раз.

Но все было бесполезно; Лу не обращала внимания.

В отчаянии доктор умолк; но как было отступить? Он растянулся во всю длину рядом с ней и, набравшись смелости, стал перелистывать страницы.

Лу вздрогнула, чуть-чуть, едва заметно вздрогнула, а затем, зажав что-то в руке, продолжала лежать совершенно неподвижно. Доктор, несколько испугавшись своей собственной дерзости, не знал, что делать дальше. Наконец, он осторожно обнял одной рукой девушку за талию и в то же мгновение с криком вскочил на ноги. Маленькая чертовка вонзила в него колючку, а сама продолжала по-прежнему спокойно лежать, переворачивая страницы и шепотом читая.

Мой долговязый друг тотчас же снял осаду и в беспорядке отступил к тому месту, где лежал я, наблюдая за происходящим.

Я почти уверен, что Лу сообщила об этом происшествии своему отцу, который вскоре вошел, так как тот бросил на доктора несколько странный взгляд. Но По-По ничего не сказал и через десять минут был так же приветлив, как всегда. Что касается Лу, то она ничуть не изменилась, и доктор, конечно, больше не предпринимал никаких попыток.

Глава LXXVIII

МИССИС БЕЛЛ

Как-то днем, задумчиво прогуливаясь по одной из тропок, вьющихся среди тенистых роц в окрестностях Талу, я в изумлении застыл перед солнечным видением. Навстречу мне, помахивая зеленой веткой, легким галопом ехала верхом на резвом белом пони красивая, очаровательно одетая молодая англичанка.

Я оглянулся, чтобы убедиться, действительно ли я в Полинезии. Кругом росли пальмы, но откуда же здесь эта леди?

Когда видение приблизилось, я отошел к краю тропинки и вежливо поклонился. Дама бросила на меня смелый лучистый взгляд, а затем, потрепав по шее свою лошадку, весело воскликнула: «Лети, Уилли!»... и поскакала среди деревьев; я побежал бы за очаровательной всадницей, но копыта Уилли так быстро стучали по сухим листьям, что преследование было бесполезно.

Я направился прямо к дому По-По и рассказал доктору о своем приключении.

Назавтра мы узнали из расспросов, что незнакомка приехала из Сиднея, живет на острове около двух лет и что она жена мистера Белла (счастливчик!), владельца плантации сахарного тростника, о которой я упоминал раньше.

В тот же день мы отправились на эту плантацию.

Местность вокруг поражала красотой: плоская зеленая чаша, окруженная пологими склонами холмов. Плантация сахарного тростника — в различных стадиях зрелости его было здесь около сотни акров — имела цветущий вид. Впрочем, большой участок земли, прежде, по-видимому, обрабатывавшийся, был теперь заброшен.

Извлечение сахаристого вещества производилось под огромным навесом из бамбука. Там мы увидели несколько грубых приспособлений для дробления тростника, а также большие котлы для выпаривания сахара. Но в настоящее время работы не велись. Два-три туземца сидели в одном из котлов и курили; еще один играл в карты с тремя матросами с «Левиафана».

Пока мы разговаривали с этими молодчиками, подошел какой-то незнакомый человек — загорелый европеец романтического вида в

широком костюме из нанки; его тонкая шея и грудь были обнажены, и он щеголял в гуаякильской шляпе с полями, напоминавшей китайский зонтик. Это был мистер Белл. Он вел себя очень вежливо, показал нам поместье и, приведя нас в какое-то подобие беседки, предложил, к нашему удивлению, угостить нас вином. Люди предлагают часто, но мистер Белл не ограничился только словами, а достал бутылку ароматного хереса. Мы пили его из только что сорванных и разрезанных пополам лимонных дынь. Роскошные кубки!

Вино было куплено на Таити у французов.

Мистер Белл принял нас крайне любезно, но мы ведь пришли, чтобы увидеть миссис Белл. Увы, она действительно оказалась видением: этим утром она уехала в Папеезе навестить жену одного из миссионеров.

Я шел домой сильно опечаленный.

Откровенно говоря, эта дама сильно задела мое любопытство. Прежде всего она была самой красивой белой женщиной из всех, когда-либо виденных мною в Полинезии. Но этого мало. Ее глаза, розы ее щечек, ее божественный вид в седле я не забуду до моего смертного часа.

Владелец плантации сам был молод, крепок и красив. Пусть же плодятся и множатся маленькие Беллы и возносят хвалу благословенной стране Эймео.

Глава LXXIX

ЦЕРКОВЬ В ТАЛУ. ЗАСЕДАНИЕ СУДА В ПОЛИНЕЗИИ

В Партувае находится самая красивая и самая лучшая церковь в Южных морях. Подобно дворцовым зданиям, она стоит на искусственном молу, полукругом выступающем в бухту. Церковь построена из тесаных коралловых глыб — материала исключительно хрупкого, но, как говорят, приобретающего прочность после того, как подвергнется атмосферным влияниям. Чужеземцу эти глыбы кажутся чрезвычайно странными. На их поверхности видны отпечатки, похожие на следы каких-то необычайных окаменелостей, сохранившихся с допотопных времен. Кораллы, когда их вырубают из рифа, бывают почти белого цвета, но постепенно они темнеют, и теперь некоторые церкви в Полинезии имеют такой же закоптелый и древний вид, как знаменитый собор Святого Павла.

Партувайский храм построен в форме восьмиугольника с идущими вдоль всех стен галереями. В нем около четырехсот мест. Внутри все окрашено в коричневато-красный цвет; так как окон, вернее амбразур, очень немного, то темные скамьи и галереи, а также возвышающаяся мрачным призраком кафедра, производят далеко не веселое впечатление.

По воскресеньям мы всегда посещали службу. Сопровождая семью По-По, мы, конечно, вели себя самым благопристойным образом, а потому все пожилые жители деревни несомненно считали нас примерными молодыми людьми.

Места По-По находились в самом укромном уголке, как раз у одного из пальмовых стволов, поддерживающих галерею, к которому я всегда прислонялся; По-По и его супруга сидели по одну сторону, доктор и сынщеголь — по другую, а остальные дети и бедные родственницы — сзади.

Лу, вместо того чтобы усесться (как ей полагалось) рядом с отцом и матерью, всякий раз убегала на галерею и присоединялась к компании вертушек, своих сверстниц, которые во время проповеди только и делали, что смотрели вниз на прихожан, с хихиканьем указывая пальцем на забавных старых дам в несуразных шляпах и коротких платьях-балахонах. Но сама Лу никогда не вела себя столь неприлично.

Иногда на неделе в церкви устраивалась дневная служба, во время которой с проповедью выступали сами туземцы, собиравшие, правда,

немного слушателей. После того как миссионер произносил вступительную молитву и бывал спет псалом, ораторы поднимались со своих мест и начинали проповедовать на чистом таитянском языке с чрезвычайно выразительными интонациями и жестами. Особенно любили слушать старосту По-По, хотя он и говорил дольше всех. Я очень жалел, что не мог понять взрывы его страстного красноречия, когда он потрясал руками над головой, топал ногами, сурово хмурился и сверкал глазами, пока не становился похож на настоящего ангела мщения.

— Заблудший человек! — со вздохом произнес доктор во время одной из таких речей. — Боюсь, он слишком фанатически относится к делу.

Одно было несомненно: когда говорил По-По, его слушали гораздо внимательней, чем остальных. Мне приходилось наблюдать, как во время проповедей других туземцев одни слушатели спали, другие беспокойно ерзали, кое-кто зевал; а какой-то раздражительный старый джентльмен в ночном колпаке из листьев кокосовых пальм обычно уходил из церкви в состоянии крайнего возбуждения, нервно сжимая длинную палку и производя как можно больше шума, чтобы выразить этим свое неудовольствие.

К церкви примыкал огромный покосившийся дом с окнами и ставнями и с полусгнившим дощатым полом, настланым поверх пальмовых стволов. Жители называли это здание школой, но мы ни разу не видели, чтобы его использовали по назначению. Однако оно часто служило залом суда, и мы присутствовали при нескольких судебных разбирательствах. Среди прочих рассматривалось дело бывшего морского офицера и четырнадцатилетней девушки; последнюю обвиняли в весьма непристойном поступке, подтвержденном свидетельскими показаниями, а первого — в том, что он был подстрекателем и ее сообщником, а также в других преступлениях.

Иностранец был высокий парень с военной выправкой, смуглолицый и черноусый. По его словам, колониальный вооруженный бриг, которым он командовал, пошел ко дну у берегов Новой Зеландии; с тех пор он вел праздную жизнь на островах Тихого океана.

Доктор пожелал узнать, почему он не вернулся на родину и не доложил о потере брига; но капитан Крушение, как его называли туземцы, не поступил так по каким-то невразумительным причинам; он мог говорить о них часами, но от этого они не становились понятнее. Возможно, он был человек осторожный и предпочитал уклоняться от встречи с лордами Адмиралтейства.

С некоторого времени эта чрезвычайно подозрительная личность

занялась незаконной торговлей французскими винами, какими-то неблаговидными путями раздобытыми с военного корабля, недавно заходившего на Таити. В роцце невдалеке от якорной стоянки у бывшего капитана была небольшая лачуга с зеленой беседкой. В тихие времена, когда в Талу не стояло ни одного судна, в беседку иногда забредал какой-нибудь туземец, напивался, а затем уходил домой, выписывая вавилоны и по дороге хватаясь за все кокосовые пальмы. Сам капитан с трубкой во рту полеживал в жаркие дни под деревом, вспоминая, вероятно, старые времена и то и дело поднося руку к плечам, как бы ощупывая некогда украшавшие их эполеты.

Но вот крик «Парус!» извещает о входящем в бухту судне. Вскоре оно бросает якорь, а на следующий день капитан Крушение принимает у себя в роцце матросов. И славно же они проводят время — выпивая и ссорясь, как полагается в дружной компании.

Во время одной пирушки команда «Левиафана» подняла такой оглушительный шум, что туземцы, возмущенные попранием их законов, набрались храбрости и толпой в сотню человек накинулись на буянов. Матросы сражались как тигры, но в конце концов их одолели и привели в местный суд; там после длительных пререканий всех отпустили, кроме капитана Крушение, который был признан зачинщиком беспорядков.

На основании этого обвинения его посадили под замок — до суда, назначенного на вторую половину дня. Пока ждали прибытия его чести судьи, на обвиняемого поступило множество дополнительных жалоб (главным образом от старух), в том числе и по поводу того нарушения законов, в котором он был замешан вместе с молодой особой. Видно, в Полинезии, как и повсюду, стоит обвинить человека в одном преступлении, и на свет вытаскивают все его грехи.

Когда мы шли к зданию школы, чтобы присутствовать при судебном разбирательстве, уже издали донесся громкий гул голосов, а когда мы вошли, он чуть не оглушил нас. Собралось человек пятьдесят туземцев; каждый из них, очевидно, имел что сказать и твердо решил это высказать. Его честь — красивый, добродушный на вид старик — сидел, поджав ноги, на маленьком помосте, по-видимому с христианской покорностью примирившись с шумом. Это был наследственный вождь здешней части острова и пожизненный судья Партувайского округа.

Должно было слушаться несколько дел; но первым судили капитана и девушку. Они свободно общались с толпой; как впоследствии выяснилось, каждый, кто бы он ни был, имел право обращаться к суду, и оба обвиняемых, насколько мы могли понять, сами принимали участие в

обсуждении своего дела. Трудно сказать, в какой именно момент началось судебное следствие. Не было ни приведения к присяге, ни свидетелей, ни выборных присяжных.^[120] Время от времени кто-то вскакивал и что-то выкрикивал — вероятно, свои свидетельские показания; остальные тем временем продолжали безостановочно тараторить. Вскоре сам старый судья пришел в возбуждение и, вскочив на ноги, стал бегать среди толпы, работая языком не хуже других.

Сумятица длилась минут двадцать; под конец капитан Крушение взобрался на судейский помост и спокойно следил оттуда за бурными прениями, в которых решалась его судьба.

В результате всего этого шума обоих, капитана и девушку, признали виновными. Последнюю в наказание обязали сделать шесть циновок для королевы, а первого, принимая во внимание многочисленность его преступлений и признав неисправимым, приговорили к вечному изгнанию с острова. Оба эти постановления, казалось, родились из всеобщего гама. Однако судья обладал, должно быть, значительным авторитетом, и было совершенно ясно, что приговор получил его одобрение.

Упомянутые выше наказания не были, конечно, назначены произвольно. Миссионеры для облегчения судебной процедуры разработали что-то вроде карательного тарифа. Тому, кто предается удовольствиям, почерпнутым из тыквенной бутылки, — столько-то дней работы на Ракитовой дороге; за кражу ружья — столько-то сажен каменной стены; и так далее до конца списка. Если у судьи есть тетрадь, в которой все это хитроумно приведено в систему, она ему очень помогает. Приведу пример. Преступление — скажем, двоеженство — доказано; переворачиваем страницу на букву Д и находим: двоеженство — сорок дней на Ракитовой дороге и двадцать циновок в пользу королевы. Параграф читается вслух, и приговор вынесен.

Затем перешли к суду над другими обвиняемыми, только что принимавшими участие в обсуждении первого дела; осужденные, по видимому, могли выступать наравне со всеми присутствующими. Несколько странное судопроизводство, но строго соответствующее знаменитому английскому принципу, по которому каждого человека должны судить равные ему.

Всех обвиняемых признали виновными.

Глава LXXX

КОРОЛЕВА ПОМАРЕ

Прежде чем представиться какому-нибудь человеку, не мешает кое-что узнать о нем; поэтому мы приведем теперь некоторые сведения о Помаре и ее семействе.

Все читавшие о путешествиях Кука, наверно, помнят Оту, который во времена этого мореплавателя был королем большего из двух полуостровов, составляющих Таити. Впоследствии ружья моряков с «Баунти» дали ему возможность распространить свое владычество на весь остров. Оту перед смертью принял новое имя — Помаре, ставшее с тех пор родовым королевским именем.

Ему наследовал сын, Помаре II, самый прославленный государь в истории Таити. Хотя он был ужасным развратником и пьяницей, и его обвиняли даже в противоестественных пороках, все же он поддерживал тесную дружбу с миссионерами и стал одним из первых прозелитов. В религиозной войне, начатой им из рвения к новой вере, он потерпел поражение и был изгнан с острова. После непродолжительного отсутствия он вернулся с Эймео во главе армии в восемьсот воинов и в кровопролитной битве при Нарии разбил мятежных язычников и восстановил свою власть. Так, силой оружия христианство окончательно восторжествовало на Таити.

Помаре II, умершему в 1821 году, наследовал малолетний сын, носивший имя Помаре III. Молодой государь пережил отца всего на шесть лет, и управление страной перешло к его старшей сестре Аимате, теперешней королеве, которую обычно называют Помаре Вахине I, то есть первая Помаре-женщина. Ее величеству ныне за тридцать лет. Она второй раз замужем. Первым ее мужем был сын старого короля Тахара — острова, отстоящего в сотне миль от Таити. Брак оказался несчастливым, и супруги вскоре развелись. Теперешний муж королевы — вождь Эймео.

Репутация Помаре далеко не безупречна. Она и ее мать долгое время были отлучены от церкви; королеву миссионеры, кажется, до сих пор не простили. Среди прочих прегрешений ее обвиняют в несоблюдении супружеской верности. Это и послужило основной причиной ее отлучения.

Прежде, до постигших ее несчастий, она проводила большую часть времени в том, что переезжала с одного острова на другой, сопровождаемая

двором, отличавшимся весьма распущенными нравами. Куда бы она ни направлялась, повсюду в честь ее прибытия устраивались всякого рода празднества и игры.

Помаре всегда проявляла любовь ко всему показному. Многие годы на королевскую казну тяжелым бременем ложилось содержание гвардейского полка. Вооруженные ружьями всех образцов и калибров, лейб-гвардейцы ходили без штанов, их форма состояла из ситцевых рубах и картонных шапок; командовал ими высоченный крикливый вождь, гордо выступавший в огненно-красной куртке. Эти герои сопровождали свою повелительницу во всех поездках.

Некоторое время назад Помаре получила, в подарок от своей августейшей сестры, английской королевы Виктории, очень эффектный, но несколько тяжелый головной убор — корону, изготовленную, вероятно, по заказу каким-нибудь лондонским жестянщиком. Ее величество не подумала даже приберечь столь изящное украшение исключительно для высокотожественных дней, бывающих так редко, и надевала корону всякий раз, как появлялась на людях; а чтобы показать свое знакомство с европейскими обычаями, Помаре вежливо приподнимала ее, приветствуя всех влиятельных иностранцев — капитанов китобойных судов и прочих, встречавшихся ей во время вечерней прогулки по Ракитовой дороге.

Прибытие и отъезд королевы всегда отмечались во дворце придворным артиллеристом — старым толстяком, который, торопясь изо всех сил, весь в поту, производил салют из охотничьих ружей, перезаряжая их со всей быстротой, на какую был способен.

Супругу таитянской государыни выпала на долю тяжелая жизнь. Бедняга! Женившись на королеве, он тем самым обрек себя на адские муки. При обращении к нему его довольно показательно величают «Помаре-Тане» (муж Помаре). В общем вполне подходящий титул для принца-супруга.

Из всех мужей, когда-либо находившихся под башмаком у своей жены, ни одного не держали в таком страхе божием, как нашего принца. Однажды, когда его *sara sposa*^[121] давала аудиенцию депутации от капитанов судов, стоявших в Папееэте, он рискнул высказать замечание, очень не понравившееся ей. Она повернулась, дала ему пощечину и велела убираться на его нищенский остров Эймео, если он начинает задирать нос.

Побитый и опозоренный, бедный Тане ищет утешения в бутылке, или, скорей, в тыквенной бутылке. Подобно своей супруге и повелительнице, он пьет больше, чем следовало бы.

Шесть-семь лет назад, когда в Папееэте стоял американский военный

корабль, весь поселок пришел в большое волнение из-за оскорбления действием, нанесенным священной особе Помаре ее пьяным Тане.

Капитан Боб как-то рассказал мне эту историю. Желая придать повествованию как можно больше наглядности, а также чем-то возместить недостаточность запаса английских слов, старик изобразил все, что произошло, в лицах, и на мою долю выпала роль королевы Таити.

По-видимому, дело было так. Однажды в воскресенье утром, после того как королева с презрением прогнала от себя Тане, к нему явилось несколько добрых приятелей и собутыльников; они стали вместе с ним сокрушаться по поводу его несчастий, ругать королеву и в конце концов потащили к тайному шинкарю, в доме которого компания основательно напилась. Придя в разгоряченное состояние, все только и говорили, что о Помаре Вахине I. «Сука, а не королева», — вероятно, высказал свое мнение один. «Это гнусно», — сказал другой. «Я бы отомстил», — воскликнул третий. «Я так и сделаю!» — икнув, произнес, должно быть, Тане, ибо он ушел и, узнав, что его царственная половина уехала кататься верхом, сел на лошадь и поскакал вдогонку.

У окраины поселка принц-супруг увидел кавалькаду женщин, легким галопом ехавших ему навстречу, и в центре ее ту, на кого он взъярился. Нахлестывая своего коня, он врезался в кавалькаду, сбросив с лошади одну из дам, оставшуюся лежать на поле сражения, и обратив в бегство всех остальных, за исключением Помаре. Ловко осадив своего скакуна, разгневанная королева принялась осыпать мужа всеми ругательствами, какие ей только приходили в голову. Тогда взбешенный Тане соскочил с седла, схватил Помаре за платье, стащил на землю и несколько раз ударил по лицу, держа ее за волосы. Он, наверно, задушил бы ее на месте, если бы крики перепуганной свиты не привлекли толпу туземцев; они поспешили на помощь и унесли королеву в полубморочном состоянии.

Однако исступленная ярость Тане не была еще удовлетворена. Он помчался во дворец и, прежде чем ему успел кто-нибудь помешать, разбил ценный сервиз, недавно присланный в подарок из Европы. Он продолжал еще буйствовать, когда его схватили сзади и уволокли — с пеной у рта, дико вращавшего глазами.

Это яркий пример того, до чего могут дойти таитяне в гневе. Обычно они бывают самыми кроткими людьми, и их трудно вывести из себя; но когда разъярятся, в них вселяется тысяча дьяволов.

На следующий день Тане был тайно увезен в пироге на Эймео; он оставался там в ссылке две недели, а затем ему разрешили вернуться и вновь надеть на себя супружеское ярмо.

Хотя Помаре Вахине I в личной жизни была кем-то вроде Иезавели, [\[122\]](#) в делах управления она, как говорят, проявляла много снисходительности и терпения. Она держалась разумной политики, ибо наследственная вражда к ее семье всегда таилась в сердцах многих могущественных вождей, потомков древних королей Таиарапу, свергнутых с престола ее дедушкой Оту. Самым влиятельным из этих вождей и фактическим их главой был Пуфай, смелый способный человек, не скрывавший своей вражды к миссионерам и к руководимому ими правительству. Но пока происходили события, казалось бы благоприятствовавшие надеждам недовольных смутьянов, появились французы, и дело приняло совершенно неожиданный оборот.

Во время моего пребывания на Таити широко распространились слухи, исходившие, как я знал, от так называемой «Миссионерской партии», будто бы Пуфай и несколько других влиятельных вождей, польстившись на посулы, согласились не противодействовать захвату их страны. Но последующие события опровергли клеветнические утверждения. Некоторые из этих самых людей недавно погибли в сражении против французов.

В царствование династии Помаре главные таитянские вожди были чем-то вроде баронов короля Иоанна. [\[123\]](#) Сохранив феодальное господство в наследственных долинах и пользуясь благодаря своему происхождению горячей любовью народа, они часто уменьшали королевские доходы, отказываясь платить обычную дань, взимавшуюся с них как с вассалов.

Дело в том, что с возрастанием роли миссионеров королевская власть на Таити потеряла значительную часть своего величия и влияния. В эпоху язычества она поддерживалась многочисленными могущественными жрецами и была формально связана со всей системой суеверного идолопоклонства, господствовавшего в стране. Считалось, что король — это побочный сын Тарарроа, Сатурна полинезийской мифологии, и двоюродный брат низших богов. Его особа была трижды священна; если он входил в чье-либо жилище, хотя бы на очень короткое время, дом затем уничтожался, так как ни один простой смертный не был достоин после этого в нем жить.

— Я более великий человек, чем король Георг, — заявил неисправимый молодой Оту первым миссионерам, — он ездит верхом на лошади, а я на человеке.

Так оно и было. Оту путешествовал по своим владениям на почтовых — на плечах подданных, и во всех долинах его ожидали подставы.

Но, увы! Как меняются времена, как преходяще величие человека. Несколько лет назад Помаре Вахине I, внучка гордого Оту, открыла прачечное заведение, без всякого стеснения домогаясь через своих агентов заказов на стирку белья офицерам заходящих в ее гавань кораблей.

Показателен и достоин быть отмеченным следующий факт: в то время как влияние английских миссионеров на Таити способствовало такому падению королевского престижа, американские миссионеры на Сандвичевых островах прилагали старания к тому, чтобы добиться противоположного результата.

Глава LXXXI

ПОСЕЩЕНИЕ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРА

В середине второго месяца «хиджры», иначе говоря, недель через пять после нашего прибытия в Партувай, мы получили, наконец, возможность попасть в резиденцию королевы.

Это произошло так. В свите Помаре был один уроженец Маркизских островов, исполнявший обязанности няньки ее детей. По таитянскому обычаю королевских отпрысков носят на руках еще и тогда, когда для этого требуется незаурядная физическая сила. Но Марбонна — высокий и сильный, прекрасно сложенный, как античная статуя, — вполне подходил для такой роли; руки у него по толщине не уступали бедру тощего таитянина.

Нанявшись на родном острове матросом на французское китобойное судно, он на Таити сбежал с него; там его увидела Помаре и, придя в восхищение, убедила поступить к ней на службу.

Прогуливаясь у ограды королевской резиденции, мы часто видели, как он расхаживал в тени с двумя красивыми мальчиками на руках, обнимавшими его за шею. Лицо Марбонны, покрытое замысловатой татуировкой, обычной для его племени, заменяло юным Помаре книжку с картинками. Им доставляло удовольствие водить пальцами по контурам причудливых узоров.

С первого взгляда на маркизца я догадался, откуда он родом, и обратился к нему на его языке; он обернулся, удивленный, что с ним заговорил на родном наречии иностранец. Он оказался уроженцем Тиора, одной из долин на Нукухиве. Я не раз бывал в этих местах, а потому мы встретились на Эймео, как старые друзья.

Я часто разговаривал с Марбонной через бамбуковую ограду. Он оказался философом по натуре — ярким язычником, осуждавшим пороки и безрассудства христианского двора на Таити, дикарем, преисполненным презрения к вырождающемуся народу, среди которого волей судьбы ему приходилось жить.

Меня поразил патриотизм этого человека. Ни один европеец, очутившись за пределами родины, не мог бы говорить о своей стране с большей гордостью, чем Марбонна. Он неоднократно уверял меня, что как только соберет достаточно денег на покупку двадцати ружей и такого же

количества мешочков с порохом, он вернется в родные края, с которыми Эймео нельзя и сравнивать.

Этому самому Марбонне после нескольких безуспешных попыток удалось, наконец, добиться для нас разрешения посетить резиденцию королевы. Сквозь многочисленную толпу, заполнявшую мол, он провел нас к тому месту, где сидел какой-то старик, и представил в качестве своих знакомых «кархоури», жаждущих осмотреть достопримечательности дворца. Почтенный камергер поглядел на нас и покачал головой; доктор, решив, что он хочет получить мзду, сунул ему в руку плитку прессованного табаку. Она была милостиво принята, и нам позволили пройти дальше. Когда мы входили в один из домов, со всех сторон слышались крики, призывавшие Марбонну, и ему пришлось покинуть нас.

С самого начала мы оказались предоставлены самим себе, и уверенность моего спутника нам очень пригодилась. Он направился прямо в дом, а я за ним. Там было много женщин; вместо того чтобы выразить, как мы ожидали, изумление, они приняли нас столь сердечно, словно мы пришли по специальному приглашению выпить с ними чашку чая. Прежде всего нас заставили съесть по тыквенной бутылке «пои» и по несколько жареных бананов. Затем закурили трубки, и завязалась оживленная беседа.

Придворные дамы не обладали особым лоском, но вели себя удивительно свободно и непринужденно — совсем как красавицы при дворе короля Карла.^[124] Одна из фрейлин Помаре — лукавая молодая особа — могла вполне свободно объясняться с нами, и мы постарались заслужить ее особое расположение, имея в виду воспользоваться ее услугами в качестве чичероне.

В этой роли она, пожалуй, даже превзошла наши ожидания. Никто не решался ей прекословить, и мы без церемоний входили во все помещения, раздвигали занавески, подымали циновки и заглядывали во все уголки. Возможно, эта девица была хранительницей печати своей госпожи, а потому перед ней открывались все двери; во всяком случае сам Марбонна, носивший на руках инфантов, не смог бы оказать нам и половины тех услуг, что оказала она.

Среди других посещенных нами домов выделялась своими размерами и красивым внешним видом резиденция одного европейца, бывшего помощника капитана торгового судна, польстившегося на честь путем женитьбы породниться с династией Помаре. Так как его супруга была близкой родственницей королевы, он стал постоянным членом семейного кружка ее величества. Этот авантюрист поздно вставал, театрально одевался в ситцевые наряды, увешанные безделушками, усвоил

повелительный тон в разговоре и, очевидно, был вполне доволен самим собой.

Когда мы вошли, он лежал на циновке и курил камышовую трубку, окруженный вождями и дамами, восхищенно взиравшими на него. Он, конечно, заметил наше приближение, но, вместо того чтобы встать и оказать учтивый прием, продолжал разговаривать и курить, не удостоив нас даже взглядом.

— Его высочество объелся «пои», — небрежно заметил доктор.

После того как провожатая представила нас, остальное общество ответило обычными приветствиями.

Когда мы выразили настоятельное желание повидать королеву, нас повели к зданию, значительно превосходившему размерами все остальные дома в ограде. Оно имело в длину по меньшей мере полтора фута, было очень широкое, с низкими стрехами и чрезвычайно крутой крышей из листьев пандануса,^[125] без дверей и без окон. Со всех четырех сторон шли тонкие столбы, которые поддерживали стропила. В промежутках между столбами шелестели занавески из тонких циновок и таппы; часть из них имела по краям фестоны или была чуть-чуть отдернута, чтобы проникали свет и воздух и чтобы любопытные могли время от времени заглянуть внутрь и посмотреть, что там происходит.

Отодвинув одну из занавесей, мы вошли и очутились в огромном зале; длинная толстая коньковая балка тянулась на высоте добрых сорока футов от земли; с нее свисали бахромчатые циновки и кисти. Со всех сторон стояли диваны из положенных одна на другую циновок. Тут и там легкие ширмы отгораживали укромные уголки, где группы придворных — исключительно женщин — полулежали за вечерней трапезой.

Когда мы приблизились, жужжание разговоров повсюду прекратилось, и дамы выслушали какие-то кабалистические слова сопровождавшей нас девушки, произнесенные ею в объяснение нашего появления среди них.

Зрелище было странное; но больше всего удивила нас нелепая коллекция очень ценных вещей, привезенных со всех концов света. Они лежали бок о бок с самыми грубыми местными изделиями без всякого намека на какой-нибудь порядок. Великолепные шкатулки розового дерева, инкрустированные серебром и перламутром, графины и бокалы граненого стекла, множество чеканной серебряной посуды, позолоченные канделябры, наборы глобусов и готовален, тончайший фарфор, богато отделанные сабли и охотничьи ружья, кружевные шляпы и всевозможные роскошные одеяния, множество других европейских товаров — все это было раскидано впережку с неуклюжими тыквенными бутылками,

наполовину наполненными «пой», свертками старой таппы и циновок, веслами и острогами и обычной мебелью таитянских жилищ.

Все эти ценные предметы были несомненно подарками чужеземных государей. Ни один из них не сохранился в целости. Охотничьи ружья и сабли заржавели, царапины покрывали изящные деревянные вещицы, а том in folio гравюр Хогарта^[126] валялся раскрытым, и скорлупа кокосового ореха с какой-то заплесневелой снедью лежала на боку среди разнообразной обстановки комнаты мота, где с этого безрассудного молодого джентльмена снимали мерку для фрака.

Мы с интересом разглядывали эту кунсткамеру, как вдруг наша провожатая дернула нас за рукав и прошептала:

— Помаре! Помаре! Арамаи коу коу.

— Она идет, стало быть, ужинать, — сказал доктор, смотря в указанном направлении. — Как вы думаете, Поль, что если мы подойдем?

В это мгновение занавеска вблизи нас поднялась, и со стороны личных покоев, находившихся в нескольких ярдах, вошла королева без всякой свиты.

На ней было свободное платье из голубого шелка, плечи покрывали две роскошные шали, одна красная, а другая желтая. Ее королевское величество шла босиком.

Нашим взорам предстала женщина среднего роста, довольно полная, с не очень красивыми чертами лица и с чувственным ртом. Она казалась состарившейся от забот, что, вероятно, следовало приписать недавним несчастьям. По виду вы дали бы ей около сорока лет, но на самом деле она была моложе.

Как только королева приблизилась к одному из огороженных ширмами уголков, ее приближенные поспешили навстречу, вошли вместе с ней и привели в порядок циновки, на которые она затем опустилась. Вскоре появились две девушки и принесли своей повелительнице еду; окруженная граненым стеклом и фарфором, кувшинами с конфетами и другими сладостями, Помаре Вахине I, номинальная королева Таити, ела рыбу и «пой» из местных тыквенных бутылей, не пользуясь ни ножом, ни ложкой.

— Идем, — прошептал Долговязый Дух, — попытаемся сразу же получить аудиенцию.

Он собирался уже представиться, но сопровождавшая нас девушка, сильно испуганная, удержала его и стала упрашивать, чтобы он хранил молчание. Вмешались и другие женщины и, так как доктор рвался вперед, подняли такой шум, что Помаре вскинула глаза и только теперь заметила нас.

Она, по-видимому, была удивлена и оскорблена. Отдав повелительным тоном какое-то распоряжение нескольким из своих придворных дам, она жестом предложила нам покинуть помещение. Как ни лаконичен был приказ удалиться, придворный этикет, конечно, требовал, чтобы мы подчинились. Мы ушли, отвесив низкий поклон перед тем как исчезнуть за занавесками из таппы.

Мы покинули королевскую резиденцию, не повидав Марбонны, и, прежде чем перелезть через ограду, расплатились с нашей хорошенькой провожатой по принятому нами обыкновению. Когда мы через несколько минут обернулись, девушку вели назад двое мужчин, очевидно посланных за ней. Надеюсь, она отделалась лишь выговором.

На следующий день По-По сообщил нам, что отдано строгое распоряжение не допускать никаких иностранцев на дворцовую территорию.

Глава LXXXII

КОТОРОЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КНИГА

Отчаявшись попасть ко двору, мы решили отправиться в плавание. Не к чему было злоупотреблять дольше гостеприимством По-По; к тому же, подобно всем матросам, очутившимся на берегу, я начал несколько скучать от жизни на Эймео и мечтать о волнах.

«Левиафан», если верить его команде, был неподходящим для нас судном. Но я видел капитана, и он понравился мне. Это был необычайно высокий красивый здоровяк во цвете лет. Его загорелые щеки украшало по темно-красному пятну — несомненно, следы морских попок. Он был вайньярдцем,^[127] то есть уроженцем острова Мартас-Вайньярд^[128] (невдалеке от Нантакета) и — я готов в этом поклясться — настоящим моряком, а не тираном.

Раньше мы предпочитали избегать матросов с «Левиафана», когда они съезжали на берег, но теперь мы намеренно попадались им на пути, чтобы побольше узнать об их судне.

Мы познакомились с третьим помощником, пруссаком по национальности и старым моряком торгового флота — большим весельчаком с румяной физиономией. Мы привели его к По-По и угостили обедом из жареной свинины и плодов хлебного дерева, с трубками и табаком на десерт. Сведения, полученные от него о судне, совпадали с моими предположениями. Более славного старого парусника еще не носили океанские волны, а капитан был прекраснейшим человеком в мире. К тому же и еды имелось вдоволь; на море ничего не приходилось делать, знай посиживай на шпиле и пльиви. Единственный недостаток судна заключался в следующем: оно было спущено на воду под какой-то злосчастной звездой, и ему не везло в промысле. Вельботы с него спускали то и дело, и гарпунчики нередко подбивали китов, однако ни гарпуны, ни остроги не держались у кита в боку, и матросам «Левиафана» почти никогда не удавалось убить и отшвартовать драгоценную добычу. Но что из этого? Мы будем иметь все удовольствия от охоты за чудовищами, но нам не придется выполнять ту противную работу, которая следует за их поимкой. Итак, ура, в честь берегов Японии! Туда направлялось судно.

Надо сказать несколько слов о тех мрачных историях, что мы слышали, когда впервые побывали на «Левиафане». Все они были досужим

вымыслом, пущенным в ход матросами для того, чтобы отпугнуть нас и вынудить капитана, нуждавшегося в пополнении экипажа, подольше пробыть в приятной гавани.

В следующий раз, когда вайньярдец появился на берегу, мы поспешили попасться ему на глаза. Услышав о нашем желании отправиться с ним в море, он захотел узнать, кто мы такие и, прежде всего, откуда мы родом. Мы сказали, что некоторое время назад покинули на Таити китобойное судно и с тех пор работали — самым похвальным образом — на плантации. Что до нашей родины, то моряки не имеют национальности, но если на то пошло, то мы оба янки. К последнему утверждению капитан отнесся весьма недоверчиво и откровенно сказал нам, что, по его глубокому убеждению, мы оба из Сиднея.

К сведению читателей, капитаны американских кораблей, плавающих в Тихом океане, пуще огня боятся сиднейских молодчиков, которые, говоря по правде, повсюду пользуются чрезвычайно плохой славой. Если на борту какого-нибудь судна в Южных морях вспыхивает мятеж, то зачинщиком в девяноста случаях из ста бывает матрос из Сиднея. На берегу эти ребята также ведут себя очень буйно.

Именно поэтому мы старались скрыть то обстоятельство, что состояли когда-то в экипаже «Джулии», хотя мне и претило такое отречение от нашего смелого суденышка. По той же причине доктор неправильно указывал место своего рождения.

К несчастью, одна часть нашего одеяния — подаренные Арфрети синие куртки — была признана косвенной уликой против нас. Ибо, как это ни странно, американского моряка обычно узнают по красной куртке, а английского по синей — в противоположность цвету национальных флагов. Капитан указал нам на это обстоятельство, и мы поспешили объяснить подобную странность. Но тщетно; он, по-видимому, был решительно предубежден против нас и в особенности к доктору относился крайне недоверчиво.

Желая придать больше достоверности утверждениям последнего, я как бы между прочим упомянул, что в Кентукки много высоких людей, но тут наш вайньярдец внезапно повернул прочь и не пожелал больше ничего слушать. Совершенно очевидно, он считал Долговязого Духа исключительно подозрительной личностью.

Поняв это, я решил испробовать, не поможет ли делу свидание с глазу на глаз. И вот как-то днем я застал капитана, когда он курил трубку в доме одного представительного старого туземца — некоего Май-Май, который за умеренную плату угощал по-партувайски знатных иностранцев.

Его гость только что плотно пообедал жареной свиной и пудингом из таро; остатки обеда еще не были убраны. На циновке валялись также две бутылки с отбитыми горлышками, от которых шел спиртной дух. Все это казалось обнадеживающим, ибо после хорошего обеда человек приходит в благодушное, дружелюбное настроение и легко поддается уговорам. В таком состоянии во всяком случае я застал благородного вайньярдца.

Для начала я сказал, что пришел к нему с целью вывести его из заблуждения относительно того, откуда я родом: я, хвала небу, американец и хочу убедить его в этом.

Капитан некоторое время пристально смотрел мне в глаза, обнаружив при этом явную нетвердость взгляда, а затем попросил меня вытянуть руку. Я исполнил его желание, недоумевая, какое отношение имеет эта полезная конечность к данному вопросу.

Он положил на несколько мгновений пальцы мне на запястье, а затем, вскочив на ноги, с жаром заявил, что я янки каждым биением моего пульса!

— Эй, Май-Май! — воскликнул он, — еще бутылку!

Когда она появилась, капитан одним ударом ножа быстро обезглавил ее и велел мне осушить до дна. Затем он сказал, что если я на следующее утро явлюсь к нему на «Левиафан», судовой договор будет ждать меня в каюте на столе.

Все складывалось чудесно. Но как быть с доктором?

Я немедленно ввернул легкий намек насчет моего долговязого товарища. Но это оказалось совершенно бесполезно. Вайньярдцец клялся, что не желает иметь с ним дела — он (мой долговязый друг) сиднейская «птичка», и ничто не заставит его (человека недоверчивого) изменить свое мнение.

Я не мог не проникнуться симпатией к прямодушному капитану, но возмущенный ничем не объяснимым предубеждением против моего товарища, тотчас же ушел.

Когда я рассказал доктору о результатах свидания, его это очень позабавило, и он заявил, смеясь, что вайньярдцец, должно быть, проникательный парень. Затем он начал настаивать, чтобы я отправился в плавание на «Левиафане», ибо ему хорошо известно, как мне хочется покинуть Эймео. Что до него, то, говоря по совести, он вовсе не моряк: и хотя «сухопутные крысы» очень часто нанимаются на китобойные суда, лично ему не совсем по вкусу мысль занять такое скромное положение. Коротко говоря, он решил побыть еще некоторое время на Эймео.

Я обдумал создавшееся положение и в конце концов решил покинуть остров. Зов моря и надежда со временем добраться до родины были

слишком сильны, чтобы я мог против них устоять. И особенно прельщало меня, что «Левиафан» был таким уютным судном, что ему предстояла теперь последняя китобойная кампания и немногим больше чем через год он обогнет мыс Горн.

Впрочем, ничто не вынуждало меня наниматься на все плавание и тем без всякой необходимости связывать себя. Я мог завербоваться лишь на ближайший рейс, оставив за собой в дальнейшем свободу действия. Кто знает, не изменятся ли мои намерения и не предпочту ли я добраться до родины короткими и легкими переходами?..

На следующий день я отправился на пироге на судно, подписал договор и вернулся на берег с «авансом» — пятнадцатью испанскими долларами, завязанными в концы моего шейного платка.

Я убедил Долговязого Духа взять половину денег. Так как и остальные мне были не очень нужны, я хотел отдать их По-По, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить за его доброту; но, хотя он прекрасно знал ценность этих монет, он не принял от меня ни доллара.

Через три дня в дом По-По зашел пруссак и сообщил нам, что капитан полностью укомплектовал свою команду, наняв нескольких островитян, и решил двинуться в путь с береговым бризом завтра на заре. Это известие было получено под вечер. Доктор немедленно исчез и вскоре вернулся с двумя бутылками вина, спрятанными под курткой. При посредстве уроженца Маркизских островов он приобрел их у одного из служащих при дворе.

Я убедил По-По выпить прощальную чашу; и даже маленькая Лу, казалось огорченная тем, что один из безнадежно влюбленных в нее поклонников навеки покидает Партувай, сделала несколько глоточков из свернутого листа. Что касается добросердечной Арфрети, то ее печаль была беспредельна. Она даже упрашивала меня провести последнюю ночь под ее пальмовой кровлей, а утром она сама отвезла бы меня на судно.

Но на это я не мог согласиться. Тогда, чтобы у меня осталось что-нибудь на память о ней, она подарила мне тонкую циновку и кусок таппы. Впоследствии в теплых широтах, куда мы направлялись, эти дары, разложенные на моей койке, оказались очень полезными, не говоря уже о том, что они всегда вызывали во мне самые благодарные воспоминания.

Перед заходом солнца мы попрощались с великодушным семейством и поспешили к берегу.

Для моряков на судне это была веселая ночка: они распили небольшой бочонок вина, добытый тем же способом, что и бутылки доктора.

Часа через два после полуночи все затихло. Но когда первые

проблески зари показались над горами, резкий крик разбудил кубрик; прозвучала команда сниматься с якоря. Мы весело принялись выбирать якоря, паруса были вскоре поставлены, и с первым дуновением тропического утреннего ветерка, принесшего прохладу и аромат со склонов гор, мы медленно двинулись к выходу из бухты и проскользнули в проход между рифами. Вскоре мы легли в дрейф, и к судну подошли пироги, чтобы забрать провожавших нас островитян. Перед тем как доктор перешагнул через борт, мы обменялись долгим и сердечным рукопожатием. Больше я его никогда не видел и ничего не слышал о нем.

Подняв все паруса, мы поставили реи прямо, и посвежевший ветер понес нас прочь от земли. Снова подо мной колыхалась матросская койка, и я ходил раскачивающейся походкой.

К полудню остров исчез за горизонтом. Перед нами простирался безбрежный Тихий океан.

В.М. Бахта

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1960 г., когда писалось данное послесловие, «Моби Дик, или Белый Кит», на русский еще не был переведен (первое полное издание — 1961 г.). Видимо, поэтому В.М. Бахта допустил(а) ошибку: этот роман Г. Мелвиллом впервые был опубликован не в 1850, как указано в послесловии, а в 1851 г.

Само послесловие, конечно, отмечено печатью классовой политизированности 1950–1960 гг. и, в результате, во многом создает ныне некую антирекламу роману «Ому». Имеются даже передергивания вследствие недоверия наблюдениям автора-очевидца (к примеру: «...а жизнь рядовых таитян была наполнена трудовыми буднями»).

Автор «Ому» американский писатель Герман Мелвилл (1819–1891) мало известен в нашей стране. Переводы его произведений на русский язык исчисляются единицами. Напрасно будет искать читатель книгу или хотя бы статью на русском языке, посвященную творчеству этого писателя. Немногие беглые строки в отдельных предисловиях или на страницах некоторых учебников да краткие, и кстати, отнюдь не безошибочные, биографические справки в энциклопедиях — вот пожалуй и все, что можно найти о Мелвилле на русском языке. Между тем, Мелвилл широко известен за рубежом. Его произведения переведены почти на все западноевропейские языки. Его книги переиздаются по многу раз. Литература о Мелвилле огромна и увеличивается во все возрастающей степени. Достаточен лишь один пример: в вышедшей в 1957 г. книге профессора Иллинойского университета Милтона Р. Стерна с характерным названием «Разящая сталь Германа Мелвилла» приведена библиография, в которой насчитывается свыше 1000 работ о Мелвилле и его творчестве — книг, брошюр, статей, диссертаций. Среди американских литературоведов не раз раздавались голоса, называвшие Германа Мелвилла крупнейшим американским писателем XIX века.

Герман Мелвилл родился в Нью-Йорке 1 августа 1819 г. в семье купца, дела которого в последние годы его жизни шли далеко не блестяще. Отец Мелвилла умер в 1832 г., оставив свою семью почти без средств к

существованию, и юноше вскоре пришлось самому зарабатывать себе на хлеб, так и не закончив школьного образования. В 1837 г. Мелвилл плывал в качестве юнги в Англию, а спустя еще три года, в 1841 г., нанялся матросом на китобойное судно, отправлявшееся на промысел в Южные моря. С этого момента начался недолгий, но самый интересный период жизни будущего писателя.

Столетие тому назад китобойный промысел был довольно опасным делом, и экипажи китобойных судов нередко составлялись из отчаянных и бесшабашных, прошедших сквозь огонь и воду людей. Необычайные, порою страшные судьбы и характеры окружавших его моряков, ни на минуту не прекращающаяся борьба экипажа с необузданной стихией, захватывающая погоня за китами — весь этот совершенно новый, пропитанный острым запахом крови и ворвани мир навсегда запечатлелся в памяти Германа Мелвилла. А из-за горизонта уже поднимались окутанные романтическими легендами и темно-зелеными купами роскошной тропической растительности острова Южных морей.

Однажды, когда судно Мелвилла бросило якорь у берегов одного из Маркизских островов, Нукухивы, Мелвилл, возмущенный жестоким и несправедливым обращением со стороны капитана, бежал вместе с товарищем-матросом в глубь острова. Здесь в течение четырех месяцев он прожил в плену у племени долины Тайпи. Вскоре, однако, ему удалось бежать на австралийском китобойном судне. У берегов Таити на борту корабля разразился бунт, закончившийся заключением почти всего экипажа, в том числе и Мелвилла, в местную тюрьму, откуда он бежал вместе с бывшим корабельным врачом. Вдвоем они немало побродили по островам Таити и Эймео (ныне о. Мурео). Через некоторое время Мелвилл вновь нанялся на китобойное судно и после целого ряда приключений вернулся, наконец, на родину, высадившись в Бостоне в октябре 1844 г.

Воспоминания о недавно пережитом не давали ему покоя, и Мелвилл взялся за перо. В 1846 г. вышла в свет его первая книга «Тайпи» и в следующем, 1847 г., вторая книга, «Ому». В «Тайпи» Мелвилл описал свою жизнь у племени тайпи на о. Нукухива, в «Ому» — свои дальнейшие приключения на о-вах Таити.

«Тайпи» и «Ому» сразу же принесли Мелвиллу широкую известность на обеих сторонах Атлантического океана. В 1850 г. Мелвилл опубликовал свою самую знаменитую книгу «Моби Дик, или Белый Кит», сложное многоплановое произведение, внешним сюжетом которого служит жизнь китобоев в 40-х годах прошлого века. «Тайпи», «Ому» и «Моби Дик» составляют своеобразный цикл произведений, в которых Мелвилл в

образной и безыскусной форме рассказал читателю о своей жизни среди китобоев и островитян Тихого океана.

Каждая из этих книг имеет свою, отличную от двух других тему. Если «Тайпи» знакомит читателя с островитянами Нукухивы, жизнь и быт которых почти еще не испытали влияния колонизаторов, а «Моби Дик» посвящает вас в тайны китобойного промысла, то «Ому» представляет собой по существу правдивый и гневный рассказ о пагубном влиянии европейской колонизации на судьбы коренного населения Океании.

Оказавшись на Таити в первой половине 40-х годов XIX в., Мелвилл невольно стал очевидцем событий, связанных с одним из наиболее драматических эпизодов в истории колониальной экспансии западноевропейских держав в Тихом океане.

Напомним, что как раз с Таити связано представление о «счастливом дикаре», столь популярное во французской просветительной философии XVIII в. Не кто иной, как французский мореплаватель Бугенвиль, посетивший в 1768 г. Таити, изобразил его как некий счастливый остров, где люди живут в благодатных природных условиях, почти не заботясь о пище.

В действительности о. Таити не был, конечно, земным раем. Один из крупнейших в Полинезии архипелаг Таити состоит из 14 островов. Остров Таити, по которому и называется весь архипелаг, занимает около двух третей площади последнего. Остров горист, причем все склоны гор покрыты густыми лесами. Обособленные, утопающие в зелени долины орошаются горными ручьями. На побережье в устьях этих ручьев и расположены обычно деревни таитян. До европейской колонизации о-ва Таити были густо заселены, к началу XIX в. их население достигало 150–200 тыс. человек. Как и во всей Полинезии, главным занятием таитян было хорошо развитое земледелие. Благодатный климат, плодородная почва и богатое рыбой море способствовали изобилию пищи у островитян. Но это изобилие было результатом упорного и настойчивого труда. Расчистка участков леса под пашни, обработка почвы, строительство домов и мореходных судов, выделка местной материи таппы — все это требовало длительного времени и немалых трудовых усилий, тем более, что все необходимые им материальные блага таитяне производили при помощи каменных, костяных и деревянных орудий. На Таити высокой степени достигло и разделение труда: выделились уже многочисленные ремесленные гильдии.

Высокому развитию материальной культуры и производства соответствовал и общественный строй таитян, которые дальше других

народов Полинезии продвинулись по пути образования классового общества. Общинная собственность на землю здесь почти не сохранилась. Все таитянское общество распалось на резко разграниченные касты. Основных каст было три: арии — вожди и знать; раатира — крупные и мелкие землевладельцы и манахуне — простой народ. Особую наследственную касту на Таити составляли жрецы, связанные с кастой вождей и родством и положением. Жрецы пользовались на острове огромным влиянием и авторитетом. Следует подчеркнуть, что между классами, на которые раскололось таитянское общество, существовали глубокие противоречия, нередко принимавшие форму открытых конфликтов.

Внимательное исследование социальных изменений на Таити показывает, что к концу XVIII в. там шел исторически прогрессивный процесс классового образования и становления государства. Здесь уже выделился верховный вождь всего архипелага, которого европейские путешественники называли «королем».

Верховный вождь на Таити отождествлялся с божеством Таароа. Он и его жена считались священными особами. Прикосновение к королю или даже к его тени влекло за собой немедленную смерть. Все, до чего дотрагивались вождь и его жена, становилось их собственностью, в том числе и земля. Вот почему они путешествовали по острову на спинах специальных носильщиков. Само собой разумеется, что «король», знать и жрецы существовали за счет труда простого народа. Утверждение власти верховного вождя сопровождалось длительными и упорными войнами и вооруженными столкновениями между отдельными племенами таитян. Кстати сказать, межплеменная рознь в большой степени облегчила дело колонизаторов, которые к тому же принялись ввозить на острова огнестрельное оружие, что немало способствовало резкому уменьшению численности местного населения.

Таким образом, на островах Таити существовали известные противоречия, общественные конфликты и трудности, а жизнь рядовых таитян была наполнена трудовыми буднями. Но так или иначе общество таитян было развивающимся обществом; возникавшие внутри него трудности и противоречия были трудностями и противоречиями роста.

Вторжение европейцев изменило нормальный ход исторического процесса на Таити. Эпоху европейской колонизации здесь следует начинать с 1797 г., когда к берегам Таити подошел снаряженный Лондонским миссионерским обществом английский корабль «Дефф». На его борту находилось 30 протестантских миссионеров. Искусно воспользовавшись

стремлением таитянских верховных вождей укрепить свою власть, миссионеры добились от «короля» Помаре II провозглашения христианства государственной религией Таити (около 1820 г.). Попытки сопротивления со стороны приверженцев старины были подавлены силой оружия. Английские миссионеры приобрели огромное политическое влияние при «дворе» таитянского «короля» и фактически захватили в свои руки всю внешнюю торговлю острова, а консул Великобритании Причард фактически стал некоронованным королем Таити. Казалось, что уже недалек тот день, когда Таити станут владением британской короны. Обстановка осложнилась 29 ноября 1836 г., когда на Таити высадились французские католические миссионеры. Появление католических миссионеров на Таити не было случайным. Они были направлены туда по указанию морского министерства Франции и имели секретные инструкции содействовать захвату островов французскими колонизаторами. Правда, Причарду удалось было добиться их насильственной высылки у «королевы» Таити Помаре IV, но в конфликт вмешалось правительство Франции. К берегам Таити был послан французский военный корабль. Его командир адмирал Дю Пети Туар [*так*] заставил Помаре IV подписать конвенцию, разрешающую французам любых профессий право пребывания и ведения торговли на Таити. Попытка Причарда добиться установления английского протектората оказалась безуспешной. Британское правительство не считало тогда возможным мешать французам. Католические миссионеры утвердились на Таити, несмотря на ожесточенное сопротивление протестантских коллег, которые откровенно натравливали свою паству на отцов католической церкви. А в 1843 г. Помаре IV была вынуждена признать французский протекторат. Вооруженные стычки между таитянами и французскими колонизаторами, убийства ненавистных французских офицеров и должностных лиц, распри между католиками и протестантами, образование и борьба проанглийской и профранцузской партий среди таитянской знати, наглая бесцеремонность колонизаторов, оскорблявших национальные и патриотические чувства островитян, растлевающее влияние «цивилизации» колонизаторов на таитянский уклад жизни — такова была обстановка на Таити в дни пребывания там будущего писателя.

Пожалуй, страницы «Ому», заполненные описанием миссионерской деятельности на Таити, наиболее впечатляющи. Несмотря на внешне повествовательный, обыденный тон изложения, строки, в которых Мелвилл пишет о миссионерах, полны обличающего пафоса. Вспомните хотя бы содержание протестантской проповеди в местной церкви (гл. XLV), где

пастор восстанавливает свою паству против «злых Ви-ви», т. е. французов, и разглагольствует о величии Беретани (Британии).

Сталкиваясь с самыми различными группами и семьями таитян — с мужчинами и женщинами, с вождями и простыми земледельцами, со жрецами и проповедниками новой религии, Мелвилл каждый раз убеждался, что христианство не пустило глубоких корней в их сердца. Подобно молодой девушке, с которой беседовал Мелвилл, таитяне были христианами лишь на словах, оставаясь по существу приверженцами религии их отцов и дедов. «Церковная полиция», которая следит за строгим соблюдением островитянами заповедей господних, запрещение миссионерами старых обрядов и развлечений, привычной и удобной в местном климате одежды, лицемерие и ханжество, к которому таитяне вынуждены прибегать, спасая от миссионеров свою старую культуру — все указывает на то, что христианство принесло таитянам один только вред, хотя сам автор и пытается говорить о высоких моральных принципах, принесенных якобы миссионерами к таитянам.

Но не одними миссионерами жив колониализм. Кого только нет на страницах книги Мелвилла: прожженные авантюристы и искатели приключений, алчущие наживы торгаши и добытчики, просто неудачники, отправившиеся за океан в надежде «выбиться в люди», беглые каторжники, дезертиры... Мелвилл знакомит нас и с теми, кому колонизация сулит верную выгоду: здесь и исполняющий обязанности английского консула некто Уилсон, и внешне добродушные работяги-плантаторы Зик и «Коротышка», и процветающий владелец сахарной плантации мистер Белл из Сиднея, и самоуверенные офицеры корвета французского военно-морского флота. Читая книгу, мы живо ощущаем всех тех, кто оказался причастным, прямо или косвенно, к процессу капиталистической колонизации.

Вместе с автором мы бродим среди развалин заброшенных языческих храмов и искалеченных «цивилизацией» таитян: портового лоцмана Джима, получающего по 5 долларов за каждое введенное им в гавань Папееэте судно; толстого смотрителя английской тюрьмы «капитана Боба»; откровенного вымогателя подарков у матросов, местного франта Кулу и многих других, уже зараженных духом стяжательства.

Образы, созданные Мелвиллом, очень живы и этнографичны. Следует сказать, что этнографичность вообще одно из бесспорных достоинств книги Мелвилла.

Меткие наблюдения особенностей быта и обычаев таитян рассыпаны по всей книге. Прочтя книгу, читатель получает достаточно полное

представление обо всем том, что составляет материальную культуру островитян. Жилище и культовые постройки, одежда, лодки, пища и ее приготовление, оружие и орудия труда — это все описано на страницах «Ому» с присущей автору наблюдательностью.

Читатель узнает также о многих обычаях таитян, в частности, о различных запретах (табу), связанных с личностью таитянского «короля», присутствует вместе с автором на плясках в деревне Тамаи или на богослужении в местной миссионерской церкви, участвует в ловле рыбы, пробирается в резиденцию «королевы» Помаре IV на о. Мурее (Эймео), куда она удалилась после установления французского протектората.

День за днем странствуя вместе с автором по островам Таити и Мурее, читатель все больше и больше проникается чувством ненависти и отвращения к колонизаторам и доброжелательством и сочувствием к островитянам. Что же касается самого Мелвилла, и об этом необходимо все время помнить, его отношение к островитянам противоречиво. Мелвилл по своему справедлив и умеет отдавать должное безграничному гостеприимству и радушию островитян, их приветливости и готовности помочь в беде даже совсем незнакомым людям. Он хорошо отдает себе отчет в том, что многие отрицательные черты в характере и поведении таитян — результат развращающего влияния колонизаторов. И все-таки в его изложении нет-нет да и проскальзывает некоторое предубеждение по отношению к островитянам; отсюда же повторяемые им пошлые басни о врожденной лени таитян и гавайцев, об их неспособности к регулярному труду, отсюда излишнее внимание к якобы чрезмерной доступности местных женщин, объясняемое также его непониманием существа отношений между мужчинами и женщинами у таитян.

Мелвилл-человек так и не смог подняться над предрассудками многих своих соотечественников — уроженцев страны, где расовые предрассудки были некогда возведены (а в некоторых штатах и по сей день возводятся!) в степень закона. Но Мелвилл-художник оказывается гораздо выше Мелвилла-человека. Его книга не только беспощадно написанный отвратительный портрет колониализма. Мелвиллу удалось воссоздать на страницах своей книги, и при этом с почти научной точностью, жизнь и быт целого народа в один из самых критических моментов его истории. Написанная в форме приключенческой повести «Ому» представляет собой в действительности произведение социально-исторического плана. Благодаря широте и разнообразию приведенных в ней сведений «Ому» в то же время ценный источник для изучения истории, географии и этнографии Таити 40-х годов XIX в.

В наши дни, когда борьба с колониализмом вступила в свою последнюю решающую стадию, когда пламя национально-освободительной борьбы уже перекинулось на острова Океании, проникнутая духом гуманизма книга Германа Мелвилла приобретает особенное, боевое звучание. И в этом закономерность ее издания в нашей стране.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Словарь морских терминов и перевод английских мер в метрические

Составитель: Готье Неимуций (Gautier Sans Avoir). saus@inbox.ru
Ноябрь — декабрь 2005 г., март 2006 г.

* * *

В морском словаре разъяснены не только названия, встречающиеся в романе «Ому», но и термины, необходимые для их понимания. Рекомендуется включать «поиск» по тексту; для сложных названий, состоящих из двух-трех слов — поиск в том числе на каждое слово отдельно.

Словарь составлен на основе следующих соответствующих словарей: из (Мелвилл Г. Белый Бушлат. Л.: Изд-во «Наука», 1973; OCR: Готье Неимуций) и (Станюкович К.М. Избранные произведения. В 2-х томах. Том 1. М.: Худож. лит., 1988; OCR: Zmiy). Использован также ряд других источников, в частности, из Интернета.

Вводная часть (отредактирована) взята из: (Тайны моря: сборник. Марриет Ф., Мелвилл Г. Пер с англ. М.: Изд-во «ВОК», 1990).

В тексте есть символ градуса.

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Названия мачт судна, начиная с носа: фок-мачта, грот-мачта и бизань-мачта. Каждая мачта состоит из четырех частей: собственно мачта (нижняя часть), стеньга (второй ярус мачты), брам-стеньга (третий ярус) и бом-брам-стеньга (четвертый ярус).

Части мачты разделены площадками — салингами, которые называются (снизу вверх): марсом, салингом, брам-салингом и салингом бом-брам-стеньги.

Паруса располагаются на реях в четыре яруса: нижний ярус составляют паруса, называемые по мачте — фок-парус, грот-парус, бизань-парус; второй ярус представлен парусами, имеющими название «марсель» (фор-марсель, грот-марсель, крьюйс-марсель); третий ярус состоит из парусов, называемых брамселями (фор-брамсель, грот-брамсель, крьюйс-брамсель); четвертый ярус составляют паруса бом-брамсель (фор-бомбрамсель, грот-бомбрамсель, крьюйс-бомбрамсель).

Паруса управляются с помощью шкотов и фалов, которые называются по типу своего паруса: например бом-брамфалы управляют бом-брамселями, т. е. парусами четвертого яруса.

Помимо прямых парусов имеются также косые, которые крепятся к реям, называемым гафелями (вверху) и гиками (внизу). Косые паруса на носу судна называются кливерами, а кормовой парус — контрбизанью. Косые паруса между мачтами называются стакселями.

* * *

Аншпуг, ганшпуг, гандшпуг — деревянный или железный рычаг; род багра.

Ахтерлюк — 1) одно из главных отверстий в палубе, позади грот-мачты; 2) помещение в трюме судна, служащее для хранения провизии, перевозимой в бочках или систернах.

Бак — носовая часть верхней палубы от форштевня до фок-мачты.

Бакборт — левый борт.

Барк — парусное судно, имеющее две мачты с прямыми парусами и одну (бизань-мачту) с косыми.

Баталер — унтер-офицер, заведующий пищевым и вещевым довольствием.

Бегучий такелаж — подвижные снасти для постановки и уборки парусов, подъема и спуска тяжестей и т. д.

Бейдевинд — курс парусного судна, при котором угол между его курсом и встречным ветром меньше 90° .

Бизань-гафель — гафель бизань мачты. На нем на ходу корабля несетя военно-морской флаг.

Бизань-мачта — третья от носа мачта на корабле.

Бимс — балка, соединяющая борта корабля (связывает правую и левую ветвь шпангоутов) и служащая основанием для палубы.

Битенг — стальная или чугунная тумба на палубе судна для закрепления буксирного троса или якорного каната.

Бом — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих бом-брам-стеннге.

Бом-брам-стеннга — рангоутное дерево, служащее продолжением вверх брам-стеннги.

Бом-брамсель — четвертый снизу прямой парус; подымается над брамселем (третий снизу).

Боцманмат — помощник боцмана.

Брам — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих брам-стеннге.

Брам-стеннга — рангоутное дерево, служащее продолжением вверх стеннги.

Брамсель — прямой парус, поднимаемый над марселем.

Брас — снасть бегучего такелажа, прикрепленная к нокам реев и служащая для поворота реев вместе с парусами в горизонтальной плоскости.

Брасопить рей — поворачивать его в горизонтальной плоскости с помощью бра-сов.

Брештук — горизонтальная треугольная кница (деталь, связывающая концы балок набора), соединяющая продольные связи обоих бортов на форштевне.

Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами.

Бушприт, бугшприт — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна. Служит для постановки косых треугольных парусов — кливеров впереди фок-мачты.

Ванты — снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков мачты, стеньги и брам-стеньги.

Вымбовка — деревянный рычаг, вставляемый в шпиль для вращения его вручную.

Гакаборт — верхняя закругленная часть кормовой оконечности судна.

Галс — курс судна относительно ветра. Если ветер дует в левый борт, судно идет левым галсом; если в правый — правым.

Гафель — наклонное рангоутное дерево, укрепленное сзади мачты и служащее для привязывания верхней кромки косого паруса.

Грота — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащим грот-мачте ниже марса.

Грот-марсель — второй снизу прямой парус на грот-мачте.

Грот-мачта — вторая мачта, считая с носа.

Кабельтов — здесь: мера длины, равная 182,5 м.

Каболка — нить, свитая из волокон пеньки по солнцу.

Каперство — нападение вооруженных частных судов воюющего государства с его разрешения (каперские свидетельства) на неприятельские торговые суда или суда нейтральных государств, перевозящие грузы для неприятельского государства.

Карлингс — подпалубная балка продольного направления, поддерживающая поперечные бимсы палуб.

Каронада, карронада — короткая и легкая пушка относительно большого калибра. Станок имеет откатное приспособление. На короткой дистанции каронада, стреляющая снарядами и бомбами, обладает весьма разрушительным действием.

Квадрант — старинный угломерный астрономический инструмент для измерения высоты небесных светил над горизонтом и угловых расстояний между светилами. Лимб квадранта составляет 1/4 часть окружности.

Кливер — косой треугольный парус, ставящийся перед фок-мачтой.

Клотик — точеный кружок, надеваемый на флагшток или топ мачты.

Коммодор — офицер самого высокого ранга в американском флоте середины XIX века; тогда в США еще не было звания адмирала.

Контра-брасы — брасы спереди реев; так, например, у грота-рея.

Корвет — трехмачтовое военное судно с открытой батареей. Носил ту же парусность, что и фрегат, имел 20–30 орудий, предназначался для разведок и посылок, а иногда и для крейсерских операций.

Краспица — поперечный брус (относительно продольных).

Купорный мастер, купор — корабельный бочар.

Ляг — инструмент, имеющий вид сектора, служит для измерения расстояния. Устройство основано на том, что при равномерном ходе по расстоянию, пройденному кораблем в минуту или в пол-, четверть минуты, можно судить о расстоянии, проходимом в час.

Лисель — дополнительный парус, который ставится сбоку прямых парусов на фок- и грот-мачтах при попутном ветре.

Марс — площадка на мачте в месте соединения ее со стеньгой; служит для разноски стень-вант, а также для работ по управлению парусами.

Марса-рей — второй рей снизу.

Марсель — второй снизу прямой парус, ставящийся между марса-реем и нижним реем.

Марсовой — работающий по расписанию на марсе. Старший из матросов марсовых или унтер-офицер называется марсовым старшиной.

Нагель — болт с продолговатой фигурной головкой.

Недгедс — один из стояков, из брусьев, по обе стороны носового пня (т. е. стема — деревянного форштевня) судна. Бушприт проходит между недгедсами.

Обстенить паруса — положить паруса на стеньгу, т. е. поставить их так, чтобы ветер дул в переднюю их сторону и нажимал их на стеньги, дабы дать судну задний ход.

Планшир, планширь — 1) деревянные или металлические перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта; 2) деревянный брус с гнездами для уключин, идущий по бортам шлюпки и покрывающий верхние концы шпангоутов.

Поворот оверштаг — поворот на парусном судне, идущем против ветра, при котором оно пересекает носом линию ветра.

Поворот через фордевинд — поворот парусного судна или шлюпки, идущих по ветру; при этом способе судну при помощи руля и парусов дают возможность уклониться от бейдевинда до фордевинда, а потом подняться до бейдевинда другого галса.

Риф — горизонтальный ряд продетых сквозь парус завязок, посредством которых можно уменьшить его поверхность. У марселей бывает их четыре ряда, у нижних парусов — два.

Румб — одно из тридцати двух делений компаса, равное $11,25^\circ$.

Румпель — рычаг для поворота руля.

Руслень — площадка на борту парусного судна, служащая для крепления юферсов и отвода вант.

Рым — железное кольцо, вбиваемое в разных местах судна для

закрепления за него снастей.

Свайка — инструмент, заостренный на конце: железная свайка используется для отделения прядей троса; деревянная применяется при шитье парусов.

Склянки — на флоте удары в колокол через получасовой промежуток времени; счет начинается с полудня: 12.30 — один удар, 13.00 — два удара и т. д. до восьми, когда счет начинается сначала. Название произошло от склянки песочных часов.

«Собачья вахта», «собака» — жаргон: полувахты от 16 до 18 и от 18 до 20. Полувахты были созданы для того, чтобы одно и то же лицо не стояло вахту в одно и то же время.

Спардек — раньше: верхняя легкая палуба от форштевня до ахтерштевня; теперь: палуба средней надстройки.

Стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжением вверх мачты.

Стоячий такелаж — служит для поддержки и укрепления рангоута. Будучи раз заведенным, остается неподвижным.

Талреп — трос, основанный между двумя юферсами или двумя двушкивными блоками; служит для обтягивания стоячего такелажа.

Топ — верх вертикального рангоутного дерева (например, мачты или стеньги).

Траверз — направление, перпендикулярное курсу корабля.

Травить — ослаблять, перепускать снасть; переносные значения: рассказывать небылицы, блевать.

Утлегарь — дерево, служащее продолжением бушприта.

Фал — снасть, служащая для подъема рангоутных деревьев и гафелей, а также некоторых парусов и флагов.

Фальшборт — легкое ограждение открытой палубы.

Фока — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих к фок-мачте ниже фор-марса.

Фок-мачта — первая, считая с носа, мачта.

Фор — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих фок-мачте выше фор-марса.

Фор-люк — люк в передней части судна.

Фор-марс — марс на фок-мачте.

Фрегат — трехмачтовый военный корабль, второй по величине после линейного корабля. Был остойчивее линейного корабля, имел поэтому более высокие мачты, большую парусность и превосходил его по ходу.

Шканцы — часть верхней палубы, простирающаяся от грот- до бизань-мачты или до начала кормовой части (юта).

Шкафут — часть верхней палубы от фок- до грот-мачты.

Шкоты — снасти, которыми растягиваются нижние углы парусов или вытягиваются назад шкотовые углы треугольных парусов.

Шпангоут — ребро корпуса судна, придающее ему поперечную крепость.

Шпигат — сквозное отверстие в борту или палубе судна для стока воды.

Шпиль — стоячий ворот для подъема якоря и других тяжестей. Для вращения ручного шпиля в голову его, снабженную гнездами, вставляют рычаги — вымбовки.

Штаг — снасть стоячего такелажа, расположенная в диаметральной плоскости и поддерживающая мачты, стеньги, бушприт и другие рангоутные деревья спереди.

Штирборт — правый борт.

Шхуна — парусное судно с двумя и более мачтами и преимущественно косым вооружением.

Эзельгофт — деревянная или металлическая соединительная обойма с двумя отверстиями. Одним отверстием надевается на топ мачты или стеньги, а во второе выстреливается (пропускается) стеньга или брам-стеньга.

Юферс — круглый деревянный блок без шкивов с тремя сквозными отверстиями.

ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ

Акр — 0,405 га
Миля морская — 1852 м
Сажень (здесь — морская) — 182 см
Ярд — 91,439 см
Фут — 30,48 см
Дюйм — 2,54 см
Фунт — 453,593 г
Пинта — 0,57 л.

Герман Мелвилл

ОМУ

Редакторы *И. М. Бернштейн, С. Н. Кумкес*
Художественный редактор *С. С. Верховский*
Технический редактор *С. М. Кошелева*
Корректор *Е. Б. Сницарева*

№ Т-02144. Сдано в производство 9/V 1959 г. Подписано в
печать 11/IX 1959 г. Формат 60 × 92^{1/16}. Печатных листов 17,5.
Условных листов 17,5. Издательских листов 18,0. Тираж
165 000. Цена 5 р. 40 к. Заказ № 3094.

Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, Географгиз.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.

Москва, Ж-54, Валовая, 28.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

1

Современное название Муреа. (Прим. перев.) В главе XXV автор упоминает Муреа как другое название Эймео. (Прим. выполнившего OCR.)

Эллис Уильям (1794–1872) — английский миссионер. Его книга «Полинезийские исследования» вышла в Лондоне в 1831 г., в Нью-Йорке — в 1833 г. (Прим. выполнившего OCR.)

3

В сверхъестественном аспекте — неприкосновенная для туземцев личность. (Прим. выполнившего ОСР.)

4

Старинная мера длины, равная 5,56 км, или трем географическим милям. (Прим. перев.)

Морское парусное судно дальнего плавания с косым и прямым парусным вооружением. (Прим. перев.)

Этот спиртной напиток получил свое название от довольно большого города в Перу, где его производят в значительных количествах. Писко хорошо известен на всем западном побережье Южной Америки и вывозился оттуда даже в Австралию. Он очень дешев.

Таппа, тапа (полинез.) — материя, которую жители Океании изготавливают из волокон внутренней части коры некоторых сортов деревьев. (Прим. выполнившего OCR.)

Навуходоносор — царь древней Вавилонии, по преданию, питавшийся травой. (Прим. перев.)

Горячий напиток из подслащенного пива со спиртом, яйцом и пряностями. (Прим. перев.)

Английский философ Томас Гоббс (1588–1679) родился в городе Малмсбери. (Прим. перев.)

Произведение английского поэта Сэмюэля Батлера (1612–1680).
(Прим. перев.)

Город и порт на берегу Персидского залива. (Прим. перев.)

Виды растений рода диоскорея. Клубни съедобны; культивируют в тропиках и субтропиках. (Прим. выполнившего OCR.)

Так в старину называли часть Караибского моря, прилегающую к северо-западным берегам Южной Америки. (Прим. перев.) Ныне — Карибское море. (Прим. выполнившего OCR.)

Современное название — Тахуата. (Прим. перев.)

Менданья Альваро де Нейра (1541/1545–1595) — испанский мореплаватель, совершивший два плавания к западу от Перу с целью открытия новых земель; во время второго, в 1595 г., открыл юго-восточную группу Маркизских островов. (Прим. выполнившего OCR.)

Род «Настоящие удавы»; Центральная и Южная Америка; до 5,5 м.
(Прим. выполнившего OCR.)

В наше время этот архипелаг носит название Туамоту. (Прим. перев.)

Упоминаемые в Библии реки; какие реки в современном Дамаске им соответствуют, неизвестно. (Прим. перев.)

Верховный бог в мифологии древних скандинавов. (Прим. перев.)

Какие-то украшения, упоминаемые в библии в качестве части облачения первосвященников. (Прим. перев.)

Красящее вещество вводится при помощи акульего зуба, прикрепленного к концу короткой палочки, по другому концу которой ударяют деревянным молоточком.

Один из участников неудавшегося «порохового» заговора, организованного английскими католиками против короля Иакова I Стюарта. В подвал под парламентом доставили бочки с порохом, и на 5 ноября 1605 г. был назначен взрыв. (Прим. перев.)

Из семейства фаэтонов. (Прим. перев.)

Фридрих Тренк (1726–1794) — немецкий авантюрист, просидевший 9 лет в одиночном заключении, закованный в кандалы. (Прим. перев.)

Герцог Кларенс (1449–1478), брат королей Эдуарда IV и Ричарда III, приговоренный к смерти за измену, был найден мертвым, по преданию, в бочке ликерного вина мальвазии. (Прим. перев.)

Так он звался по месту своего рождения; он был беглым рабом из штата Мэриленд.

Матросы были наняты «в долю», иными словами никакого жалованья не получали, но по договору им полагалась известная часть прибыли от промысла.

В 1801 г. англичане бомбардировали Копенгаген, порт и флот, стремясь разрушить коалицию северных держав. Операция против Копенгагена была повторена в 1807 г., чтобы не допустить перехода датского флота на сторону Наполеона. (Прим. выполнившего OCR.)

Таково общераспространенное мнение по этому вопросу. Однако недавно была высказана прямо противоположная теория. Вместо того чтобы рассматривать только что описанные явления как результат какой-то активной созидательной силы, действующей в настоящее время, предполагают, что коралловые новообразования, подобно всему архипелагу, — просто остатки материка, давно сгладившегося и разрушенного волнами.

Так в русской географической литературе до недавнего времени неправильно называли архипелаг в южной части Тихого океана, впервые обнаруженный Уоллисом в 1767 г. Большинство островов было открыто в 1769 г. Куком, который в честь лондонского Королевского общества дал им название острова Общества, принятое теперь и у нас. (Прим. перев.)

Помаре IV правила Гаити в 1827–1877 гг. (Прим. выполнившего OCR.)

Воскоподобное вещество, заключенное в особом мешке в голове кашалота. Используют как смазочный материал и основу для кремов и мазей. (Прим. выполнившего OCR.)

Долина в Фессалии (северная Греция), воспетая древнегреческими и римскими поэтами. (Прим. перев.)

Аллювий (аллювиальные отложения) — отложения постоянных и временных водных потоков (рек, ручьев), состоящие из обломочного материала различной степени окатанности и сортировки (галечник, гравий, песок, суглинок, глина). (Прим. выполнившего OCR.)

Кифера — самый южный из греческих островов в Ионическом море. В древности был финикийской колонией, и на нем существовал культ богини любви — Астарты. Название Новая Кифера дал Таити французский мореплаватель Бугенвиль. (Прим. перев.)

Бугенвиль Луи Антуан де (1729–1811) — французский мореплаватель, во время кругосветной экспедиции 1767–1769 гг. останавливался на Таити. (Прим. выполнившего OCR.)

Кирос Педро Фернандес (1565–1614) — испанский мореплаватель. Родился в Португалии. В 1605–1606 гг. — начальник экспедиции для поисков мифической «Южной земли» (Австралии). Открыл атоллы из архипелага Туамоту, о. Эспириту-Санто (Новые Гебриды), который принял за часть «Южной земли». (Прим. выполнившего OCR.)

Уоллис Сэмюел (1728–1795) — английский мореплаватель, совершивший кругосветное плавание в 1766–1768 гг.; открыл ряд островов и архипелагов Океании. (Прим. выполнившего OCR.)

Байрон Джон (1723–1786) — английский мореплаватель, дед великого поэта; совершил кругосветное плавание в 1764–1766 гг., побывал на островах Туамоту. Один из его спутников в 1797 г. издал описание плавания. (Прим. выполнившего OCR.)

Кук Джеймс (1728–1779) — знаменитый английский мореплаватель. Руководитель трех кругосветных экспедиций; открыл много островов в Тихом океане. Погиб в схватке с каннибалами на Гавайских островах. (Прим. выполнившего OCR.)

Ванкувер Джордж (1757–1798) — английский мореплаватель, участвовал во второй и третьей кругосветных экспедициях капитана Кука; позднее занимался исследованиями тихоокеанского побережья Америки. (Прим. выполнившего OCR.)

Лаперуз Жан Франсуа (1741–1788) — французский мореплаватель. В 1785–1788 гг. — руководитель кругосветной экспедиции, исследовавшей в том числе острова Тихого океана. Экспедиция пропала без вести, выйдя из Сиднея на север; ее остатки найдены в 1826, 1828 и 1964 гг. на о. Ваникоро (из о-вов Санта-Крус). (Прим. выполнившего OCR.)

Капитан Уильям Блай с командой на судне «Баунти» в 1787 г. отправились из Англии за саженцами хлебного дерева в Южные моря (Тихий океан). На судне произошел бунт, капитана с горсткой приверженцев высадили в шлюпку, и они проделали в Тихом океане трудный путь до ближайшей английской колонии. Мятежники с «Баунти» основали колонию на о. Питкерн; существует до сего времени как закрытое подобие независимого государства. (Прим. выполнившего OCR.)

Эдвард Кок (1551–1632) — известный английский ученый юрист.
(Прим. перев.)

Абель дю Пти-Туар (1793–1864) — французский адмирал. (Прим. выполнившего OCR.)

Бухта на севере Новой Зеландии. (Прим. перев.)

Так среди английских матросов называлась петиция, подписи на которой были расположены по кругу, чтобы нельзя было установить зачинщиков. Буквальное значение — «круглая лента» (robin — испорченное французское ruban). (Прим. перев.)

Его так называли по месту, откуда он был родом — известному морскому порту на берегу залива Массачусетс.

Это выражение в большом ходу среди моряков, плавающих в Тихом океане. Оно применяется к определенному типу матросов-бродяг, которые не стремятся к постоянной работе на каком-нибудь судне, а время от времени нанимаются на китобоец для непродолжительного плавания; они, однако, ставят условие, чтобы их честно рассчитали в ближайшем порту, все равно каком, где будет брошен якорь. Такие матросы в большинстве бесшабашные буяны, связавшие свою жизнь с Тихим океаном и даже не мечтающие когда-либо снова обогнуть мыс Горн по дороге на родину. Поэтому они пользуются дурной славой.

В Новом Южном Уэльсе каторжники, «подающие надежды», получают разрешение наниматься в качестве домашней прислуги к частным лицам; таким образом, они пользуются относительной свободой, но администрация продолжает считать их заключенными. Они имеют пропуска, которые обязаны предъявлять каждому, кто заподозрит, что они расхаживают на свободе без разрешения. Отсюда и произошло приведенное прозвище. Такое объяснение дал мне доктор.

Самая северная точка острова, названная так потому, что там находился наблюдательный пункт, устроенный Куком во время его первого посещения Таити.

Испорченное французское слово *savoir* (знать), широко распространенное среди моряков всех национальностей и потому ставшее привычным для многих туземцев Полинезии.

За последние несколько лет к Таити ежегодно приставало больше полутора ста судов. Это в основном китобойцы, промысляющие в близлежащих водах. Портовые сборы, идущие в пользу королевы, так велики, что часто вызывали протесты. Джим, насколько я знаю, получает по пять серебряных долларов за каждое введенное в гавань судно.

Ньютоновская теория приливов не подтверждается на Таити, где в течение всего года отлив неизменно начинается в полдень и в полночь, а прилив — перед закатом и перед восходом. Поэтому слова Туэрар-По означают и прилив и полночь.

Желтоватый сок некоторых тропических растений. (Прим. перев.)

Не следует понимать меня так, будто я одобряю систему телесных наказаний, практикуемую на военных кораблях. Пока, однако, военный флот необходим, без нее не обойтись. Поскольку война — величайшее из зол, то и все с ней связанное по необходимости является злом; и это едва ли не единственный довод в защиту телесных наказаний.

Американский национальный гимн. (Прим. перев.)

Победа у мыса Трафальгар, близ Кадиса (юг Испании), над франко-испанским флотом под командой Вильнева была одержана знаменитым английским флотоводцем Горацио Нельсоном (1758–1805) 21 октября 1805 г. Сам Нельсон был смертельно ранен. (Прим. выполнившего OCR.)

По поводу исключительно плохого знания туземцами своей страны можно отметить, что довольно большое внутреннее озеро, по названию Вайрао, о существовании которого им всем известно, описывается ими самым различным образом. Некоторые говорили мне, будто оно не имеет ни дна, ни стока и ни притока вод, другие — что оно питает все реки острова. Один мой знакомый матрос рассказывал, что как-то он, будучи участником исследовательской партии, посланной с английского корвета, посетил это чудесное озеро. Оно оказалось чрезвычайно интересным — очень маленькое, глубокое, зеленого цвета; прекраснейший водоем, прячущийся среди гор и изобилующий рыбой.

Племя, когда-то жившее на территории штатов Небраска и Канзас.
(Прим. перев.)

Калабуса — испорченное испанское слово «salabozo», означающее тюрьму. (Прим. перев.)

Тропическое многолетнее растение семейства ароидных. Крупные клубни (до 4 кг) содержат до 27 % крахмала. (Прим. выполнившего ОСР.)

В конце XVIII в. на Таити возникло раннефеодальное государство под эгидой вождя Помаре I. Номинальная королевская власть династии Помаре существовала до 1880 г. С 1842 г. остров находится под французским протекторатом. (Прим. выполнившего OCR.)

Замкнутая организация со сложной иерархией, занимавшаяся устройством всякого рода развлечений и празднеств. (Прим. перев.) «Ареорийское общество» — специфическая организация, связанная с таитяньским культом бога войны Оро; первоначально объединяла людей, исполнявших песни и танцы в честь бога. Вероятно, в конце XVIII в. Помаре I, стремясь подчинить своей власти другие племена, использовал ареоев для навязывания поклонения Оро и себе как его воплощению. Организация имела свое управление, четкую структуру — 7 рангов, законы: например, ареои обладали правом собственности на чужое имущество, не могли иметь детей; родившихся же у них детей убивали. Когда Помаре II в 1812 г. принял христианство, он перестал нуждаться в поддержке ареоев и общество прекратило свое существование. (Прим. выполнившего OCR.)

Элефантиазис (слоновость) вызывается глистами-филяриями, закупоривающими лимфатические капилляры, что и приводит к образованию больших опухолей, превращающих конечности в бесформенные колонны, а животы — в «стоны». Возбудитель заболевания описан шотландским исследователем Патриком Менсоном в конце XIX в. (Прим. выполнившего OCR.)

Вермут происходит от спиртовой настойки на лекарственных травах, которую некий корабельный доктор приготовил для больных матросов, иначе отказывавшихся принимать это лекарство. (Прим. выполнившего OCR.)

Старинная юбка с каркасом в виде обруча. (Прим. выполнившего
ОСР.)

«Кихи» — таитянская юбка; подробно рассматривается автором ниже по тексту. (Прим. выполнившего OCR.)

Длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями. (Прим. выполнившего OCR.)

Карточная игра. (Прим. перев.)

Узкий стол с прямыми или изогнутыми ножками и фигурными подставками; его ставили перед зеркалом или перед окном. Консоли были в моде во Франции при Людовике XIV и Людовике XV и отличались большим изяществом. (Прим. перев.)

Два друга-сиракузца, воспетые древними поэтами в качестве примера верности и самопожертвования. (Прим. перев.)

Евангельское выражение, обычно применяющееся к людям, любящим произносить пышные, но бессодержательные слова. (Прим. перев.)

Проводится аналогия со строительством Иерусалимского храма Соломоном: «Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его» (3 Цар, 6:6). (Прим. выполнившего OCR.)

Бог войны у таитян. (Прим. выполнившего OCR.)

Намек на разукрашенную статую святой девы в маленькой католической церкви.

Опьяняющий и тонизирующий напиток из одноименного корня (Прим. выполнившего OCR.)

Слово «арва» употреблено здесь в значении «водка». Пуфай был одним из главных вождей острова и при этом большой любитель выпить.

Это слово, являющееся, очевидно, испорченным «миссионер», употребляется туземцами в различных значениях. Иногда оно применяется к принявшим христианство, но в данном случае употреблено в первоначальном смысле.

Слово, которым обычно пользуются иностранцы для обозначения туземцев Полинезии.

Некоторое время назад Помаре получила в подарок от королевы Виктории коляску. Впоследствии она была отправлена на остров Оаху (Сандвичевы острова) и продана там для уплаты долгов королевы.

В то время многие жители стояли на грани голодной смерти.

Поп. Письмо к леди. [Александр Поп (1688–1744) — известный английский поэт. Мелвилл цитирует его не вполне точно. (Прим. перев.)]

Об этом обычае с отвращением упоминает один из достойных проповедников, недавно посетивших остров. Смотри «Воспоминания о жизни и миссионерской деятельности покойного Даниэля Уилера», стр. 763. В дальнейшем я подробнее остановлюсь на этом произведении.

Английский священник, известный преследованиями католиков и пустивший ложный слух о заговоре папистов в 1675 г. (Прим. перев.)

Преподобный М. Рассел, доктор прав. «Полинезия или историческое описание главных островов Южного моря», стр. 96.

Отто Коцебу, капитан 1 ранга русского императорского флота. Новое путешествие вокруг света в 1823–1826 гг. in 8°; т. 1, Лондон, 1830, стр. 168.

Автор «Путешествия вокруг света в 1800–1804 гг.», т. 3 in. 8°, Лондон.
1805.

Описание путешествия в Тихий океан и Берингов пролив под командованием капитана английского военного флота Ф.У. Бичи, т. 1, Лондон, 1831. стр. 287.

«Воспоминания о жизни и миссионерской деятельности покойного Даниэля Уилера, пастыря Общества Друзей», in. 8°, Лондон, 1842, стр. 757.

«Путешествие миссионеров в южную часть Тихого океана».
Приложение, стр. 336, 342.

«Путешествия» Ванкувера, т. 1, стр. 172.

Бичи. Описание, стр. 269.

«Огромные толпы, кишевшие повсюду, — добавляет он, — убеждали меня, что эта цифра нисколько не преувеличена».

Об этой переписи смотри одну из глав, посвященных Таити в книге «Экспедиция, посланная Северо-Американскими Штатами для исследования новых земель». Относительно почти невероятной убыли населения Сандвичевых островов за последние годы смотри ту же работу. В ней отмечено прогрессирующее сокращение населения ряда районов, наблюдавшееся на протяжении большого периода времени.

Рушенбергер, образованный врач североамериканского военного флота, приводит на выборку следующие цифры из сведений, собранных на архипелаге. В округе Рохало, на острове Гавайи, одно время насчитывалось 8679 жителей; четыре года спустя их осталось 6175; уменьшение за это время составило 2504 человека. Никаких особых причин для такой убыли населения не приводится. Смотри: В.С. Рушенбергер, доктор медицины. «Путешествие вокруг света в 1835–1837 гг.». Глава о Сандвичевых островах, Филадельфия, 1838.

Эту таинственную болезнь Г. Мелвилл не называет, однако она не может передаваться «от отца к сыну». Подобным образом передаются только редкие патологии, имеющие генетическую основу. Понятно, что европейцы никак не могли повлиять на их распространение. Вероятно, здесь имеется в виду туберкулез (чахотка), для которого вплоть до конца XIX в. предполагалась в том числе наследственная передача. (Прим. выполнившего OCR.)

Вероятно, лучший в мире сорт сладкого картофеля. Название произошло от округа в Перу близ Кабо-Бланко, где условия очень благоприятны для его выращивания и где он усиленно культивируется. Клубни очень большие и достигают иногда размеров крупной дыни.

Баньян (индийская смоковница) — дерево из семейства фикусовых. Ветви баньяна пускают воздушные корни-отростки, которые, вращая в почву, образуют новые стволы-отростки. Известны баньяны с несколькими сотнями и даже тысячами стволов, образующие целые рощицы. (Прим. выполнившего OCR.)

Колонна, воздвигнутая в Лондоне в память пожара 1666 г. (Прим. перев.)

Уроженец восточной части Лондона. (Прим. перев.)

Вероятно, самые замечательные вулканы в мире. Очень интересные описания трех смелых экспедиций на их вершины (семнадцать тысяч футов над уровнем моря) смотри в книгах: «Плавание корабля его британского величества „Блонд“» лорда Байрона, «Путевой журнал посещения Сандвичевых островов» Эллиса и «Рассказ об экспедиции, посланной Северо-Американскими Штатами для исследования новых земель» Уилки.

Камеамеа III (годы правления 1825–1854) — сын Камеамеа I и брат Камеамеа II. Борьба Англии, Франции и США за Гавайи в первой половине XIX в. кончилась тем, что в 1843 г. был подписан договор, по которому архипелаг признавался самостоятельным государством (в 1897 г. Гавайи были аннексированы США). (Прим. выполнившего OCR.)

Старинная испанская монета, четверть реала. (Прим. перев.)

Город на острове того же названия, расположенном в Атлантическом океане у берегов Новой Англии. (Прим. перев.)

«Не укради». (Прим. выполнившего OCR.)

Chelyndra serpentina — вид каймановых черепах. (Прим. перев.)

Крахмал из подземных побегов или корневищ растений. (Прим. выполнившего OCR.)

Пои (полинез.) — пища, еда. (Прим. выполнившего OCR.)

Арабское слово, означающее «бегство». День бегства Магомета из Мекки в Медину (16 июня 622 г.), стал для мусульман начальным днем их летосчисления. (Прим. перев.)

Игра привязанным к палочке шариком, который подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку. (Прим. выполнившего OCR.)

Давид Риццио (1540–1566) — итальянский музыкант, фаворит королевы Марии Стюарт. (Прим. перев.)

Дерби и Джоан — любящие муж и жена из баллады Генри Вудфолла «Счастливая старая чета». (Прим. перев.)

114

Нижний, свисающий край крыши деревянного дома. (Прим. выполнившего OCR.)

Род банана. (Прим. перев.)

Георг IV (1762–1830) — в 1811–1820 гг. принц-регент; английский король с 1820 г.; из Ганноверской династии. (Прим. выполнившего OCR.)

Старик (англ.)

Левиафан — библейское морское чудовище. (Прим. перев.)

Тобайас Смоллетт (1721–1771) — известный английский писатель. Амелия, Перигрин, Фатом — герои его романов. (Прим. перев.)

Такая ненормальность существует, несмотря на то что в других отношениях миссионеры постарались организовать туземные суды по образцу английских.

121

Дорогая супруга (итал.)

Упомянутая в Библии жена израильского царя Ахава — жестокая и развратная женщина. (Прим. перев.)

Английский король Иоанн Безземельный в 1215 г. в Великой хартии вольности (Magna Charta) был вынужден признать ограничение королевской власти в пользу феодалов. (Прим. выполнившего OCR.)

Имеется в виду английский король Карл II, двор которого отличался весьма распущенными нравами. (Прим. перев.)

Пандан (панданус) — род древовидных растений семейства пандановых. От разветвленных стволов отходят придаточные, так называемые ходульные, корни. Около 600 видов, главным образом в тропиках Восточного полушария. (Прим. выполнившего OCR.)

Уильям Хогарт (1697–1764) — английский живописец и график. Упоминаемая далее сатирическая гравюра принадлежит к серии, носящей название «Карьера мота». (Прим. перев.)

Непереводимая игра слов: Vineyard — по-английски виноградник.
(Прим. перев.)

Остров в Атлантическом океане у берегов Новой Англии. (Прим. перев.)